

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (Германия)

тел. (+49) 5631-50-31-42

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (Киев)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва),

Виталий Амурский (Париж),

Борис Херсонский (Одесса),

Игорь Савкин (Санкт-Петербург),

Борис Констриктор (Санкт-Петербург),

Владимир Алейников (Коктебель),

Вальдемар Вебер (Аугсбург),

Сергей Шаталов (Донецк),

Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник

Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания шестнадцатый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16

34497 Korbach, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

www.kreschatik.nm.ru

http://magazines.russ.ru/

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2014 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Леонид Блюмкин / <i>Гамбург</i> /	«Когда ещё цветное фото...»	5
Марк Харитонов / <i>Москва</i> /	Сюита счастья	29
Тамара Буковская / <i>СПб.</i> /	«человечиной пахнет вранье...»	35
Владимир Алейников / <i>Москва</i> /	«В отдалении от страны...»	67
Виталий Амурский / <i>Париж</i> /	«Холода подступают...»	73
Татьяна Грауз / <i>Москва</i> /	Рожденные горы	102
Марина Палей / <i>Роттердам</i> /	Восьмистишия	109
Валерий Мишин / <i>СПб.</i> /	«звезды ярче в промежутке...»	125
Сергей Викман / <i>Ганновер</i> /	«В деревне у реки...»	131
Александр Севастьянов / <i>Москва</i> /	«Я вкушаю горький кофий...»	132
Сергей Сутулов-Катеринич / <i>Северный Кавказ</i> /	Стоп-кадры канонады звездопада	144
В гостях у «Крещатика»	Лауреаты 2-го международного поэтического конкурса «45-й калибр»	
Михаил Дынкин / <i>Москва</i> /	Неспящий	196
Виктор Владимиров / <i>Долгопрудный</i> /	Куда-то я уехал	202
Константин Кондратьев / <i>Воронеж</i> /	...А ваших нету — без человека	207
Иван Малов / <i>Оренбург</i> /	Свободные темы	214
Марина Матвеева / <i>Симферополь</i> /	Королева и в клетке со львом — королева	232
Игорь Панасенко / <i>Мурманская область</i> /	Шестой день творения	237
Георгий Яропольский / <i>Нальчик</i> /	Зимнее время	243

Проза

Марат Баскин / <i>Нью-Йорк</i> /	Специалист по Пиросмани. <i>Повесть</i>	13
Антон Шушарин / <i>Северодвинск</i> /	Сухарики. <i>Рассказы</i>	41
Владимир Алексеев / <i>СПб.</i> /	Монолог под кроватью. <i>Повесть</i>	76
Михаил Аранов / <i>Ганновер</i> /	Мутные дни. <i>Глава из романа</i>	114

Елена Мордовина / Киев /	Почти двести. Рассказ	134
Алексей Максименков / СПб. /	Звереныш. Роман	153
Борис Хазанов / Мюнхен /	Опера minima. Малые произведения	216
Борис Ванталов / СПб. /	Письма в никуда	250

Переводы

Георг Тракль / 1887–1914 / Перев. с нем. Л. Бердического	Ночное смирение	272
Александр Навроцкий Перев. с польск. В. Виногоровой	Цецилия	298

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Римма Запесоцкая / Лейпциг /	Э.Л. Войнич и особый тип литературных героев	280
Людмила Улицкая / Москва /	Право на катарсис	301
Александр Люсый / Москва /	Измерения предела	302
Александр Белый / Москва /	Книги и нити	305
Петр Казарновский / СПб. /	О любви к рифмованию	307

Латинский квартал

Александр Феденко / Москва /	Частная жизнь мертвых людей	311
------------------------------	-----------------------------	-----



Леонид БЛЮМКИН

/ Гамбург /

* * *

Когда ещё цветное фото
входило робко в нашу жизнь,
четыре юных обормота
на фоне зелени снялись.

Один, как божий одуванчик,
отличник, маменькин сынок.
Другой — шпана, весёлый мальчик,
а третий — щёголь-паренёк.

Четвёртый — я в рубаше красной,
самим покрашенной вчера,
слегка задумчивый и праздный
у кромки школьного двора.

Изображенье это длится,
с годами меркнут голоса,
но остаются наши лица
и удивлённые глаза.

На бледной выцветшей бумаге,
где мы смешливо морщим лбы,
видны, как водяные знаки,
четыре разные судьбы.

И сколько б ни смотрел я снова
на фотку, льются на меня
оттуда только свет и слово,
как отзвук солнечного дня.

Как отзвук выпускного мая,
где от черёмухи бело.
И всех живых я обнимаю,
и всех, чьё время утекло.

* * *

Неожиданный август — жара.
От восторга кричит детвора,
в воду бухаясь самозабвенно.
Раскалённое солнце с высот
выжигает траву и песок,
и деревьев вскипающий сок —
с жизнью связывающие звенья.

Впрочем, зноя недолог возврат.
Старший к августу тянется брат,
постепенно погоду смягчая.
Дым белесый над садом повис,
двух соседних времён компромисс.
На террасе, где мы собрались,
можно выпить хоть водки, хоть чаю.

Только воздух вкусней и пьяней.
Так не будет хватать этих дней
с наступлением тьмы и молчанья.
Этих редких и тихих минут,
что в груди застревают и жгут,
и сорваться совсем не дают
в пропасть холода и одичанья.

* * *

Меж раскидистых крон по кладбищенским тропам
я бреду с похорон, как бесчувственный робот.
Стал привычным обряд, как на поприще ратном.
Удлиняется ряд из потерь безвозвратных.

Вспомню старый погост и другие дороги,
нынче редкий я гость у знакомых надгробий.
Из-за леса — луна, свет на мраморных лицах.
Имена, имена — что владельцам их снится?
Может, мысли о нас как сосудах скудельных.
Может, сказ без прикрас о мирах запредельных.

Клён высокий распят над дощатой скамейкой.
Здесь родители спят под звездой-нержавеющей.
Души их веселя, две синицы щебечут,
а в оградке земля стосковалась по встрече.
Слышу голос в тени под немолчною ветвью:
«Боже, всех вас храни, всех живущих на свете!»

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Каждый день завожу механические часы,
и мне это не надоело.
Сожмётся пружина, вздрогнут маятника усы,
и пошло-поехало дело.

По моему желанию и от моей руки
в циферблате бегут секунды.
Целые сутки три стрелки нарезают круги,
не ослабнут силы покуда.

Это время моё, я его запускаю сам,
спору с кварцевой батареейкой,
тупо веруя, что жизнь меняется по часам,
которые носили предки.

Мне в запястье врезался помногу лет ремешок
от «Победы», «Звезды», от «Славы» —
разношёрстных времён примета и живой вещдок
или же истории главы.

От рифлёной головки на пальцах моих бинты —
туго крутится — больно братья...
Если кончится у часов завод, тогда — кранты,
значит, вместе нам с тишиной брататься.

* * *

На полке вагонной лёжа,
под монолог колёс,
тело моё скулёжное
затихло, как сытый пёс.

Взамен скукоты домашней —
мельканье минут и вёрст.
В окне то леса, то пашни,
то бедный сельский погост.

Пейзаж пробегает пресный,
взгляни — и, вздохнув, замри!..
Лечу параллельно рельсам
и в близости от земли.

Два дня железнодорожных —
и треть страны не объять,
где было несладко в прошлом
и нынче горчит опять.

Везде: и в столицах гордых,
где толкотня и свет,
и в деревнях полумёртвых,
которых на карте нет.

В толпе перед гласом трубным
упрёков и злых обид.
И там, в глубине загрудной,
где долгая боль свербит.

Не временный, не проезжий,
на мокрый перрон сходя,
всё жду я, когда забрезжит
здесь солнце после дождя.

И вновь на неторных тропах,
ведущих в родную глушь,
услышу лишь слабый ропот
из терпеливых душ.

МОНТАЖ

Люблю искусство монтажа,
я в нём поднаторел когда-то,
творя с вмешательством ножа
реальность незамысловато.

И механической под стать
была проста в работе схема —
нарезать кадры и собрать
сюжет из плёнки марки «Свема».

Она, как тонкий поясок,
наматывалась на бобину.

Но прежде — выброшен кусок:
две третьих или половина.

Конечно, изымался брак,
все затемнения, пересветы.
И что не красило никак
деяния страны Советов...

В кино набрав серьёзный стаж,
своё расширив поле брани,
победно шествует монтаж
уже не только на экране.

Нам с ним возможностей не счесть
для творческого порыва.
Подрежем совесть, скроем честь,
порядочность сотрём безглаголиво.

Неважно, что раскрыт секрет,
и кто-то взглянет с укоризной.
Так сделаем, как будто нет
того, что нам — помехой в жизни.

Того, что в лишнее, спеша,
мы занесли небезуспешно...
Ликуй, искусство монтажа,
пока душа во тьме кромешной.

НАСТРОЕНИЕ

Ну, какая разница — живу,
не бездомный и не голодаю.
И зимой зелёную траву
с тихим удивленьем наблюдаю.

Ну, какая разница — живу
вдалеке от мест, где жил когда-то.
Я нашёл, где преклонить главу,
времени бесцельный согладатай.

Ну, какая разница — обман
чувства ли, неважного ли зренья?
Рыхлый серый утренний туман
над землёй, как зыбкое забвенье.

Расплылось всё то, что позади,
впереди — в холодный сумрак еду...
Но туман рассеется, поди,
уступая солнечному свету.

* * *

Иначе среди птиц, но птицы мало значат.
И.Бродский

На вечернем балконе смиряется взгляд,
упирается в сумрак соседней стены.
Только слышно, как птицы о чём-то галдят,
очевидно, дневных впечатлений полны.

Нам бы тоже с тобой повести разговор
под спадающей крышей притихших небес.
Но в отличие от птиц — в наших мыслях простор,
а слова разбивает и путает бес.

Для чего же тогда нам издревле язык
обладателям дан человеческих лиц,
если даже и клюв, и перо, и кадык
в ход невольно идут в объяснениях птиц?

Мало значат они, но рука и крыло
так похоже во взмахах прощаний и встреч.
Говори. Не молчи. Нас судьбою свело,
значит, праздник общенья должны мы сберечь.

Вот и я, неожиданным чувством объят,
на вечернем балконе о чём-то шепчу...
Слышишь, птицы в деревьях бессвязно кричат,
и прохлада приятно скользит по плечу.

ЛЁТЧИК ДОСААФ

Старушка, «Аннушка», АН-2 —
летал на нём самозабвенно.
А нынче тащишься едва
с авоськой, жалкий и согбенный.

Когда-то — виртуоз-пилот,
учил других парить по-птичьи.
А нынче хмуρο морщишь лоб,
в кармане подсчитав наличку.

С утра гудел аэродром,
и прыгали парашютисты.
Ты счастье чувствовал нутром,
кружа над полем в небе чистом.

Твой друг освоился давно
на белом лайнере — на Тушке,
А ты, почти как Мимино,
был верен «Аннушке»-простушке.

Не испытатель, не герой,
нет сложных перелётов дальних.
О чём ты говоришь порой
с самим собой исповедално?

Судьбой проверен на изгиб,
живёшь — в ушах мотор молотит.
А друг твой спился и погиб,
когда расстался с самолётом.

Идёшь и дышишь тяжело,
глядишь туда, где гнёзда грачи,
ввысь, где железное крыло
тебе пророчило удачу.

* * *

В пустой трёхкомнатной квартире
с тобой нам крупно подфартило
почти что день пробыть вдвоём.
Нет ни софы, ни даже стула,
ни коврика. Как ветром, сдуло
все вещи сквозь дверной проём.

Они загружены в контейнер,
хозяин пьёт портвейн в купейном.
А нам на гвоздике — ключи
да оглушительное эхо.
И не любовь — одна потеха,
и тихий смех: молчи, молчи!

Конечно, дело молодое,
внутри горячка нас колдобит.
Глощает веник пыль в углу,
в окно глядит осенний сумрак,
вино с закуской лёгкой в сумке
на жёстком стонущем полу....

Затёрлась в памяти картина.
Давно чужой живёт в квартире.
Хозяин, тот, что дом сменил,
уже расстался с миром этим.
А мы пока на белом свете
след оставляем от чернил.

Всё поменялось, пробежало.
В душе — зола былого жара.
Лишь через годы, одинок,
для убедительности вящей
звонит в момент неподходящий
к нам в дверь назойливый звонок.

* * *

Вот и вышло всё так, как вышло.
Ничего менять не хочу.
Видно, так порешили в вышних —
тут тягаться не по плечу.

Да причём здесь судьба-планида?—
Чаще делаешь выбор сам.
Не успел, не хотел, не видел,
по усам текло, по усам.

Карту вытащил из колоды —
нет причины кричать «виват!»
Если был я завзятый лодырь,
кто, скажите, в том виноват?

Мне примером трудяга прадед,
а укором живым — родня.
Три потрёпанные тетради
оправдать не смогут меня.

Строчка к строчке до самых корок
заполнял их, скорбя, смеясь.
А набрался бумажный ворох,
никому не нужный Парнас.

Вот и вышло всё так, как вышло.
Ничего менять не хочу.
Но карабкаюсь вверх с одышкой,
как пожарный на каланчу.



Марат БАСКИН

/ Нью-Йорк /

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПИРОСМАНИ

Памяти друга художника Ю. Герасименко

В жизни бывают минуты светлые и горькие.
Мне больше досталось горьких.

Нико Пиросмани

Жираф

Вы видели жирафа Пиросмани? Среди голой равнины — загадочный серебристый жираф, глядящий на нас мудрыми человеческими глазами Судьи и Пророка. Здесь, в Нью-Йорке, он часто приходит ко мне во сне. Я всегда просыпаюсь буквально сразу после этого видения и потом долго не могу заснуть. Я знаю, что Он знает, что было со мной и что будет. А я знаю только то, что было.

Мой дедушка Шмуел мне часто говорил:

— Давид, если ты хочешь узнать, что тебя ждет впереди, посмотри назад. В жизни — как в природе: что засеял сегодня, завтра получишь. Я понимаю, конечно, молодым неинтересно, что говорят старики. Им кажется, что они умнее всех. Я тебе скажу честно, я сам таким был! И что? Дождался революции! И вместо того, что бы торговать лесом в Ошмянах, как мой папа, я работаю счетоводом в Краснопольском сельпо! Почаще смотри в свое прошлое, внучек, и ищи в нем ответы на свои сегодняшние вопросы. Когда я был такой маленький, как ты, папа учил со мною Тору, и мне запомнилось: каждый колосок на твоём поле — дело рук твоих.

И просыпаясь среди ночи от щемящего взгляда Жирафа, я вспоминаю слова дедушки и смотрю в свое прошлое. И тогда иногда то, что раньше казалось смешным, начинает казаться грустным, а темное — наоборот, вдруг открывается светлой стороной.

Часто я вспоминаю себя маленьким. Далекие послевоенные годы всплывают в памяти грустными и смешными историями.

У нас дома политикой интересовались только двое: бабушка и я. Дедушка читал газету медленно, растягивая удовольствие на пару дней: днем за обедом он прочитывал новости страны, вечером за ужином переходил к международным событиям, а наутро, к завтраку, составлял «майсы» — письма читателей, заметки на бытовые темы.

— Конечно, — говорил он мне, — «Известия» это не «Биржевые ведомости», которые получал мой папа, но кое-что любопытное можно найти и здесь

Я же перехватывал почтальона еще в начале улицы и прочитывал газету от корки до корки сразу. Бабушка с умилением смотрела на меня и говорила:

— Зуналэ, ты же только научился читать! Почитай лучше сказки! На что тебе вся эта политика? Чем меньше ее знаешь, тем спокойнее живешь. Ты не знал мужа нашей Малки, а я знала. Хороший был человек! И что? Занялся политикой и пропал. Зуналэ, послушай вос загт а бобэ (что говорит бабушка): при нашей милухе (правительстве) политика — это агрэйсэ цорэ (беда)!

Бабушка не умела читать по-русски, но очень любила, чтобы я ей пересказывал газетные майсы, пока она крутилась на кухне.

— Дос ис а левун, это жизнь! — вздыхала она, слушая в моем пересказе очерки Татьяны Тэсс. Я запомнил эту фамилию, так как долго думал, что ТАСС и Тэсс это одно и то же.

Бабушка была большая любительница чистоты и порядка, без дела она никогда не сидела. И когда я однажды влетел в дом с газетой в руках и увидел бабушку, сидящую на скамеечке и ничего не делающую, я растерянно остановился:

— Что случилось?

— Фарвос гоб их дос гезакт? Почему я это сказала? Их бин а мишугине! Я сумасшедшая! Вос вет дос зайн? Что будет теперь? — когда бабушка волновалась, она начисто забывала все русские слова и говорила только на идиш. — Зуналэ, их бин а шпион! Сыночек, я — шпион!

— Ты шпион?! — я удивленно посмотрел на бабушку, ничего не понимая.

— Так сказала Титовна, — заплакала бабушка. — И она еще сказала, что меня арестуют!

— Почему она так сказала? — спросил я.

— Она бросала на наш огород ботву, и я попросила ее не делать этого, тогда она сказала, что я и Голда Меир родственники! И поэтому я — шпион! И надо было мне про эту ботву говорить?! — запричитала бабушку, прижимая к глазам край передника. — Вос вет дос зайн? Что будет?

Дедушка, пришедший как раз в это время на обед, разволновался не меньше бабушки:

— Если бы ты читала газеты и знала, что пишут про Голду Меир, то поняла бы, что всем Мееровичам, Мерзонам и Меерсонам надо быть тише воды и ниже травы! И у нас к счастью эта самая фамилия! Так что теперь остается только ждать!

— Что ждать? — обреченно спросила бабушка.

— Когда за нами придут, — сказал дедушка.

И тут меня осенило, снизошло вдохновение, как сказал бы я сейчас.

— Бабушка, — закричал я, — не плачь! Титовне тоже надо быть тише воды и ниже травы!

— Почему? — дедушка удивленно посмотрел на меня.

— Потому что газеты пишут не только про Голду Меир! — прокричал я и, ничего дальше не объясняя, помчался в огород.

Соседка все еще возилась на грядках и, увидев меня, демонстративно стала кидать ботву на нашу межу: сегодня она была победительницей — напугала Меерсониху!

— Титовна, — сказал я, едва удерживая дрожь от охватившего меня волнения, — а почему вас все зовут Титовной?

— Як чаму? — Титовна, совершенно не ожидавшая такого вопроса, удивленно посмотрела на меня и выкрикнула: — Таму что бацька мой Тіт!

— Все ясно, — сказал я, как любимый мой Шерлок Холмс, нашедший истину. — Выходит, вы родственница шпиона и изменника, кровавого палача Иосипа Броз Тито!

От моих слов Титовна замерла, как статуя на ВДНХ, с высоко поднятым серпом одной руке и ботвой в другой.

А я спокойно повернулся и пошел назад домой... Соседка несколько минут оторопело глядела вслед мне, а потом побежала за мной, причитая:

— Унучачак, што ты кажаш? Якая я шпіонка?

Она влетела в наш дом и заголосила, кинувшись перед бабушкой на колени:

— Меерсоніха, ты ж ведаеш нас! Якая я шпіенка? Скажы свайму унучку, што мы не ворагі! А тое ж ен, дзіця неразумнае, яшчэ у школе, каму пра гэта скажа! А бацвінне я убяру! Зараз!

Вечером к нам зашел муж Титовны и был он напуган не меньше, чем его жена. И чтобы его успокоить, мне пришлось дать честное пионерское, что я никому ни чего не скажу.

Тогда, в пятидесятые годы, эта история казалась нам кошмаром, и долго у нас в доме еще бродили беспокойные сны. Мы подхватывались среди ночи, услышав шум проезжающей машины: не за нами ли приехал черный ворон?

А сейчас я вспоминаю ее как веселый анекдот, и мои друзья смеются, когда я им его рассказываю.

Так я впервые встретился с Политикой. В первый, но не в последний раз. С Пиросмани у меня тоже была политическая встреча, как шутил мой друг Юрась. Мне было тогда лет десять-одиннадцать, точно не помню. За хорошую работу в колхозе наш класс наградили поездкой в Москву. Разговоров было на все Краснополье.

Мой дедушка шутил:

— Давид, ты становишься большим человеком! Ты первый еврейский ребенок из Краснополья, который увидит своими глазами Кремль. И, может быть, товарища Хрущева, который дал под зад товарищу Сталину!

Хрущева я, конечно, не увидел, но неожиданно попал на выставку, которая определила мою судьбу на всю жизнь. Не знаю, по какой причине в самый последний день нашего пребывания в Москве нас, малышей, повезли на художественную выставку. Выставка размещалась в двух залах: в первом висели картины Нико Пиросмани, во втором — французского художника Анри Руссо. Наша ребячья компания почти не задержалась в первом зале, а помчалась сразу во второй рассматривать волшебные джунгли Руссо. А я остался в первом. Я сейчас даже затрудняюсь объяснить почему. Я остановился перед совсем не детской картиной «Бездетный миллионер и бедная с детьми». Я ощутил какую-то невероятную жалость к грустно смотрящему на меня миллионеру и его жене. Я вспомнил бабушкину сестру Малку, которая жила в Пензе. Бабушка часто вспоминала ее и говорила:

— Не дай Б-г нашему врагу прожить такую жизнь. Одна, как палка, осталась. Был бы ребенок — совсем другое дело, а так под старость кружку воды некому будет подать.

Я смотрел на миллионершу Пиросмани и представлял себе нашу Малку. Когда учительница вернулась за мной в первый зал, я все еще стоял у этой картины и плакал. Учительница посмотрела на картину, почитала подпись под ней и сказала:

— Давид, тебе жалко бедную женщину?

— Нет, — сказал я, утирая слезы, катившиеся по щекам, — мне жалко бездетного миллионера.

— Давид, что ты говоришь? — растерялась учительница. — Чего его жалеть? Он же капиталист, эксплуататор.

— А мне жалко, — честно сказал я. — Он как наша Малка.

Учительница посмотрела испуганными глазами на меня, потом по сторонам и, увидев в углу зала высокую седую грузинку, обратилась за помощью к ней:

— Скажите, пожалуйста, мальчику, что стыдно жалеть капиталиста.

— Жалеть никого не стыдно! — неожиданно для нашей учительницы ответила женщина. — Это когда-то сказала мать Сосо своему сыну. Но он ее не послушал. И стал тираном. — Женщина вздохнула, попра-

вила прядь седых волос и добавила: — Все едины перед Б-гом, дочка. И бедные, и богатые. И кто знает, чье горе больнее: бездетного миллионера или беднячки с детьми. Пиросмани не стал им судьей. И мы не будем судить. А мальчик — умница. Он будет большой знаток Пиросмани. Большой! — грузинка грустно посмотрела на учительницу и тихо добавила: — Дочка, учи детей жалости, иначе появятся новые тираны.

Учительница ничего не ответила женщине, она молча взяла меня за руку и увела из зала.

Я не знаю, что учительница рассказала обо мне в школе, но меня с этого времени все учителя называли специалистом по Пиросмани. И, как это не покажется удивительным, я им стал. Окончил институт, написал кандидатскую, стал искусствоведом, специалистом по Пиросмани.

Хотя мишпоха мне дала другое имя — Польский Жених! Так называли у нас в местечке старых холостяков. Я себя не считал старым, но мишпоха решила иначе. И все началось со свадьбы Семы, сына дяди Миши из Гомеля. На этой свадьбе все говорили не о молодоженах, а обо мне.

— Хана, куда ты смотришь? — сказала мамаина сестра Рахиль. — Сема на восемь лет моложе Давида, и уже женится. Ты хочешь, чтобы Давид в сорок лет имел ребенка, и все бы думали, что это дедушка с внуком?

— Но ему еще не сорок, а всего лишь тридцать, — сказала мама, — а это большая разница!

— Ты помнишь Лейзерову Симу, — возразила ей Рахиль. — Они все время тоже говорили еще не тридцать, еще не сорок... И что? Осталась старой девой!

— Но он же парень, — попыталась сказать мама и получила убийственный ответ:

— В тридцать лет это уже *а полишер хосун* (польский жених)!

И мне начали искать невесту. Пошли письма из Краснополя и в Краснополье. Отозвались самые дальние родственники. И начались мои путешествия в поисках невесты. Я вам скажу, за всю свою жизнь я не повидал бы столько мест, если бы не эти поиски. Почти каждый месяц мне мама звонила в Минск.

— Давид, собирайся, тетя Клара нашла хорошую девочку... Давид, покупай билет, дядя Алтэр зовет в гости... У его жены Симы есть племянница...

И чем, вы думаете, заканчивались эти путешествия? Ничем. Не знаю почему, но никто мне не нравился. И тогда тетя Роза из Харькова в сердцах сказала:

— Все! Я познакомила его с тремя изюминками. И что? Ни одна ему не подходит! Больше я за это дело не берусь. Мне не надо этой головной боли. Ему нужна принцесса — отправь его, как дядю Моню, в Америку.

Дядя Моня, дедушкин брат, уехал в Америку еще до революции. И, как тогда часто случалось, следы его пропали. И потому он теперь служил всей мишпохе примером неудачника. Что бы ни случилось, все вспоминали дядю Моню: хочет разбогатеть, как дядя Моня, хочет стать умным, как дядя Моня, хочет жениться, как дядя Моня...

Когда меня сравнили с дядей Монеи, я понял, что женитьба для меня совершенно безнадежное дело.

— Хана, Давид прошел уже через тот возраст, когда влюбляются, — подвела черту под моими поисками тетя Рахиль. — Сейчас он выбирает невесту, как Аврум корову. То рога кривые, то глаза большие, то молоко — одни сливки. Одним словом, польский жених.

Мой друг, художник Юрась, который знал только о половине моих встреч, сказал:

— Додик, ты не знаешь, что хочешь.

— Знаю, — возразил я. — Как говорил мой дедушка, я хочу марципану, с двух сторон помазанную маслом, чтобы в руки нельзя было взять.

Я шутил, но скажу вам честно, в душе моей пропала вера, что я когда-нибудь женюсь.

И вдруг совершенно случайно я встретил ЕЕ. Начало было будничным и не предвещало ничего неожиданного. Позвонил Юрась и сказал, что в каком-то захудалом клубе в Зеленом Лугу открыли выставку репрессированных художников.

— Давай подъедем, — предложил Юрась.

И мы поехали.

В маленьком тесном фойе клуба, буквально давя друг друга, висело полтора десятка картин. Мы попали туда перед очередным киносеансом, и зрителей, ожидавших начало, в фойе было довольно много. Я увидел ее сразу. Вернее не ее, а портрет девушки. Портрет висел в стороне, рядом со стендом передовиков производства. Но мы с Юрасем сразу пошли прямо к нему. Как в Лувре идут к Джоконде. На портрете была не просто девушка, а мечта, сказка, идеал...

— Такой красоты в жизни не бывает, — сказал я и повернулся к Юрасю.

И замер. Я увидел ее. Она смотрела на портрет, как будто смотрелась в зеркало.

— Это вы? — спросил я, понимая глупость моего вопроса.

— Что вы!? — улыбнулась девушка. — Я еще не родилась, когда был написан этот портрет.

— Но сходство удивительное! — сказал я.

— Я похожа на маму, — сказала девушка. — А это ее портрет, — она сверкнула своими блестящими влажными глазами и вздохнула, — дочкам быть похожими на мам плохо. Есть такая примета. А в нашей семье все дочки похожи на мам. Потому и маемся, — она вопроси-

тельно посмотрела на меня и тихо добавила: — Этот мамин портрет нарисовал ее жених. Его арестовали за два дня до свадьбы. Больше они не виделись...

Что вам сказать? Как говорил мой дедушка, когда видишь на столе цимес, разве можно думать о чем-то другом? Когда я увидел Риту, я сразу понял, что это моя судьба. И почему-то подумал, что судьба нелегкая.

Я забросил работу над книгой о Пиросмани, забыл свои ежедневные посиделки в мастерской Юрася. Я мог думать только о ней, и видеть мне хотелось только ее. Мы встречались с ней каждый день, но через месяц я знал о ней не больше, чем после первой встречи. Когда я дома рассказал о ней и мама спросила, кто ее родители, я только пожал плечами: я не знал. Мы с ней не говорили об этом. Я только знал, что она учится в театральном, а ее мама — учительница. А про отца она вообще никогда не говорила.

— Она хоть еврейка? — спросила тетя Роза. — Или ты это тоже не знаешь?

— Ты специально приехала из Харькова, чтобы задать этот вопрос? — спросила мама. — Слава Б-гу, Давид влюбился, и больше меня ничего не интересует!

— Даже если она еврейка, это еще не значит, что она хала с медом! — вставила свое слово тетя Рахиль. — Ты же знаешь невестку нашего Зелика. Когда он остался один, то решил переехать к сыну в Могилев. И что? Прилетел оттуда, как подстреленный. А раньше бегал по Краснополю и всем кричал: наша Гиточка — золотце! А теперь про это золотце вспоминать не хочет!

— Но лучше, если бы она была все-таки еврейкой, — вставил свои пять копеек дядя Соломон. — В жизни всякое бывает: иногда поругаются из-за чепухи, а когда жена гойка, будешь думать всякое. И ей плохо, и тебе.

— Она еврейка, — успокоил я мишпоху. — Портрет ее мамы называется «Суламифь».

После этого разговора мама не вспоминала про Риту до самого моего отъезда, как будто боялась спугнуть мое везение, но на автобусной станции, когда до отправки автобуса осталось всего несколько минут, сказала:

— Зуналэ, с родителями Риты тебе надо познакомиться. Месяц встречаешься с ней, и неужели они не хотят тебя увидеть? Я не знаю, может, в городе так принято, но у нас — по-другому. И к нам пусть приедут. Ведь им тоже, наверное, интересно знать, кто мы. Как говорят у нас: кошерную халу можно испечь только из кошерной муки!

Я кивнул маме в знак согласия, но Рите ничего не сказал.

Мы встречались еще месяца два, и вдруг она сама сказала:

— Папа хочет с тобой познакомиться.

Она не сказала «родители», не сказала «мама», она сказала — «папа». И добавила:

— Давид, я тебе не говорила: папа сейчас на пенсии, а раньше он работал в органах.

— Милиции? — уточнил я.

— Нет, — сказала Рита.

И я понял, в каких он работал органах.

— Разве там работают евреи? — удивился я.

— Да, — сказала Рита.

Где наш Хаим не бывает — вспомнилась мне поговорка дяди Соколомона, но вслух я ее не сказал.

В тот день Рита впервые заговорила об отце.

— Папа добрый. Мне бабушка рассказывала, что когда арестовали Сему, все ждали, что придут за мамой. Дедушка говорил: «Если даже Голду не арестуют, то все равно в нашем доме счастья не будет. Кто ее теперь возьмет замуж? В наших Осиповичах евреи не дураки». Но, слава Б-гу, нашелся один дурак — твой папа, и взял Голду! — так закончила свой рассказ бабушка. Услышав эту семейную историю, я в тот же вечер пересказала ее папе и спросила: «Это правда, что ты дурак?» Папа долго смеялся в ответ, а потом сказал: «Какой же я дурак, если взял такую красавицу, как наша мама, в жены? К ней сватались все парни в Осиповичах, а досталась она мне».

И вправду, Натан Григорьевич был не дурак. Он оказался остроумным, интересным собеседником. За столом в основном говорил он. Как-то само собой разговор перешел на искусство, и оказалось, что и в нем Натан Григорьевич вполне профессионально разбирался. Я удивился:

— Искусство ваше хобби?

— Нет, — засмеялся он. — Профессия! Я курировал эту область. Довольно долгое время. Иногда и теперь просят помочь разобраться в различных «-измах», которыми так богато искусство. Но я вам честно скажу: современных художников я слабо понимаю. Не то воспитание. Как говорила в Бобруйске мадам Рабинович, уже не тот возраст, чтобы обходится в доме одним мужем! Требуется помощник! — Натан Григорьевич поправил очки и вопросительно посмотрел на меня.

Я с трудом отвел от него взгляд и увидел, как прикусила губы Рита, как опустила глаза Ритина мама, и меня внезапно охватил страх, наверное, такой же, какой чувствовала бабушка, когда Титовна назвала ее шпионкой. Не помню кто, кажется, Шекли, написал, что страх имеет Запах. И зверь его чувствует! Сидящий напротив меня человек, как зверь, чувствовал мой запах страха. Я понял это по его глазам. И опять вспомнил рассказ Шекли. Есть два выхода, чтобы спастись: бежать или пересилить страх. Я сжался в ожидании прыжка. И он прыгнул.

— Прекрасный молодой человек рисует прекрасные рисунки к прекрасным детским книжкам и получает прекрасную возможность отдохнуть в прекрасном доме творчества под Москвой. И что он там рисует, как вы думаете? — Натан Григорьевич вдохнул воздух, желая убедиться, что мой страх не исчез, и замер, ожидая ответ.

— Он рисует прекрасных дам! — спасая меня, воскликнула Рита.

Я знал, что рисовал в Малеевке Юрась. И Рита знала. Она попыталась перевести разговор в шутку, но не получилось.

— Нет, он не рисовал прекрасных дам. Ты ошиблась, дочка, — Натан Григорьевич улыбнулся и обратился ко мне. Ему нужен был мой ответ. — Молодой человек знает, что искусство не живет по законам логики. Оно живет вопреки ним. Не правда ли?

— Вы правы насчет логики, — сказал я и отшвырнул страх, как тогда, на бабушкином огороде. — Но в отсутствии логики есть высшая логика творчества, — я сказал заумно, страх был еще рядом, и тогда я подцепил его ногой, как футбольный мяч и, перебросив через голову назад, спокойно сказал: — Мой друг Юрась рисовал в Малеевке свалки большого города.

— Москвы! — уточнил Натан Григорьевич

— Большого города, — повторил я, не обращая внимания на его замечание. — В груди искореженного металла — наш век, с его проблемами и радостями, — страх прошел, и я, сбросив груз страха, неожиданно для него спросил: — А вы видели эти листы?

— Нет, — сказал он. — Но их видели большие художники.

— О, это неповторимое выражение — видели другие! — отбросив страх, я забыл про осторожность. — А кто скажет, кто большой, а кто маленький? — я улыбнулся. — Указами это не определить. И линейкой не измерить.

Он понял, что я побеждаю. И ловко перевел разговор на другую тему. И в это время подали мою любимую мочанку. И Ритина мама сказала, что ее готовила Рита. И Рита сказала, что картошку натирал папа. И я расслабился, я подумал, что можно успокоиться. Но сдаваться он не был приучен. Он знал, что за ним власть, а за мной ничего. И, когда я прощался, буквально на пороге, он неожиданно сказал:

— А вы высказали интересные мысли о рисунках вашего друга. Вот и напишите про это, а мы прочтем! — он открыл мышеловку и закрепил пружину: — Пожалуйста, в двух экземплярах. Мы ждем!

Он не сказал — я, он сказал — Мы! И я почувствовал свое бессилие перед этим — Мы! И страх возвратился ко мне. Я не смог его отшвырнуть от себя. Но он не смог превратить меня в подлеца. Я ничего не написал. Я просто ушел из этой семьи. Рита несколько раз мне звонила, но я ссылался на неотложные дела, и она поняла, что я не хочу с ней встречаться.

Я боялся. Страх на какое-то время убил во мне все чувства — и любовь...

Я ждал, что меня вызовут т у д а. Но не вызвали. И теперь я знаю почему.

Когда-то дедушка мне говорил, что пройти через реку, не замочившись, может только Моисей. Я хотел пройти через реку Подлости и остаться Честным. Но не смог. Я это понял потом, а тогда я думал, что поступаю честно: я не предал Юрася, я отверг Риту, я не смолчал перед Натаном Григорьевичем. Хлопайте в ладоши: я — герой! Я — герой...

Когда мама спросила меня про Риту, сказал, что я Рите разонравился. Я не мог соврать, что она мне не нравится. Не мог...

— И слава Б-гу, — сказала мама. — Я тебе раньше не говорила, но сейчас скажу: из артисток хорошие жены не получают. Это даже лучше, что вы расстались до свадьбы, а не после нее.

Она долго успокаивала меня, а потом неожиданно сказала:

— По глазам, Зуналэ, я вижу, что ты ее любишь.

— Люблю, — честно сказал я.

В эту минуту мне захотелось рассказать маме обо всем и спросить совета, но я пересилил себя и ничего не сказал: я не хотел делиться с мамой своим страхом. Страх я оставил себе.

Юрась тоже поинтересовался, почему я перестал встречаться с Ритой. Я ему не рассказал про мой разговор с Натаном Григорьевичем, но я сказал ему больше, чем маме: я сказал ему, что Ритин отец работает в органах.

— Ну и что? — сказал Юрась и пошутил: — Как говорил товарищ Сталин, сын за отца не отвечает. А дочка тем более.

Я ничего ему не ответил. И он понял мое молчание и спросил:

— Боишься стать Павликом Морозовым?

— Да, — ответил я.

И больше он ничего не спросил. И мы вообще об этом перестали говорить.

Родственники опять стали искать мне невесту, но дело не дошло даже до встречи, ибо у мишпохи возникла новая проблема — Америка. Потихоньку стали уезжать все родные, и, в конце концов, очередь дошла до нас.

— Все наши уехали, — сказала мама. — Даже дядя Наум, у которого жена русская и все дети записаны русскими. Не оставаться же нам здесь одним, что бы все на нас показывали пальцами.

Я понимал, что в Америке мне будет трудно. Кому там нужен специалист по Пиросмани? Но я знал еще, что уехать туда — это значит, избавится от страха, который продолжал все еще жить во мне. Прошло полгода, как я не встречался с Ритой, и никто не напоминал мне о разговоре с Натаном Григорьевичем, но когда мама заговорила об Америке, я вспомнил о страхе. И до последнего дня, уже сидя в аэропорту, думал, что меня в Америку не пустят. Но — пустили!

Кахетинский поезд

У Пиросмани в картинах всегда присутствует ощущение человеческого состояния. Не знаю, как кто, но я всегда нахожу среди его картин ту единственную, которая соответствует моему состоянию в тот или иной момент моей жизни.

Первые годы в Америке — это Кахетинский поезд. Поезд, который то ли прибыл на станцию, то ли пронесется мимо нее. Дым стелется из трубы, как будто прижат встречным воздухом, а вагоны, в отличие от паровоза, замерли: под ними нет колес. Это было похоже на мое движение здесь: я двигался и в то же время оставался на месте. Я нашел работу полотера в гостинице, и вся мишпоха смотрела на меня как на счастливого: сразу нашел работу на чек и с бенефитами.

— Хана, — сказала тетя Роза. — Твой Додик родился в рубашке. Мои дети здесь четыре года, и никак не могут найти себе что-нибудь приличное. Сема крутится, как проклятый, на карсервисе, а Неля вообще сидит дома, как Анюта на чайнике.

— Розочка, — вздохнула мама, — конечно, мы счастливы, что у Давида есть работа, но когда я вижу, какие у него печальные глаза, когда он приходит после этой работы, мне хочется сказать, как говорил наш папа: что хорошо Саре, не всегда хорошо Абраму!

— Я тебя понимаю, Хана, — успокаивал маму дядя Соломон. — Мы все там кем-то были. Но — все! Уехали — и надо забыть! Я тоже, как-никак, что-то имел. Я не хочу сказать, что я был, как Додик, но у нас в конторе меня уважали. И это не мешает мне подметать улицу перед магазином Михла, которого мы в Краснополье за человека не считали! Михл-кихул и все! А здесь он мистер Майкл. И я снимаю шляпу перед ним. И говорю, слава Б-гу, потому что он дал мне работу. А работа — это хлеб и немножко к хлебу, и да процветает бизнес Михла в веки веков!

Дядя Соломон, конечно, прав во многом, но разве душе прикажешь забыть то, что было?

Я — пассажир Кахетинского поезда. Я смотрю из окошка на перрон. А на нем, открыв свои глотки, лежат огромные кеври — грузинские кувшины, такие же огромные бочки и бурдюки. И в них не вино, а память. Память, оставленная на перроне. И я знаю, что вагоны не тронутся с места, пока память здесь. И как маленькая надежда — одинокий человек на перроне, подающий в вагон бурдюк. Бурдюк с памятью. И я знаю, в жизни всегда так: память о прошлом дает возможность двинуться вперед! Ошибается тот, кто думает, что прошлое это ненужный груз!

Я не сторонник того, что бывают работы хорошие и плохие, трудные и легкие. Работа полотера не хуже и не лучше работы искусствоведа. Но работа должна соответствовать душе человека. Дедушка мне рассказывал о своем друге Авроме. Родители его были

уважаемые в Краснополье люди: папа-провизор, мама-провизор. Дело было до революции: у них была своя аптека. И они решили сделать Авромку тоже провизором. И Авромка зачах. Он начал таять на глазах, как ледышка весной. И тогда его повезли в Могилев к доктору Лурье. И доктор беседовал с Авромкой с глазу на глаз целый час. И потом сказал папе с мамой: если вы желаете счастья и здоровья своему ребенку, не делайте из него провизора. Сделайте из него пастуха! Хотя бы на одно лето! И что вы думаете? Они так и сделали. И Авромка ожил! После революции он стал председателем еврейского колхоза. И был счастливым человеком, пока его не посадили в тридцать седьмом.

Я старался привыкнуть к своему полотерству и убеждал себя, что всей душой люблю это дело. Не поверите, но за три года в Нью-Йорке я так и не выбрался в Метрополитенн-музей?! И это, вы скажете, искусствовед?! Как писал когда-то Шишкин: «гляди на него, этого уroda — был за границей, а в Париже-то и не был, а без этого, что за человек? Так, плюнуть и только». Писал, кстати, о себе.

Я старался забыть прошлое, чтобы привыкнуть к настоящему. И, как дядя Соломон, радоваться тому, что есть. Но не получилось. К счастью!

Однажды, натирая полы в одном из номеров отеля, я увидел альбом Пиросмани. Шикарное издание Skira. С лаконичным фирменным «S» на обложке. Нам строго запрещалось трогать вещи постояльцев, но я не выдержал. Я взял альбом в руки и... забыл обо всем. Я даже не услышал, когда в номер зашел хозяин. Он несколько минут наблюдал за мной, а потом осторожно дотронулся до меня:

— Мистер, я вижу, вам нравится этот художник?

Я вздрогнул, как ребенок, застигнутый за недозволенным, и уронил альбом. Он подхватил его и протянул мне, повторив вопрос. А потом мы долго говорили о Пиросмани, об искусстве, о жизни. Хозяином номера оказался профессор из Гарварда, искусствовед. Как говорят евреи, споткнувшись, одни разбивают лоб, а другие находят бриллианты. Я нашел бриллиант! Буквально через неделю я получил официальное письмо из Гарварда, меня просили прочитать курс лекций по творчеству Пиросмани.

Мама, когда я прочитал ей это письмо, вскочила со стула и закричала на всю квартиру:

— Готуню, ты услышал меня! Додик опять стал специалистом по Пиросмани! Я знала, что это будет! Теперь я могу спокойно умереть! Сейчас я позвоню всем и всех обрадую!

И первому она позвонила дядю Соломону, и он сразу же сказал:

— Хая, это надо отметить. Идем в ресторан! Еще наш папа говорил, что жизнь без праздника — это не жизнь! Устроим маленький праздник.

Ресторан выбирал дядя Соломон. И он выбрал самый большой.

— Чтобы все нас видели! — сказал он.

— И мы всех, — добавила тетя Роза

Я не люблю рестораны. Но мишпохе отказать я не мог. В этот вечер в ресторане праздновали одновременно две свадьбы, три дня рождения и мой скромный успех. Каждая компания веселилась сама по себе. Ведущий ресторанного ансамбля зачитывал приветствия, вызывал к микрофону желающих сказать добрые слова. У микрофона не было отбоя от желающих. И даже дядя Соломон произнес в микрофон спич в мою честь. И вдруг я услышал усиленный микрофоном знакомый мне голос. Со знакомыми до боли словами.

— Прекрасному молодому человеку мы отдаем сегодня нашу прекрасную дочь. Пусть будет прекрасной ваша совместная жизнь! Горько!

Я вздрогнул. Приподнялся с места, чтобы разглядеть человека у микрофона. Я узнал его сразу, он совершенно не изменился, как будто не прошло целых пять лет со дня нашей последней встречи. Такой же подтянутый, аккуратный, с копной седых волос. Я несколько секунд смотрел на него, а потом мой взгляд повернулся к тем, к кому обращался Натан Григорьевич. Я ожидал увидеть Риту. Я хотел ее увидеть и одновременно, почему-то, боялся этого. Но невестой была не Рита. И это меня обрадовало. И мне вдруг до боли захотелось увидеть Риту, услышать ее голос, дотронуться до ее волос... Мама заметила мой взгляд, мое изменившееся лицо и тихонько, наклонившись ко мне, спросила:

— Что с тобой? Ты кого увидел?

— Знакомого, — сказал я. — Из Минска.

— Хорошего или плохого знакомого? — осторожно спросила мама.

— Плохого, — сказал я, — но мне хочется с ним поговорить.

— Подойди, — сказала мама.

И я, дождавшись, когда он выйдет в фойе покурить, подошел к нему.

Он узнал меня тоже. Встрече не удивился. Даже пошутил:

— Если хочешь встретить знакомого еврея, приезжай в Америку! И сходи в русский ресторан!

А потом сказал, не ожидая моего вопроса:

— Дочку жены выдаем замуж. Голда умерла, и я второй раз женился, и вот с новой семьей уже год, как в Америке. В Нью-Джерси живем. А жених отсюда. Живем неплохо: дом купили, маленький ландромат держим, — и пояснил для чего-то, — прачечную по-нашему. И еще парикмахерскую держим: жена там крутится, а я в этой прачечной! А ты где? В Нью-Йорке?

— В Гарварде, — сказал я. — Преподаю в университете.

Он удивленно посмотрел на меня. И я добавил:

— Занимаюсь творчеством Пиросмани.

— О, вы специалист по Пиросмани! — сказал он и неожиданно вспомнил Риту. — Мне Рита когда-то об этом говорила. Вам повезло. Все мои знакомые в Америке сменили профессии, — он хотел продолжить начатую тему, но я остановил его:

— И Рита живет в Нью-Джерси?

— Нет, — сказал он, — она осталась в Минске.

— Не захотела ехать? — спросил я.

— Я не мог взять, — как-то виновато сказал он и добавил: — Она была против моей женитьбы. Не сошлась характером с моей Белой и осталась.

— Она живет в вашей старой квартире? — спросил я.

— Нет. Она ушла от меня, когда я женился. И я продал квартиру, — пояснил он и, не ожидая моего вопроса, добавил: — Где она сейчас живет, я не знаю. Она мне письма не пишет.

Он вдруг посмотрел в открытые двери зала и, как бы извиняясь, сказал:

— Уже все возвращаются к столу. Моя благоверная ждет. Я пойду. Позже еще поговорим.

Но позже мы не поговорили. Мне не о чем больше с ним было говорить. Когда я вернулся к столу, мама спросила:

— Это был знакомый Риты?

— Да, — сказал я.

— Я это поняла, Зуналэ, по твоим глазам, — тихо сказала она и спросила: — Она здесь?

— Нет, — сказал я. — В Минске.

В тот вечер она больше ничего не спросила.

Из Гарварда я позвонил Юрасю. Спросил про Риту. Он удивился моему вопросу, ибо целых пять лет я не спрашивал его о ней. И он мне о ней ничего никогда не говорил. Он знал о ней все. Но сказал, что это длинный разговор, не для телефона, и обещал прислать письмо. Я мучительно ждал это письмо. А оно как назло шло очень долго. Целых три недели. Это было не письмо — это был мой приговор. Я не буду пересказывать его, ибо приговор не пересказывают, а зачитывают... И я его зачитаю.

...где-то через полгода после твоего отъезда одна из новых газет напечатала архивные материалы по делам репрессированных художников: доносы, протоколы допросов, стенограммы судов. Там были документы и об авторе «Суламифь». Его допрашивал известный тебе Натан Григорьевич. И он писал обвинительное заключение. Когда это прочитала мать Риты, она покончила с собой. А Рита ушла из дома. Я не хотел тебе об этом писать, но раз просишь — пишу. Рита окончила театральный, но работу в театре не нашла. И пошла работать в варьете к Лешке Реалисту. Ты, наверное, его помнишь. Он рисовал портреты передовиков труда. А теперь рисует

портреты передовиков капитала. И поставляет им девочек. Это и есть его варьете. Канкан, Париж и иже... Как у нас говорят: адзін баляе, другі гаруе!

Я прочитал это маме. И все ей рассказал. И спросил:

— Что мне делать?

— Ты сам знаешь ответ, — сказала мама.

— Знаю, — сказал я.

И еще я сказал:

— Я ее люблю!

— Люби, — ответила мама.

Артистка Маргарита

Герои Пиросмани — это карочохели — тифлиссские рыцари без страха и упрека. Я мечтал стать одним из них. Но не стал. Я бежал с поля боя. И оставил свою Маргариту. И теперь возвратился к следам своим...

Я приехал за ней в Минск. Юрась встретил меня в аэропорту.

— Я сказал ей, но она, как видишь, не пришла, — Юрась вздохнул и добавил: — В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Все течет, все меняется. Она другая.

— И я другой, — сказал я. — Мы оба другие, и мы нужны друг другу. Ты знаешь, где она? — спросил я.

— Знаю, — сказал Юрась.

И я поехал к ней. Сразу. С аэропорта.

И мы говорили целую вечность. Обо всем.

— Ты знаешь, — сказала она, — это я рассказала отцу про Юрася. И никто его ни о чем не просил тогда. Он ведь пенсионер и давно не работал на Них. Когда ты ушел, мама сказала: «Что тебе надо от мальчика?» И он ответил: «Пусть будет таким, как я! В семье не может быть один чистенький, а все грязненькие. Сталин был не дурак, когда под приговорами собирал подписи всех своих соратников».

— Он хотел меня сделать своим, — грустно пошутил я, — значит, я ему понравился.

— Наверное, — сказала Рита. — Он часто про тебя спрашивал.

И спросила:

— Ты его видел там?

— Да, — сказал я.

Больше она про него ничего не спросила, только сказала:

— Когда мама умирала, она спросила: «Почему мы, евреи, такие? Почему?» — и глазами Суламифь посмотрела на меня.

И я ответил:

— Мы такие, как все. Среди нас есть Маккавеи и Флави, Кагановичи и Михоэлсы...

Рита вздохнула и добавила:

— Давиды и Риты...

— Давиды плюс Риты, — поправил я ее. — Как говорили когда-то: мы по одну сторону баррикад!

И сказал:

— Я люблю тебя, Рита. Будь моею женой!

— Давид, — сказала она, — возвращайся в Америку и будь счастливым. Ты хороший, ты найдешь себе лучшую, чем я.

— Нет, — ответил я. — Мне не надо другую. Мне нужна ты!

А потом был сельсовет в деревне Юрася. Сельсоветчица долго вертела мой американский паспорт, ища страницу, куда поставить штамп. А потом плюхнула его на страницу, где виза, и объявила нас мужем и женой. Утром я должен был лететь. И мы в тот же вечер возвратились в Минск. Впереди была ночь. Наша первая ночь.

— Я живу с подругой, — сказала Рита.

— Поедем в гостиницу, — предложил я.

— Я не люблю гостиниц, — сказала Рита. — Там меня все знают.

И мы поехали в аэропорт. И просидели до моего отлета в ресторане.

— Сегодня в Америке День Благодарения, — сказал я. — И все едят турку.

— Какого турка? — удивленно посмотрела на меня Рита.

— Турку, — улыбнулся я. — Это индюшка по-английски.

— И мы закажем турку, — сказала Рита. — И я буду благодарить всех за то, что ты у меня есть...

За окном шел первый снег. Белые пушистые хлопья были похожи на мазки кисти, которые беспорядочно разбрасывал пьяный художник.

Вспомнились мне слова Нико: мир дешевле соломы, а деньги не стоят жизни, и все золото мира не стоит одной красавицы... И вспомнилось еще: я простил ей грех белым цветом...



Марк ХАРИТОНОВ

/ Москва /

СЮИТА СЧАСТЬЯ

Je me sui senti heureux, simplement parce qu'il m'était impossible de me sentir malheureux.

B.S.

Я чувствую себя счастливым хотя бы потому, что чувствовать себя несчастным невыносимо.

Б.С.

* * *

Слезы грибного дождя, обещание радуги,
Черный потек под ресницей.
Оживает, дрогнув, улыбка,
Откликаясь гитарной дрожи,
Перебору губной гармошки,
Приглашению подключиться
К шагу, к такту без слов.

Теплый выдох нагретой хвои,
Воздух полнится беспокойством,
Пляской мелких ночных существ,
Чье призвание — подтверждать
Бесконечность мгновенной жизни.

Улыбайся, Кабирия, улыбайся.
Быть несчастной невыносимо.

* * *

Можно ли видеть дерево и не быть счастливым?
Повторяй, это сказано классиком.

Пусть не в рифму — доверься ритму.
Служба слов — обезболить, заморозить.

Можно ли... и не быть?..
Не оглядывайся, смотри не туда.

Лунная недостоверность,
Волшебство отраженного света,
Тени чужих заблудившихся снов
Проплывают, поводя плавниками,
Не касаясь лица.
 Не проникнуть, не уловить.
Отгоняй, отгоняй тревогу.

Можно ли... и не быть?
Не оглядывайся, не старайся взглядеться,
Что там покачивается среди веток, на ветке.

Можно ли... может быть...
Померещилось, показалось.

* * *

Самоуверенное самоуправство — попытка
Подменить провидение. Кто ты,
Чтобы решать за него?
Жизнь так просто не отпускает.

* * *

Возвращение ниоткуда, из бесчувственного провала
Пустота наполняется воздухом, оживают неясные звуки
Без источника. Стон ли, похожий на музыку,
Музыка ли, как стон — вдох отзывается болью.
В мир возвращается тяжесть, размеры и смысл.
(Стон с соседней кровати, музыка в чьих-то наушниках.)
Только бы еще вспомнить, что на миг засветилось
На кромке провала, до него или после?..
Счастье знать, что страдание не бесконечно,
Счастье не знать про бесконечность после конца.

* * *

Постоянным клиентам банка — именные монеты счастья.
Колдунья в шестом поколении обещает наладить

Положительную энергетику (выражаясь научно),
Обеспечить благосклонность космических сфер.
В магазинах сборники заклиний, выбор по каталогу
Амулетов и талисманов, толкования гороскопов.
Знаешь свой уже наизусть, надеешься подстеречь
Сближение нужных небесных тел. Толку немного.
Образок из монастыря — и тот, считай, не помог.
Объясняют: желания надо загадывать правильно,
Свечу зажигать нужного цвета, новую каждый раз,
Чтоб не пропиталась вчерашним, недобрым.
Главное, говорят: чтобы мысли были полны любви.
Зарядившись доброй энергией, будешь ее излучать.
Но ведь только и думаешь о любви, не излучаешь —
Истекаешь любовью. Был опробован способ:
По пути на свидание разжевать, проглотить
Билетик со счастливым сочетанием цифр.
И однажды ведь помогло — только вспомнить...
Трепет майского воздуха до сих пор отзывается в теле.

Не стало бумажных билетиков, вот ведь беда —
Автоматика считывает сама, без номеров.

* * *

Не расчесывай засохшей коросты —
 снова начнет зудеть,
Нарывать, кровоточить. Не перебирай
Застарелых обид, потерь. Стоит ли вспоминать
Куклу, сломанную сестрой, украденный талисман,
Проваленный без него экзамен,
Упущенную победу, уступчивость без любви,
Разочарование оказавшегося не первым?
Не восстановить, не вернуть. Не береди,
Не расковыривай язв. Дай погаснуть
Уголькам дотлевающей ревности,
Не прокручивай бесконечно того,
Что однажды открылось — не освободишься
До смерти, а может, и после,
Там, где мучают неспособностью забывать.

Есть известные средства укорачивать память,
Заглушать, успокаивать.
Только осторожнее с дозой.

* * *

Пыльной лампе хватает накала лишь на себя.
Зелень стекла на просвет, дактилоскопия
На мутных немых гранях.
Тепло разливается изнутри, наделяя
Чувством согласия с миром,
Готовностью в нем раствориться.
Одежку не ощущаешь, как кожу.
Натюрморт самобранки на газетном листе,
Фото кинозвезды, лицо измазано соком.
Если сейчас запоешь — изумишься,
Как зазвучит вдруг собственный голос.

* * *

Умиротворенный счастливец.
Боль надежно забыта.
Откричался в младенчестве,
Не поняв, не осознав,
От чего его избавляют,
Наделяя властью над теми,
Кто оставлен страдать страстями.

* * *

Согреваться общим дыханием, тесным теплом
Передвигаться от жвачки к жвачке
со жвачкой в сладкой слюне,
Переставляя множество ног
без заботы о направлении,
Без отдельных мыслей, тревог
(жвачка в слюне сладка),
Без последнего страха — не успеешь понять,
Не дадут ощутить даже боли:
Достижение гуманизма.

* * *

Блаженны, кому даровано не искать — иметь,
Принадлежать от рождения, без выбора, без сомнений
Горе не удостоенным!

Пар восторженных воплей над разверстыми ртами
Поднимается высь, наполняя мир общим дыханием,
Общим ритмом, утверждая гармонию сфер.

Совпадение с мироустройством,
растворенность, ритм ритуала
Сладость боли, блаженство ран,
кровоточащих под небесами.
Небеса над ними раскрыты.

* * *

Чудо первого снегопада — небеса опускаются наземь,
Преображая нездешним сияньем прозу сереньких дней.
С чем сравнить небывалость вдруг возникшего мира?
С революцией, скажет поэт. Исторический катаклизм
Родствен стихиям природы, грозам, неистовству туч.
Действительность сочиняет саму себя, выбирая пути,
Как свободный художник, вдохновляясь происходящим.

Рождается новый эпос, лицо василиска оледенит, озарив,
На мостовой людские мозги, флотский блев, кровь.
Усваивай, хоть и с трудом, содом. Ты знаешь о безднах,
Только к краю слишком не подходи, если рожден
Для осуществления, не для гибели. Частные беды
Станут высокой трагедией, все ничтожное — мелким,
Когда звук исчезает за музыкой разрастающихся небес.

Счастья достойны те, кто к нему оказались способны,
Кто судьбой предназначен одаривать счастьем других,
Помогай им не сломаться, не задохнуться, найти опору
В страшном, безумном времени, искренне им восхититься,
Не оказаться отверженным, отщепенцем, страдальцем,
Попросту выжить. Быть несчастным невыносимо.
Обойтись без потерь в наше время не удалось никому.

* * *

Увядание октября. Оседают медленно золото,
Устилают дорожки. Парк теперь светится снизу.
Дуновение ниоткуда, четкий прозрачный воздух.
Парочка на скамейке. Пальчики с маникюром
Прикрывают джинсовое вздутие на соседнем бедре.
Оба тебе понятны, чувствуешь за обоих.
Женщина несет впереди себя набухший живот
Отеки с лица сошли, плакать уже перестала.
Он говорил: аборт или я уйду. Решение позади.

Небывалое повторится впервые. Или было уже?
Восторг несравненной боли, кричащее тельце в крови
Вытягивает из тебя пуповину. Счастливая складка губ
У мальчика от рождения...

Взгляд двоится, сбивается,
Видишь, что перед тобой и чего уже нет. Новый лист
Оторвался, медленно кружит. Золотистый крап парка
Не тасуя, как есть, покрывает отживший мусор,
Обрывки, обертки, облатки. Шевелящийся воздух,
Шорох, шелест и шепот. Грусть осеннего понимания.
Было, было и счастье — оказалось, долго не выдержать.
Вспышку молнии не продлишь, не растянешь,
Не удержишься на вершине. Исполненное желание
В тот же миг иссякает. Полноту насыщенной жизни
Проще вспоминать, чем переживать. Желаннее счастья
Покой, пока он не скука. Пустота заменяет нервы,
Способные вызвать боль...

Вонзилась, вспыхнула снова
Значит, еще живешь. Мир вывернут негативом.
Белые рыбы губы, черный мучительный воздух.
Капля течет по щеке. Затих воробьиный раздрай.
Возвращается музыка, та же, что и всегда.
Слух бывает закрыт для нее — а может, душа.
Это она, а не ветер, пела смычком в ветвях,
Невесомо касалась волос, овевала дыханием кожу.
Поднимается выше и выше саморастущий собор,
Выстраивая, вбирая нерасчлененное время,
Жизнь всегда и сейчас, дарованный миг,
Понимание, которого не передашь,
Нету сил шевельнуть губами.



Тамара БУКОВСКАЯ

/ Санкт-Петербург /

* * *

человечиной пахнет вранье
 тухляком дохляком вороньем
 смертным потом дерьмом и ссаньем
 кровью спекшейся рваным бельем
 вместо белых белым облаков
 божьих лайков любовных пайков
 обольщения вечным житьем
 расписанья отбой и подъём
 вместо дрожи прибрежной воды
 оды к радости дудки-дуды
 в напряженье дрожащей уды
 озлобленьем раззявлены рты
 искажение божьего смысла
 пузырями словесного мыла
 да слюною неправого пыла
 омерзело обрыдло постыло

* * *

непонятка невнятка прикол
 божий смысл наколот на кол
 человеческой убыли быть
 где небесная стряхнута пыль
 и летит золотая пыльца
 а вослед голоса голоса
 аааадримцаадримцаца
 хочешь мать поминай хошь отца
 хочешь в землю заройся как крот
 жевкой черной заполнив свой рот
 бизнесмыслом кичись не кичись

а далёко небесная высь
недоступная в ней простота
не поймаешь её на живца
на любителя мо и словца
на жильца на тельца на ловца

* * *

на той стороне улицы
только ветер крутится
а на той стороне улицы
мокрый снег да распутица
жизнь идет на уступу
облезает и лупится
штукатурный фасад
на той стороне улицы
черт в подворотне сутулится
да пес шелудивый дуется
мокрый поджавши зад
а на той стороне улицы
переступая утицей
увязая по самые ступицы
время идет назад

* * *

державномордые коротковыи
откуда вы
популизаторы катализаторы
войны

* * *

правые против левых
левые против правых
красные против белых
трусливые против смелых
как в шахматы или в го
главное кто кого
поиграть в войнушку
расчехлить пушки
битами и киями
меряться как .уями
человечьего месива
хватит на месяц ли

* * *

затычка
запинка
бессловье
пустяк
в том смысле
что смысл
словесный
иссяк
и прост
переход
из
я жил
в никогда
в состав
основной
зола
и вода
она ж
никуда
не девается
жизнь
ты просто
подальше
подальше
держись
под родной
землицей
под черной
землей
став частью ее
толкотней толчеей
сочащимся месивом
мысли живой

* * *

ой, боженька боженька,
что ж корчишь рожу нам
что ль мы дети малые
или горя мало нам
мутишь душу сердце рвёшь
не за грошик отдаешь

* * *

габардиновые пыльники
мантили и макинтоши
меной-выменой за гроши ли
на толчке на барахолочке
вместе с клешами и бобочкой
тонко вязаной фасон апаш а ля
так по невскому гуляя бя
от зеркал до елисея для
креп де шин шифона ля-ля-ля
брови выбритой и челочки
с шестимесячной и с плоечкой
и с по-хо-дочкой как лодочкой
и с улыбкой губы трубочкой
и с качающейся юбочкой
с красным запахом москвы
репродуктор дует музычкой
продают уже морожено
и флажки на них написано
первомай и миру-мир

* * *

в этих выбоинах почвы
и растекшейся грязи
правды больше
правда — больше
чем в залившемся слезьми
лживом и немилосерном
небе нашей стороны
нависая над равниной
тяжкой плотью немоты
голубой кембрийской глиной
глотки полнит нам а ты
все пытаешься дышать
дышать и промычать
вроде — Господи! Доколи?
Или — Не могу молчать!

* * *

небо пялится на землю
покрасневшими глазами
в летнем зное беспощадном

злеет зрея дух войны
беззащитно всё живое
перед умыслом железным
дышит тяжело всяко тело
перемалывая жизнь
малость времени досталась
и течет оно как влага
уходя в сухую землю
вместе с нами навсегда

* * *

В.М.

лето в вырице — небо пузырится
свежесдоенным молоком
и детсадовские зырят зыряются
сквозь забор как асфальт катком
расстиляет мнет и разглаживает
черный дядька мат с матерком
в красных норах высокого берега
то ли ласточки то ли стрижи
кормят мошкой потомство бережно
тварь живая за жизнь дрожит
серебром блестя перепрыгивает
через камушки плоть плотва
водопад её мелкую срыгивает
на — покуда гуляй братва
и ещё ни в чем не уверена
и не зная всёго наперед
рыбой птицей домашним зверем ли
но меня в оборот берет
дрождью тела осипшим голосом
перехватом дыханья так
словно колется в горле колосом
или сломан хребет костяк
страсть любовь ожиданье вера ли
что орлом упадёт пятак
до востребованья до выдачи
главпочтамтом или судьбой
на монетном дворе он выточен
отштампован — бери он твой

* * *

на заборе висит объявление
есть на складе горбыль доска

перемат и воскресное пение
и не праздник и не тоска
по небывшему по не сплывшему
по не будущему никогда
по пустым грудям и оплывшему
телу в задницу и бока
репродуктор балует музычкой
вроде всё как всегда пока
лето август туман колышется
наши в прагу ввели войска

* * *

вот — булавкой рыжей хвои
прикреплю пейзаж
хватит до весны с лихвою
если не отдашь
не за денежку бумажку
а за просто так
зелень лета и овражки
васильки и мак
мирной жизни тихий омут
сохляя ботва
рокот всполохи и громы
словно бы война
там за лесом в переделках
передел идёт
света летнего и неба
северных широт

* * *

выруби радиоточку —
финку перышко заточку
арматуры штырь —
телек с дядькой идиотом
распалённым до икоты
красным как волдырь
патетические речи
распаляют только нечисть
крыс да вороньё
там где с совестью хреново
даже пастырское слово
безбожное враньё



АНТОН ШУШАРИН

/ Северодвинск /

СУХАРИКИ

Встреча прошла навывлет. Я много говорил, бодрился, а Серёга наоборот — отмалчивался. Я рассказывал смешные истории, строил планы. Планы, в которых Серёга уже не мог принять участие. Я извинялся, он прощал, и всё повторялось.

— На рыбалку махнём, как только лёд встанет, — рассуждал я, разливая водку. — А на выходных на дачу хорошо бы махнуть! В баньку сходить, воздухом чистым подышать.

Серёга сидел в своём любимом кресле, слушал, изредка скупо комментировал мои планы. Завтра он уходит на восемь месяцев в море. Это его последняя ночь дома. Мой друг работает штурманом в торговом флоте. Вызов пришёл внезапно. Ещё вчера мы строили планы, придумывали, чем займёмся в субботу, и вот сегодня утром Серёга сообщает — завтра в море.

Мы накрыли стол, Серёга достал баян, но песни не пелись. Наверно, мы оба думали об одном и том же, но не знали, как это сказать друг другу.

Засиделись за полночь. Через несколько часов у Серёги самолёт, а мне утром на работу.

— Пошли, покурим в подъезде, да домой пойду, — предложил я. Серёга кивнул и пошёл в коридор одеваться.

Мы присели на ступеньки лестничной клетки и, закурив, устали на дорогу, которую было видно из окна. Изредка проезжали машины. Влажный асфальт блестел, отражая свет фонарей. Дальше начинался пустырь, и казалось, что дорога это граница города, а там, за ней, нет ничего, только ночь и осень.

— Сейчас в море постоянно шторм, — задумчиво сказал Серёга.

— Ты уж привык наверно? — Я взглянул на него. Прямой нос с горбинкой, чёрные вьющиеся волосы, закрывающие половину ушей и такая же чёрная густая щетина. Карие глаза со «смеющимися» морщинками.

Он усмехнулся и, промолчав, поднялся с лестницы. — Не сиди на бетоне, простудишься.

— Чего-то тяжело на сердце, — поделился я, разглядывая огонёк сигареты. Серёга стоял ко мне спиной и смотрел в окно. Коренастый и широкоплечий, он чем-то неуловимо походил на тех моряков, которых показывают в фильмах про пиратов.

— Тебе бы кольцо в ухо, да бороду погуще, — пошутил я.

— И вместо ноги деревяшку, — улыбнулся Серёга.

Докурив, он бросил окурочок в банку-пепельницу, прикрученную к перилам, и достал ещё одну сигарету.

— Дай мне тоже, — попросил я. Он протянул мне пачку и бензиновую зажигалку, которую купил где-то во Франции или Египте и привёз домой из последнего рейса. Такую же Серёга подарил и мне, а потом, в тот же день, я расплатился ею с таксистом, когда оказалось, что мы спустили все деньги в баре, отмечая его возвращение.

— Дюпонт, — прочитал я выведенное прописью на крышке зажигалки название фирмы-производителя.

— Оставь себе. Я другую куплю, — Серёга кивком указал на зажигалку.

— И она повторит судьбу предыдущей, — я посмотрел на друга.

— Ничего не повторяется, — бросил он через плечо. — Повторяем только мы.

Этажом выше хлопнула дверь. — Накурили-то! — произнёс недовольный женский голос. Мы замолчали. Загудел лифт, увозя вниз недовольную соседку.

— Как дети. Притихли, чтобы не заругались на нас, — прокомментировал я. Серёга не ответил. Он присел рядом со мной, и некоторое время мы молча курили, касаясь плечами друг друга. По оконному стеклу мягкими пальцами стучал дождь.

— А ты знаешь, кто ты? Где твоё место в этом мире? — спросил он вдруг. На этот раз усмехнулся я.

— Понятия не имею.

— И тебя это не беспокоит? — Серёга, прищурившись, посмотрел мне в глаза.

— Нет, — пожал я плечами. — Я и жить-то ещё не начал.

— Можно до смерти начинать.

— Можно. А ты это к чему?

— Бывает, брожу по городу вечерами и всё думаю о разном. Почему мы меняемся? Для чего? Помнишь, как раньше было? Мы собирались старой компанией все вместе, играли на гитаре, пели песни... Куда всё пропало?

Я пожал плечами. Серёга шумно вздохнул.

— А теперь мы ведь тоже собираемся. Те же люди, те же песни, но что-то ушло, что-то изменилось. Суета... На земле для всего хватает места. Только не для людей.

— Повзрослели, — только и смог сказать я. — Поменялись.

— Я наверно никогда не поменяюсь, — Серёга поднялся, скомкал пачку и бросил на пол. — Пора. Прощаться не будем. Увидимся.

Я проводил его до двери, крепко пожал ему руку и пошёл, не оборачиваясь, вниз по лестнице.

На улице моросил дождик. Город казался печальным и одиноким. Фонари охраняли пустынные улицы. Электрический свет окон манил уютом, и казалось, что там, в теплых квартирах, живут счастливые люди, которые точно знают, для чего они живут. Конечно, я понимал, что всё это совсем не так, но думать об этом было приятно.

А ещё хотелось с кем-нибудь поговорить, хотя бы перекинуться парой слов, чтобы меня оставило чувство недосказанности, возникшее после разговора с Серёгой, после нашего «скомканного» прощания; хотелось продлить эту ночь с её мыслями, её желаниями. Поэтому когда ко мне обратился с просьбой «дать прикурить» маленький крепко выпивший мужичок, вывалившийся из бара-забегаловки, который прилепился на углу моего дома, я остановился и протянул ему зажигалку.

— Время не подскажите? — спросил он.

— Конечно,— я впервые за вечер взглянул на часы.— Два часа ночи.

— Ёлки зелёные! — мужичок снял с головы кожаную кепку и провёл рукой по спутанным седым волосам. Над правым глазом я заметил длинный в мелких рубчиках шрам. — Да... Дела...

Я ждал, когда ко мне вернётся зажигалка, которую я ему дал, а он как будто и забыл, что хотел курить. Его узкое лицо выглядело усталым, от носа к уголкам рта пролегли резкие складки.

— Сухариков не хотите? — Он вытащил из кармана выдавшей видды куртки нераспечатанную пачку сухариков.

— Да я не хочу, в общем-то, — засомневался я.

— Брось давай, угощайся. Выкидывать жалко, а мне не съесть всё равно.

Мужичок насыпал мне в ладонь сухарей, сунул пачку обратно и, прикурив, вернул мне зажигалку. Вроде бы эпизод себя исчерпал, но расходиться мы почему-то не торопились. Заведя руку за спину, я высыпал сухарики на землю.

— Набрались вы неплохо.

— Сегодня ровно пять лет как я сошёл на берег. Я в тралфлоте отходил. Вот, дружка встретил, засиделись. Жена наверно беспокоит-ся, ну да ладно, — он махнул рукой и улыбнулся. — Сегодня можно.

— А друг ваш где?

— Я сбежал от него, — улыбнулся мужичок. — Колян в сортир отошёл, я ему записку на салфетке оставил и на хода...

— Почему?

— Сам не знаю.

— А у меня друг завтра, то есть сегодня уже в море уходит, — поделился я. — Он штурман на сухогрузе.

— Ишь ты! — удивился мужичок. — Видишь, как бывает, родственная душа, значит.

— На фиг ему это море, — я пнул подвернувшийся под ногу камушек, тот поскакал по асфальту и закатился под стоящую рядом машину.

— Вернётся! От этого только крепче дружба будет! — Мужичок посмотрел на меня пронизательными, глубоко посаженными голубыми глазами. — Знаешь как там, в море... — он прищурился и перевёл взгляд куда-то вдаль поверх крыш. — Море как женщина со скверным характером. Она может сделать тебя счастливым, но с ней тебе жизни нет... а без неё тем более.

— Не знаю, — я полез в карман за сигаретой. — Чтобы это понять, наверно, нужно быть моряком.

— А ты кем работаешь?

— Да так, — я накинул на голову капюшон. — Не определился ещё.

— Это, наверно, потому что семьи нет?

— Может быть.

— Для мужчины семью иметь даже важнее, чем для женщины, — убеждённо проговорил моряк. — Это твой якорь в жизни. Без него тебя чёрти куда унести может. Жить значит жить для других. Все мы питаемся друг от друга.

— Мы только что с Серёгой (это мой друг) об этом говорили. Он меня спрашивал, мол, знаешь ли ты где твоё место в этом мире и кто ты такой.

— Так-так, — мужичок поскрёб серебристую щетину и заинтересованно посмотрел на меня. — И что ты ответил?

— Ничего. Я не знаю для чего я, зачем я, и что мне делать. Я пока шёл от него, всё думал: ведь неплохо живём, без потрясений. Ровно. Всё есть. Ну не совсем всё, но то, что нужно, в общем-то, есть. А если ещё что-то хочется, то есть возможность подкопить и приобрести.

— Я знаю, что ты дальше скажешь, — перебил меня моряк. — Всё хорошо, а постоянно оглядываешься назад и, кажется, что было как-то лучше, душевнее, ярче. И ты ждёшь, что вот что-то такое случится и тебе станет хорошо.

— Да, именно так, — я зябко поёжился. — Должно же что-то измениться. Это однообразие убивает. На работу, с работы — и так всю жизнь? И ничего кроме этого не будет? Ведь где-то есть жаркие страны, где люди круглый год купаются и катаются на досках по волнам, где-то ламы сидят в позе лотоса на вершинах самых высоких гор, и холодный ветер забирается к ним под одежды. Мы могли бы возить с Кубы контрабандой алкоголь в Штаты, могли бы держать бордель в Йокогаме... А вместо этого я всего лишь водитель грузовика! — Я замолчал и перевёл дух. Мне захотелось поскорее уйти от этого человека, и он, видимо почувствовав это, схватил меня за рукав.

— Я раньше тоже думал, что я особенный и вот-вот со мной случится что-то великое, настоящее, — Мужичок отпустил мою руку. — Каждый день ждал. Дети росли, становились самостоятельными. Я уходил в рейс, возвращался, уходил снова, и всё время меня не покидало ощущение ожидания чего-то большего. И вдруг в какой-то момент я понял — всё, больше со мной уже ничего не произойдёт. Это и есть моя жизнь. Мне стало горько и, вместе с тем, очень легко, потому что я начал жить настоящим. Жаль только, что понял я это поздно. Человек велик в своих замыслах, но немошен в их исполнении. Жизнь... — Морьяк остановился, словно впервые пробуя на вкус это слово.

— Может, выпьем? — Предложил я.

— Я пас, — мужичок покачал головой. — Меня жена дома ждёт. И ты иди домой.

Он снова предложил мне сухариков. Я протянул руку, он отдал мне всю пачку: «Забирай».

— Тебя как звать-то?

— Артём, — ответил я. — А тебя?

— А я просто философствующий пьяница! — усмехнулся морьяк. — Давай пять, Артём, — он протянул мне руку, и я пожал его крепкую, как будто рубленую из дерева ладонь. — Жизнь — это то, что происходит прямо сейчас. Если тебе что-то хочется сделать — сделай, не откладывая. В жизни ничего нельзя вернуть или переиграть. — Мужичок помолчал и добавил. — А мне остались только воспоминания и старость.

Он развернулся и, широко расставляя ноги, побрёл по безлюдному тротуару убегающего вдаль проспекта. Фонари освещали его невысокую худощавую фигуру, оставляя длинную сутулую тень позади него, как будто это прожитая жизнь неотступно следовала за старым морьяком.

Отойдя на приличное расстояние, он вытащил из кармана сигарету и закурил на ходу. Я улыбнулся и покачал головой, затем ещё немного посмотрел ему в след и пошёл домой.

Серёга вернулся через три дня. Он не смог уехать. Конечно, это не наш разговор его остановил, на то были другие причины. Наверно, он что-то решил для себя. То, о чём пока ещё Серёга никому не рассказал.

«КАРАНТИН»

— Б-32, Николенко, — прокричал через толстое стекло КПП порядковый номер своей ячейки худенький лейтенант в овальных очках и подал сотруднице отдела охраны через «кормушку» своё удостоверение.

— Телефон? Запрещённые предметы? Деньги? — равнодушным голосом, сидя по ту сторону стекла, задавала стандартные вопросы усталая женщина с погонами прапорщика.

— Ничего нет, — мотнул головой Николенко. — Ты с суток, Марина?

— Да, Серёж, — вздохнула та и подала лейтенанту номерок от его ячейки. — Сплю с открытыми глазами. А чего это психолог в зону пожаловал?

— Этап пришёл, надо беседу в «карантине» провести, запись в журнале оставить, — отозвался Николенко.

— Ладно, иди работай, — добродушно махнула рукой Марина и открыла дверь-решётку, пропуская лейтенанта на режимную территорию.

Выйдя на крыльцо, он остановился, поправил очки и окинул взглядом колонию. Впереди петляла тропинка-«стометровка», соединявшая КПП со зданием дежурной части. «Стометровка», потому что она шла не кратчайшим путём к дежурке, а зигзагами, увеличивая расстояние. Она нужна на тот случай, если кто-то из числа осуждённых попытается совершить побег через КПП.

Пока зек добежит, я его десять раз застрелить успею, — похвастался однажды на профилактической беседе младший инспектор отдела охраны, «вышкарь», как называли между собой психологи тех, кто стоит на вышках, расставленных по периметру зоны. Есть основания предполагать начало профессиональной деформации, сделал тогда запись в личной карточке сотрудника Николенко.

Над трёхметровым внутренним забором виднелись крыши барачков, дымила труба кочегарки на промзоне, где-то тарыхтел трактор, лаяли собаки, что-то кричали люди — не разобрать.

Справа шлюз, через который в зону заезжает транспорт, прибывают этапные машины с новыми партиями осуждённых.

Вновь прибывшие на две недели размещались в небольшом изолированном отряде «карантин». Там до них доводили основные положения правил внутреннего распорядка, объясняли что можно, что нельзя. За четырнадцать дней осуждённых по графику должны были посетить все службы учреждения: опера, безопасность, психологи, воспитатели, мастера с промзоны, может быть, кто-нибудь ещё.

Николенко поёжился то ли от весеннего сквозняка, то ли от холода, которым веяло от жилых барачков, на крыши которых упал его взгляд. Он не любил ходить в зону. Каждый раз, останавливаясь здесь, на крыльце, лейтенант чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а на душе становится тоскливо, как в детстве, когда мама, оставляя его ранним утром в садике, уходила, а он, встав на маленький стульчик, смотрел в окно ей в след и плакал.

— Серёга, здорово! — Николенко вздрогнул от неожиданности, чуть не выронив из рук папку с бумагами. Его догнал начальник отря-

да капитан Любов, молодой энергичный здоровяк. — Ты-то мне и нужен! Ну-ка, не сутулься! — Прокричал он в лицо лейтенанту и хлопнул его по спине так, что маленький щуплый психолог, потеряв равновесие, споткнулся на лестнице. Фуражка слетела с головы и покатилась по деревянным мосткам «стометровки».

— Ты полегче, — возмутился Николенко, поднимая фуражку. — Рассчитывай силу!

— Я же не виноват, что ты такой маломощный, — расплылся в улыбке Любов, широко шагая чуть позади лейтенанта по «стометровке». — Вон, лицо треугольником, шея как моё запястье. И бушлат на тебе как на вешалке. Короче, настоящий психолог! — осклабился капитан.

Николенко, поджав губы, хотел было ответить что-нибудь обидное начальнику отряда, но тот, не дав и рта раскрыть, уже совал под нос лейтенанту какие-то бумаги, требуя подписать прямо на ходу.

— Ты последний остался! Давай, Серёга подписывай!

— Это что такое? — взяв бумаги, Николенко остановился и пробежался глазами по строчкам.

— Ну, характеристика! На условно-досрочное! Серёжа, подписывай! У меня сроки заканчиваются! — напирал на него Любов.

— Тёма, не ори, — поморщился Николенко. — Тесты осуждённый решал? Сейчас без них никак нельзя. Мне нужно сначала психологическую характеристику сделать.

— Что ж ты раньше молчал! — замахал руками Любов.

— На совещания ходить надо.

— Некогда мне ходить, — огрызнулся начальник отряда. — Это вы в штабе штаны протираете, — капитан махнул рукой и, подвинув плечом психолога, пошёл вперёд.

— Да, погоди ты! — остановил его Николенко. — Ладно, я подпишу. А ты его отправь ко мне сегодня же, пока я в зоне. Потом специально я не пойду, а если моей бумажки в твоих документах не будет, ты выговор получишь, так что смотри сам.

— Он придёт, — заверил капитан и, рассмеявшись, снова хлопнул товарища по спине. — У него же УДО в опасности!

Вдвоём они зашли в дежурную часть. Николенко спросил у дежурного, сколько человек в «карантине», взял ключ от кабинета и локального участка, отделявшего отряд от остальной зоны, чтобы никто не мог раньше времени завязать знакомство с вновь прибывшими, и пошёл в курилку. По дороге лейтенант внимательно посмотрел в зеркало, висевшее в дежурке. Ну да, бушлат великоват, не было на складе нужного размера. Николенко перевёл взгляд на лицо. Тёмные волосы, внимательные карие глаза, тонкие губы, бледное, но не болезненное лицо с острым до синевы выбритым подбородком — аристократ! Лейтенант улыбнулся, подмигнул своему отражению и вышел на воздух. Курил он только в зоне, для солидности, и самые лёгкие сигаре-

ты. Лейтенанту шёл 23 год. Он закончил педагогический институт и военную кафедру. Знакомый посоветовал идти работать в зону, мол, работа не пыльная, зарплата большая, погоны на плечах, в перспективе карьерный рост. Николенко сделал пару затяжек, бросил сигарету и, борясь с головокружением, пошел в «карантин».

Остановившись у запертой калитки отряда, лейтенант достал из кармана ключ и попытался провернуть замок, но «язычок» оставался на месте. Калитка никак не хотела открываться. Николенко растерянно огляделся по сторонам и, сунув руки в карманы брюк, прислонился к решётке.

Из общежития отряда, одноэтажного деревянного здания, выкрашенного в зелёный цвет, вышел плотный, коротко стриженный осужденный с биркой «дневальный» на правом рукаве.

— Сергей Евгеньевич, опять не открывается? — скалясь, пролаял он.

— Не открывается, — развёл руками Николенко.

— Дайте-ка мне попробовать.

Лейтенант передал через решётку ключ, который в лапищах дневального казался неестественно маленьким, как будто это был ключ от наручников. Привычным движением без усилия осуждённых провернул ключ в замке и распахнул калитку, пропуская офицера на территорию отряда.

— Пойдёмте, Сергей Евгеньевич. У нас трое новеньких, с которыми вам поговорить надо. Один проблемный. С другой колонии переведён. Полублатной, под бродягу косит, — на ходу докладывал обстановку дневальный.

— В чём это проявляется, Кувшинов? — поинтересовался Николенко, сворачивая в курилку.

— Форму одежды нарушает, не слушается. Недоволен всем, — пояснил осуждённый. — Может, взбодрить его?

— Это не наш метод, — важно отозвался психолог, прикуривая от зажигалки сигарету и сворачивая в курилку.

— Сергей Евгеньевич, какие у тебя сигареты дорогие! — покосился на пачку Кувшинов. — Угости меня. Всё-таки на должности стою, на вас работаю, за порядок отвечаю, ремонты делаю, — начал он перечислять свои заслуги. Николенко протянул ему пачку. Дневальный взял сигарету, пошарил по карманам и, усмехнувшись, посмотрел на психолога.

— Спички забыл.

— Держи зажигалку.

— А не боишься, что зеки вломят? — прищурился Кувшинов, прикрывая ладонью огонь. — Запрещённый предмет осуждённому дал. — Дневальный жадно затянулся и вернул зажигалку.

— Тебе я доверяю, Иван, — пожал плечами лейтенант.

— Тут никому нельзя верить, даже себе! Будьте внимательней Сергей Евгеньевич. Здесь нужно, чтобы котелок, — он выразительно постучал себя по лбу, — варил! Иначе не видать вам старшего лейтенанта. Сожрут вас зеки, — Кувшинов зевнул, обнажая крепкие белые зубы, и бросил хабон мимо урны.

Николенко поёжился, машинально потрогал подбородок, как будто проверяя, не появилась ли щетина, и аккуратно опустил окурок в мусорку.

— Интеллигенция, — хмыкнул Кувшинов.

Они поднялись на крыльцо, дневальный открыл перед лейтенантом двери.

— Внимание отряд! Встать! — рявкнул Кувшинов так, что несколько осуждённых, смотревших телевизор в помещении для воспитательной работы, подскочили как ужаленные.

— Здравствуйте, граждане, — скромно поздоровался Николенко. — Присаживайтесь.

— А вы кто? — Поинтересовался высокий широкоплечий осуждённый с прозрачными голубыми глазами и шрамом поперёк левой щеки.

— Это психолог, — прорычал Кувшинов, злобно глядя на осуждённого.

— Опыты пришли ставить, гражданин начальник? — криво улыбнулся зек.

— Заткнись! Чернов, я тебе ноги переломаяю! — пригрозил дневальный. — Сергей Евгеньевич, проходите в кабинет начальника отряда. Там и приём проведёте.

— Пупок не развяжи, Ваня, — парировал зек. — А я, начальник, на полгода заехал. Скоро на волю. Вы где живёте-то? Глядишь, повидались бы.

Николенко торопливо открыл дверь кабинета и, бросив папку с бумагами на стол, снял бушлат.

— Это я про него говорил, — понизив голос почти до шёпота, сказал Кувшинов, принимая у психолога бушлат и вешая его в шкаф. — Чернов. У него сроку двадцать лет, а сидит третий год. Собака бешеная.

— Я понял. Скажи осуждённым, пусть по одному заходят.

Дневальный, пятясь, вышел из кабинета.

Николенко с тоской посмотрел в окно. Сквозь открытые жалюзи было видно квадратный дворик, курилку и туалет «прямого падения». Убогая обстановка за окном никак не вязалась с новыми жалюзи, которые повесил себе в кабинет начальник отряда «карантин». Лейтенант тяжело вздохнул и отвернулся. Он снял очки, потёр глаза. В этот момент дверь открылась, и в кабинет зашёл маленького роста круглолицый осуждённый, почти мальчишка. Он вопросительно посмотрел выпученными глазами на офицера и в нерешительности застыл на пороге.

— Присаживайтесь, закрывайте дверь плотнее, — торопливо водружая очки обратно на нос, Николенко указал осужденному на табурет. — Представьтесь.

— Ну, Коля, — проямлил зек, присаживаясь на табурет и с недоверием глядя на лейтенанта.

— Полностью, — попросил психолог, раскрывая записную книжку и доставая из папки распечатки с тестами.

— Коля Смирнов.

— Смирнов, — повторил лейтенант, как будто пробуя фамилию на вкус. Не поднимая головы, он исподлобья бросил быстрый взгляд на осуждённого. Нижняя губа неестественно оттопырена. И вообще, похож на умственно отсталого, отметил про себя Николенко.

— Вам сколько лет?

— Восемнадцать.

Психолог снова посмотрел на Смирнова. Тот нервно сглотнул и почесал щеку.

— Вам предлагается заполнить вот этот бланк, — Николенко положил на край стола лист бумаги.

— Я ничего подписывать не буду, — осуждённый с испугом посмотрел на лейтенанта, нижняя губа тряслась, он облизнул её и, подтянув, прикусил.

— Это психологические тесты. По результатам этих тестов будет принято решение о том, в какой отряд вы будете размещены и где будете трудоустроены.

В кабинет зашёл Кувшинов. Он упёрся руками в стол, и, наклонившись, посмотрел на лейтенанта.

— Может кофе? Или чайку?

— Я не буду ничего писать, — захныкал Смирнов.

— Чего?! — прорычал, развернувшись, дневальный. — Ты, грач, не понял, что тебя не спрашивают, чего ты хочешь! Ты в санаторий приехал, что ли? — Кувшинов грохнул по столу своим каменным кулаком. — Пошёл вон отсюда, животное!

Маленький осуждённый в ужасе метнулся к двери и выскочил из кабинета. Дневальный, растянувшись в улыбке, присел на освободившееся место.

— Будешь кофе-то? — как ни в чём не бывало, спросил он офицера.

— Буду, — кивнул растерявшийся психолог.

— Учитесь работать со спецконтингентом, Сергей Евгеньевич, — Кувшинов озорно посмотрел на лейтенанта. — Давайте тесты мне. Я сам раздам. Потом в дежурную часть принесу.

— Хорошо, — облегчённо вздохнул Николенко. — Тогда мне тут и сидеть не надо. Пойду обратно за зону, а когда ты принесешь бумаги, дежурный пойдёт кого-нибудь ко мне в отдел в вольный штаб. Тогда мне в зону снова заходить не придётся.

— Тогда я пошёл чайник ставить. Кофейку выпьешь и пойдёшь, да?

— Давай, — согласился лейтенант. Дневальный вышел. В дверь постучали, и в кабинет вошёл Чернов.

— Можно, гражданин начальник?

— Заходите, Чернов. Зачем вы себя вызывающе ведёте? Пока вы находитесь в «карантине», вы должны соблюдать определённые требования. А вы дневального подставляете, начальника отряда подставляете. Поймите, здесь не то место, где авторитет зарабатывать нужно. Вот переведут вас в полноценный рабочий отряд, там и будете показывать характер.

— Я всё понял, гражданин начальник. Прости ты меня, ради бога, — Чернов упал на табуретку и, криво улыбаясь, посмотрел на лейтенанта. Николенко смущенно поправил очки и полез в папку, ища какую-то позабытую бумажку.

— Я чего зашел, — Чернов протянул тетрадный лист. — Жалоба!

— Какая ещё жалоба? — Уставился на него лейтенант. — Вы же только сегодня утром этапом пришли!

— На оперативного дежурного жалоба. Одна на имя начальника колонии. В случае если она не будет рассмотрена, есть вторая. В прокуратуру, — осуждённый помахал перед носом психолога запечатанным конвертом.

Николенко взял жалобу на имя начальника и пробежал глазами по тексту: «Довожу до вашего сведения, что сегодня утром, когда я прибыл в колонию этапом, меня обыскивал оперативный дежурный. При этом он без причины схватил меня за половые органы и сжал, чем нанёс мне физическую боль. После этого мои половые органы опухли, стали болеть. Прошу привлечь данного сотрудника к ответственности ввиду того, что...»

— Что за бред? — Николенко в недоумении уставился на осуждённого. — Вы ненормальный? Что вы тут понаписали?

— А нечего меня обыскивать! — набычился Чернов.

— Вас осмотрит врач, и за враньё вы будете привлечены к дисциплинарной ответственности, — попытался объяснить лейтенант.

— А я сейчас сам себе по яйцам дам, тогда посмотрим, кто кого и за что привлечет!

— Жалобу передадите оперативнику. Я уведомя его о вашем требовании. Я не уполномочен принимать жалобы от осуждённых.

— Хорошо, — Чернов поднялся с табуретки. — Надеюсь, кум скоро придёт. Иначе на вас я тоже напишу.

— Никто не поверит, что я вам яйца выкручивал.

— Причём тут яйца? — расхохотался осуждённый. — Я скажу, что вы меня к суициду склоняли. Предлагали покончить с собой, намекая на большой срок, который мне дали. А я, будучи неуравновешенным человеком, пошёл у вас на поводу и вскрыл себе вены.

Чернов закатал рукава и показал предплечья, покрытые многочисленными шрамами.

— Но я, — начал было лейтенант.

— Придёт опер? — посмотрев в глаза психологу, спросил осуждённый.

— Да, — кивнул Николенко.

— У меня всё, — зек развернулся и собрался выходить как раз в тот момент, когда в кабинет с кружкой кофе в руках заходил Кувшинов. Обменявшись взглядами полными ненависти, осужденные прошли мимо друг друга. Чернов вышел.

— Угощайся, Сергей Евгеньевич, — дневальный поставил кружку на стол.

— Иван, организуйте сегодня оперативника Чернову. У него не все дома. Опасный провокатор. Надо обязательно заставить его решить мои тесты. И ещё дополнительно вот этот, — Николенко протянул несколько листов, скреплённых степлером.

— Пидор он. И статья у него такая же, — оскалился дневальный.

— Какая статья?

— Изнасилование и убийство, — Кувшинов плюнул на пол. — Грач вонючий!

— Ладно, Иван, иди.

— Извини, Сергей Евгеньевич. Плюнул прямо в кабинете. Сейчас человека пошлю, уберёт.

Кувшинов, забрав психологические тесты, вышел из кабинета. Николенко сделал глоток крепкого горячего кофе и, закрыв глаза, прислушался к себе. Он медленно глубоко вдохнул, выдохнул, задержав дыхание, и открыл глаза. «Бред», — пробормотал лейтенант и снова снял очки, отложив их на край стола.

В дверь постучали.

— Дайте кофе спокойно попить человеку! Чего тебе надо? — раздался голос Кувшинова.

— Мне очень надо по личному делу, — пояснил другой хриплый, какой-то бесчувственный голос.

— Я что сказал?! — загремел голос дневального.

Николенко неохотно надел очки, сделал ещё глоток из кружки и, спрятав её так, чтобы не было видно, крикнул, чтобы осуждённый вошёл.

— Здравствуйте, — на пороге, закрыв за собой дверь, нерешительно переминался с ноги на ногу зек лет пятидесяти пяти. — Я Гаврилов.

Николенко посмотрел на осуждённого: прямоугольное лицо с квадратным подбородком, всё в глубоких морщинах, короткий ёжик седых волос, большой искривлённый нос, узкие глубоко посаженные глаза, в которых виделась безропотная покорность своей судьбе.

— Присядьте, — предложил лейтенант.

— Гхм, — кашлянул осуждённый, прикрывая рот, и сел на предложенное место, сложив руки перед собой на стол и сгорбившись. Ни-коленко отметил, что на правой руке у него не хватает трёх пальцев: среднего безымянного и мизинца, а на левой вздуты суставы так, что навряд ли он может до конца сгибать и разгибать пальцы.

— Что случилось, Гаврилов?

— Старший дневальный сказал, что вы уходите, а мне тоже обязательно нужно тесты решить.

— Я оставил Кувшинову бланки, — пояснил Ни-коленко. — Он вам их даст, вы решите, и он же их заберёт и передаст мне. А почему вы так беспокоитесь?

Гаврилов поднял на психолога мутные глаза, скривился и снова уставился в свои руки.

— Мне до сих пор кажется, что я сплю, — начал он. — Апатия какая-то. Прошлые срока мошенничество было, грабёж, воровство. А сейчас... Надо бы тесты ваши...

— Что у вас с руками, — не удержавшись, заинтересовался Ни-коленко.

— На рыбалке поморозил, — усмехнулся Гаврилов. Он говорил тихим глубоким голосом, неспешно, словно взвешивая каждое слово, прежде чем произнести его вслух. — Перчатки намокают, правда, сверху шубницы, но в азарте же скидываешь их, неудобно леску вы-бирать.

— Ну, это понятное дело, — поддержал осужденного лейтенант.

— Опять же, выпил немножко, — осуждённый виновато посмотрел на психолога. — Домой пришёл, пальцы горят, как будто жилы из них тянут. Я в горячую воду сунул и, вроде, легче стало. А утром пальцы почернели и распухли. Две операции было. Сначала подушечки срезали, потом кости загнали, и пальцы пришлось убирать.

— Инвалида дали? С такими руками не найти работы.

— Да что руки, — вздохнул Гаврилов. — С нормальными руками не берут, не то что... Я прошлый срок отмотал, вышел на свободу — не берут никуда. Судим. На биржу труда встал. Полгорода объездил. Как узнают, что сидел, сразу разговор заканчивают, — осуждённый по-скрёб затылок и посмотрел в окно. — Правда, взяли подсобным рабочим в больницу. Я там продукты таскал. Потом узнали, что я гепатитом Б болел и попросили...

— Как же ты жил?

— Устроился к азерам палатки ставить, да газели разгружать. Ве-чером пятьсот рублей дадут, да полный пакет фруктов-овощей на са-латы. Так и налачился. Утром подхожу к месту, где палатки ставят и жду, когда подъедет машина. Вообще, азербайджанцы, они молодцы, только высокомерные. Я хуже о них думал, а оказалось...

Осуждённый рассказывал свою жизнь так, что у психолога склады-валось ощущение, будто бы он листает старую книгу, найденную на чер-

даке заброшенного дома. Николенко представил себе, как он сидит в полумраке по-турецки, положив на колени пыльную книгу, а из слухового окошка на неё падает солнечный свет, в лучах которого мошкаррой кружится пыль, которую он смахнул с книги, чтобы прочитать её название.

— А за что ты сейчас сел? — спросил психолог, не заметив, как перешёл с осуждённым на «ты».

— Вышло как. С матерью квартиру делю. Двушку. Мне сорок четыре, ей шестьдесят пять. Ну, выпиваю. Взрослый мужик, — Гаврилов бросил взгляд на Николенко, ища поддержки. — Друзья придут, женщины, — он замялся. — Но не шумим, вроде, а ей всё равно не нравились, старая женщина. Всё в дверь мне стучала. А к соседям участковый ходил, они неблагополучные. Она возьми, да и скажи ему, мол, сын меня бьёт, угрожает убить. Мол, пять раз наотмашь я её ударил. А как я её ударю этим? — Гаврилов протянул психологу свои искалеченные руки. — Потом говорю, мать, меня же посадят, у меня судимость не погашена.

— И дали срок, — закончил он. — До сих пор кажется, что сплю. Апатия какая-то...

— Сергей Евгеньевич, — в кабинет заглянул Кувшинов. — К нам начальник колонии идёт. С проверкой, наверно.

— Так, — вскочил Николенко. — Гаврилов, идите в отряд. Иван, забери кружку, я встречать начальника пошёл.

Лейтенант выскочил из кабинета, закрыл его и вышел на крыльцо, дожидаясь, когда подойдёт начальник. Полковник Ильин был невысокого роста, но обладал такой статью и харизмой, что даже рядом с тем, кто выше его на голову, казался одного роста. Николенко считал, что начальник очень похож на Сталина: те же усы, тот же профиль, та же манера говорить и люди в его присутствии так же трепетали, опасаясь вызвать его гнев.

— Здравья желаю, товарищ полковник, — приложив ладонь к голове, пролаял Николенко.

— Здравствуй, — отозвался начальник и, пожав лейтенанту руку, зашёл в отряд.

— Внимание отряд, — крикнул Кувшинов и представился. — Старший дневальный отряда «карантин» осуждённый Кувшинов.

— Здравствуй, Иван, — строго поздоровался с зекон начальник. — Подготовь журнал учёта посещений.

— Ну что, граждане осуждённые, — обратился полковник к осуждённым. — На какое-то время тюрьма — это ваш дом, а мы, — он указал рукой на себя и Николенко. — Ваша семья. Не создавайте трудностей ни нам, ни себе. Помните поговорку «в маленьком доме большой ад».

— А опера можно? — подал голос Чернов.

— Можно Машку за ляжку, — в голосе начальника зазвенела сталь. — Когда я говорю, говорю Я! — полковник указал пальцем себе на грудь. — Кто это такой дерзкий?

— Осужденный Чернов, — подсказал ему Кувшинов. — статьи 131, 132, 111 часть 4.

— Хорошо, — вернулся к привычному тону начальник и недвусмысленно пообещал. — Оперативник обязательно посетит вас, Чернов.

Полковник расписался в журнале, прошёлся по помещению отряда, поинтересовался у Николенко, как ведётся психологическая работа с осуждёнными и, остановившись у выхода, вновь обратился к зекам, которые так и стояли, опасаясь присесть, и тем самым вызвать недовольство хозяина.

— Будем считать, что беседа окончена, — начальник ощупывал взглядом лица осуждённых, то ли запоминая, то ли ища уже знакомые. — И храни вас бог, если вы в него верите.

Полковник Ильин вышел. Присмиревшие осуждённые тихо переговаривались. Телевизор, выключенный перед приходом хозяина, как называли его между собой зеки, включить снова никто не решался. Николенко подождал, пока начальник отойдёт подальше и тоже засобирался уходить.

— Когда зайдёшь теперь? — поинтересовался Кувшинов.

— Не знаю, возможно, завтра, — соврал Николенко. — А когда этап?

— Послезавтра ждём — этапный день будет. А вообще, когда угодно может быть.

— Посмотрим, — кивнул Николенко и толкнул дверь на выход.

— Странный сегодня день, — поделился с Кувшиновым лейтенант. — И зеки пришли этапом странные. Тебе не кажется?

— Может, и так, — отозвался осуждённый.

Старший дневальный проводил психолога до калитки и помог открыть и закрыть замок.

— Всего доброго, — попрощался Николенко и, сунув руки в карманы, быстрым шагом пошёл в сторону дежурной части.

— И тебе добра, лейтенант, — тихо сказал Кувшинов, глядя вслед торопившемуся поскорее выйти из зоны психологу. Он отошёл к курилке, достал из кармана зажигалку и закурил сигарету. Ему совсем не казалось, что сегодня странный день. И зеки были совершенно обычные. И жизнь у всех одна. Просто дороги мы выбираем разные.

ДЖАХИЛИЯ

Вещевая каптерка была тускло освещена светильником. Я курил и играл зажигалкой. Шамиль, смотрящий за зоной, сидел напротив в своей вязаной шапке, натянутой до бровей, и перешитой «неположняковой» черной куртке. «Аскеров Ш.Ф. отряд №2», — прочитал я надпись на ламинированном нагрудном знаке, аккуратно пришитом на правой стороне груди.

— Угощайся, Шамиль, — я бросил на стол пачку «парламента».

— Спасибо, начальник, у меня свои, — он достал из кармана «соверен» и закурил.

— Шамиль, зачем вы Рижского избили? — я посмотрел чеченцу в глаза.

— Артём Алексеевич, я тебя не понимаю, — он выпустил кольцо дыма и прищурился. — Этот осужденный сам упал. Все видели, что Вова оступился на лестнице.

Шамиль говорил, а я рассматривал его лицо, пытаюсь понять, о чем он сейчас думает. Чеченец был невозмутим. На его до синевы выбритом лице с острым подбородком и крючковатым носом не отражались никакие эмоции, только карие глаза смотрели благожелательно, но жестко. И отчего-то было ясно, что этот человек очень опасен, что не будь на мне формы с погонами капитана внутренней службы, разговор получился бы совсем другой.

— Не валяй дурака, Шамиль, — я потушил сигарету и крикнул, повернув голову к двери. — Дневальный!

Распахнулась дверь и в каптерку заглянул мелкий зек с оттопыренными ушами.

— Чего, начальник? — Осуждённый нетерпеливо переминался с ноги на ногу, не решаясь зайти.

— Чаю мне организуй.

— Мне тоже, — приказал Шамиль. — Исламу скажи. Он знает, какой я пью.

Я сдвинул шапку на затылок и рассеянно огляделся по сторонам. Вещевая каптерка была в длину метра четыре и в ширину метра три. Большую её часть занимали стеллажи с пожитками зеков, уложенными в сумки с бирками, на которых подписывалась фамилия каждого осуждённого. В стене напротив двери было маленькое слуховое окошко, которое совершенно не спасало от сизого сигаретного дыма, заполнявшего каптерку. Слева от входа у стены стоял небольшой стол. Ближе к выходу, на своем привычном месте, сидел я. Шамиль сидел за столом напротив меня и вертел в руках дорогую бензиновую зажигалку. На потолке лампа, у меня за спиной зеркало — вот и вся обстановка вещевой каптерки отряда №2.

— Шамиль, давай начистоту, — я снял шапку и бросил её на стол. — Повторяю вопрос. Зачем били Рижского?

— Артём Алексеевич, — чеченец потянулся за сигаретой. — Зачем спрашиваешь? Ты на своем отряде был? Был. Потом к нам спустился. Ты начальник четвертого отряда. Зек с твоего отряда. Били его мои люди, с отряда номер два. Это не твоя головная боль, а нашего отрядника. Но ты прибежал раньше опера, пробил у своих козлов в каптерке, что случилось, они тебе все расклады дали, и ты пришел сюда. — Шамиль жадно затаился, стряхнул пепел и продолжил. — Так или не так? Чего ты хочешь от меня? — он развел руками. Чеченец не хотел

обострять, хотя мог. Я тоже обострять ситуацию не имел никакого желания. Мне просто нужно было в точности знать, что случилось, чтобы утром, сдавая суточное дежурство, я мог внятно доложить начальнику о происшествии, а потом, в том случае, если информация об инциденте каким-то образом попадёт «за забор», я смог отписаться от всего и от всего отпереться.

— Расскажи мне все сам. Только честно. Мне этого достаточно. Я выпью чая и уйду.

— Хорошо, начальник, — Шамиль улыбнулся, обнажив ряды крепких зубов. — Поговорим без церемоний, как мужчины. Я правоправный мусульманин, я чту обряды и традиции моего народа. Моё тебе слово, что я буду честен с тобой.

В каптерку постучались, и шнырь занёс мне кружку чая. Вслед за ним зашёл невысокий, но широкоплечий чеченец Ислам, который принёс чай для Шамиля.

— Это строгий режим, Артём, — начал Шамиль. — Здесь сидят серьёзные люди. Рижский виноват. Я обязан был с него спросить. Это по понятиям. Мои люди спросили с него здоровьем. Больше его никто трогать не будет. Он нам не интересен.

— За что спрашивали?

— Дуру гонишь, начальник, — смотрящий нервно барабанил по столу длинными тонкими пальцами. Мне хотелось спросить, не играет ли он на пианино. — Хорошо. Слушай по порядку. Человек карабкается по жизни, как по отвесной скале. Без страховки. Такова жизнь.

— Не боишься?

— Очень боюсь. Но, в конце концов, жизнью мы рискуем каждый день. Это я тебя должен спросить, не страшно ли тебе, начальник, в зону заходить каждый день.— Шамиль плотоядно улыбнулся. — Особо тебе. Много врагов ты нажил, капитан.

— К чему клонишь? — я посмотрел на часы, они показывали «23.45». Мне хотелось спать. Я давным-давно перестал воспринимать всерьёз угрозы; двусмысленные намёки Аскерова нагоняли на меня скуку.

— Одно неверное движение, и ты сорвешься в пропасть. Каждый свой поступок надо продумывать, выверять каждый шаг. Рижский оступился, — Шамиль откинулся на стуле, выставив острый подбородок, с видом победителя. — Ты чай-то пей, начальник, остынет.

— Давай дальше, Шамиль,— я отпил из кружки и поморщился, — слишком много сахара.

— Вова Рижский хотел на наш отряд старшим дневальным забуриться. Оперов подмазал, с хозяином увязал. Не учёл он одного. Того, что мы пробивать его биографию будем. Оказалось, что Володя смотрящим в пресс-хате был. Ты знаешь, что такое пресс-хата?

— Имею представление, — отозвался я. — Это камера в следственном изоляторе, куда закидывают проблемных подозреваемых. Тех, что показания не хотят давать.

— Много людей от него настрадалось, — глаза чеченца потемнели от гнева. — Либо плати бабки за прописку, либо петухом будешь. Хорош расклад? А если кумовья подсунули человечка, чтобы расколоть его... Сам понимаешь, — Шамиль выразительно посмотрел на меня. — Руки у него по локоть в крови мужицкой. Много жизней он отнял, много здоровья забрал. Я не мог иначе поступить.

— На далёком севере в лагере строгого режима чеченец вершит судьбы русских мужиков, — усмехнулся я.

— Изменился ты, Артём Алексеевич, заматерел, — Шамиль посмотрел на меня так, как будто впервые увидел. — Я помню, как ты сюда пришёл молодым лейтенантом. Бегом бегал, торопился всё успеть. Лекции зекам читал, агитацию на стены развешивал, с курением боролся, зажигалки отнимал. Ты же не курил раньше?

— Не курил, — подтвердил я.

— Да, — чеченец на секунду задумался. — И на «Вы» заставлял обращаться, и в каптёрке с блатными чай не распивал.

Я усмехнулся.

— А теперь ты матёрый, — продолжал Шамиль. — Ходишь вразвалочку, угощаешь своих стукачей сигаретами. Всегда в нужное время в нужном месте, всегда всё про всех знаешь. Лавируешь, шантажируешь, договариваешься, решаешь кого казнить, а кого миловать, как будто ты один знаешь где правда, а где ложь... А раньше, — Шамиль покачал головой. — Такой идеалист был.

Чеченец замолчал.

— Что теперь делать будем? — спросил я. — Сильно вы его?

— А ты в санчасти не был ещё?

— Ещё нет. Полчаса всего прошло.

— Жить будет. Ты передай ему, начальник, что мы претензий к нему больше не имеем. Пусть возвращается в отряд. Если жить будет тихо, никто его не тронет. Это я сказал.

— А если он заявление напишет? Или его на больницу вывезут?

— Этот не напишет, — отрезал Шамиль. — Иначе нет ему дороги в зону.

Я помолчал, обдумывая его слова, надел шапку и поднялся.

— Бывай, Шамиль, — я ещё зайду, и мы вернёмся к этому разговору.

— Артём, — остановил меня чеченец, когда я уже открывал дверь. — Если кто-то из моих людей пострадает из-за этого черта, ему лучше в безопасное место закрываться. Завалят его, если он на больничку сбежит. Не жить ему. Отвечаю.

Я кивнул и вышел. У каптерки столпилось человек пять зеков, пытавшихся подслушать наш разговор. Влад, Ушаков, Петухов, Толик,

у входа в кормокухню прислонился к стене Ислам, рядом с ним Ильмутдин из моего отряда — все настороженно смотрят на меня. Это они били Рижского. Били жестоко, били заранее заготовленными деревянными палками. У Володи не было ни одного шанса. Он просто поднял руки, прикрывая голову, и пошёл на них, не желая отступить. Зеки всё видели. Зеки всё мне рассказали.

Я вышел из второго отряда и поднялся на третий этаж общежития к себе. Мне нужно было переговорить со своим старшим дневальным и ночником, которые «рулили» моим четвёртым отрядом.

— Ну! — Толик подскочил со стула и уставился на меня, когда я зашёл в нашу каптерку. — Ты базарил с пиковым? Всё как я тебе говорил?

Толик Рыжиков, ночной дневальный, безусловный лидер среди зеков моего отряда. Я посмотрел на него снизу вверх, по привычке удивившись его росту, и присел на освободившееся место.

— Рыжик, сядь! — попросил его Лёша — мой старший дневальный.

— Да не могу я сидеть! — Толя мерил шагами каптёрку. — Животные! Вот мрази! Давить, Алексеич, их надо! Ты понимаешь! — Он посмотрел на меня большими голубыми глазами. — Я тебе сколько ещё говорить буду, никогда не вступаю в диалог с врагом! Они тебя обманывают! Чего там Шамиль? Навкручивал тебе в уши?

Я кивнул.

— Алексеич! Мы с Лехой тебе все расклады дали! Тебе повторить? Мы сейчас можем всю их шайку разогнать! Другого шанса не будет!

Я снял шапку и потёр глаза.

— Я повторю! — Толик присел на корточки напротив меня. — Ты слушай! Запоминай! Шамиль подтянул Рижского на разговор. Тот спустился к нему. Они заперлись в каптерке. У дверей собрался блаткомитет его поганый. Ждали! Торпеды тупоголовые! Рижский вышел. Его избили. Он поднялся к нам обратно к нам на отряд. Ему стало хреново.

— Сознание терял, — подтвердил Лёша.

— Помолчи ты! — Толик бросил нетерпеливый взгляд на завхоза. — Мы его в санчасть отвели. Кипеш подняли. Тебе цвирканули. Били Ильмутдин, Ушаков, Поряда... тебе снова перечислять всех? Есть свидетели, которые подтвердят письменно, а если надо...

— Толя! — Остановил я его. — Мне всё понятно, виновные понесут наказание. Сейчас главное, сделать так, чтобы Рижского не отправили на больницу, потому что тогда мы хлопот не оберёмся, а мне эти головные боли перед отпуском не нужны. Мне надо как-нибудь ещё неделю доработать.

— А тебе неделя осталась? — нахмурился Толик. — Это плохо. Есть у меня одна тема... Ладно, об этом мы потом поговорим, сейчас некогда. Сейчас беги в санчасть, Володьку убалтывай, потом возвращайся. Будем думать, как бы нам по Шамилю грамотно ударить.

— Мне иногда кажется, что ты бесноватый, — я покачал головой. Лёша расхохотался. Толик всплеснул руками, выругался, и снова забе-

гал по каптёрке. Он сидел за убийство уже десять лет, впереди было ещё восемь. Он проехал и отряд строгих условий содержания, и помещение камерного типа. Его били, ломали, но он выжил, закалился, стал хитрым, расчетливым и жестоким человеком. Рысь, — так называли его в зоне. Я подтянул его к себе, выбил должность ночного дневального в отряде, чтобы после отбоя у меня на бараке был порядок. Погасил все его взыскания и регулярно поощрял длительными свиданиями с подругой, которая летала к нему на самолете из далекого далека. Я знал, что Толик очень опасен. Он мутил за моей спиной, постоянно разводил кого-то на деньги, приторговывал запретами, но мне он был необходим, потому что лагерную жизнь Толик знал как никто другой. Я мало кого по-настоящему уважал в жизни, но его я уважал. Толя всегда отвечал за свои слова. Кроме того, мне нужен был противовес для борьбы с блатными, которых мой ночной дневальный ненавидел всей душой. Эта «холодная война» помогала мне держать зеков в постоянном напряжении и, в то же время, не позволяла ни одной из сторон выступать в открытую против жёсткого режима, который мне удалось установить на моём отряде.

— Алексеич, вот-вот опер прибежит. Ты не тормози, выдвигайся в санчасть к Рижскому. С ним побазаришь. Он тебе расскажет всё, — посоветовал Лёша.

Я кивнул и вышел из каптёрки. На лестничной клетке между первым и вторым этажами общежития я встретил заместителя начальника отдела по оперативной работе. Я кивнул ему, пожал руку, и Владимирovich пробежал дальше опрашивать зеков. «Опоздал, майор», с удовлетворением подумал я про себя. Сотрудники оперативного отдела и начальники отрядов — это два противоборствующих лагеря. Опера постоянно подозревают отрядников в неслужебных связях с зеками, а мы ненавидим их за то, что они прокручивают свои схемы, не считая важным поставить в известность нас. Всё дело в том, что среди начальников отрядов есть оперативники по призванию, а среди оперов немало тех, кто максимум волокёт на средненького начальника отряда.

Я вышел из локального участка отрядов два, три, четыре, и пошёл по центральному плацу в медицинскую часть. У двери меня уже поджидал дневальный санчасти зек Сашка.

— Здорово, Алексеич! — улыбнулся он. — Ты вперед всех прискакал!

— Я конь что ли, по-твоему? Забыл, как в штрафном изоляторе весело пятнадцать суток сидеть? — огрызнулся я.

— Да ладно, не со зла ведь, — зек посторонился, пропуская меня, и я зашёл внутрь.

— Ну как он там?

— Кто? Рижский?

— Нет, блин, дедушка твой!

— А-а-а, — Сашка почесал подбородок, и, улыбаясь, глянул на меня снизу вверх. — Рижский-то? Хреново! Голова квадратная у него.

Викторовна говорит, что средней тяжести вред здоровью. Статья! — он погрозил пальцем неведомому противнику.

— Мне надо с ним поговорить.

— Ты чего, начальник! Он на ногах не стоит!

У меня неприятно засосало под ложечкой. Если о драке узнают в управе, начальнику не поздоровится. А потом, соответственно, не поздоровится мне.

— Я жду в процедурной. Веди Рижского.

— Дело ваше, — фыркнул Сашка. — Ждите в кормокухне. Она ближе к приёмному покою. Он не дойдёт. До процедурной.

Я курил, стряхивая пепел в подвернувшуюся пустую кружку, и разглядывал физиономию Рижского. Выглядел он неважно. Оба глаза заплыли. Голова и правда была квадратная от шишек и синяков. На затылке зияла глубокая рваная рана. Губы распухли и кровоточили. Рижский тяжело дышал, глядя на меня сквозь щёлки заплывших век.

— Ты как, Володя? — спросил я его.

— Нормально. Дай сигарету.

— Тебе плохо не станет? — я с сомнением посмотрел на разбитое лицо зека.

— Начальник, дай сигарету, — с нажимом повторил осуждённый. Я дал сигарету.

Валентина Викторовна — пожилой фельдшер, дежуривший сегодня в санчасти, сказала, что травмы у Рижского серьёзные. «Хорошо, что он крупный мужчина, — скрипела она. — Тут закрытая черепно-мозговая травма налицо». Я кивал, а в уме прикидывал, что будет, если его увезут на больницу. Там местные опера раскрутят его. Рижский даст показания, и нам несдобровать. Строгим выговором тут не отделаешься. Кроме того, Шамиль не поймёт, если Рижского вывезут. Мне позарез нужно сделать так, чтобы Рижский отказался ехать. А уж здесь, в зоне, мы размажем этот инцидент.

— Будешь ответку врубить? — спросил я осуждённого. Тот пыхтел сигаретой и тяжело дышал.

— Алексеич, всё будет ровно. Ты не грузись, я на больничку на поеду. И заявление писать не буду, — зек читал мои мысли.

— Я этого так не оставлю, — сжав кулаки, пообещал я.

— Это плохо, — пробормотал Рижский.

— Почему?

— Если администрация врубит ответку, то блатные снова на меня накатят. Тут либо в безопасное место закрываться, либо смерть лицом встречать.

— Пиши заявление, я тебя спрячу.

— Нет, Алексеич, — невесело усмехнулся Рижский. — Я всегда отвечаю за свои слова. Шамилю я сказал, что в моей хате всегда всё было по понятиям. Никогда я никого не опускал по беспределу. Всегда в хате

был порядок. Ни с кого денег я не брал, никогда никого не притеснял без повода. Режим у меня был, это да! Но всё было по понятиям, — от тяжело вздохнул. — Я за слова отвечаю, и буду стоять на своём.

— Люди говорят, у тебя пресс-хата была.

— Лажа, начальник. Лажа! Режимная хата была. Всё по распорядку, но никогда я беспределом не занимался, показания не выколачивал, гадам буду! — Рижский бросил сигарету и, наклонившись, в упор посмотрел мне в глаза. — За базар отвечаю!

В дверь санчасти позвонили. Дневальный открыл, и в отделение забежал заместитель начальника оперативного отдела Коля Яковлев, с которым мы столкнулись в моём бараке.

— Ты чего тут делаешь, Артём? — подозрительно прищурившись спросил опер.

— Подопечного своего проверяю, — отозвался я.

— Проверил? — майор, не мигая, смотрел на меня выпученными водянистыми глазами.

— Ну, проверил.

Опер кинул шапку на стол и, тяжело опустившись на стул рядом с Рижским, обхватил руками лысую голову. Рядом с мощным зеком Яковлев казался лилипутом, хотя телосложения он был спортивного. Вообще, все оперативники в нашем лагере маленького роста. Не знаю, с чем это связано. Может быть, и правда эго и комплексы маленьких людей толкают их на большие подвиги. Никто из оперов не дотягивал и до метра семидесяти.

— Как меня всё достало! — пробормотал, пряча лицо в ладонях, Коля. — Бестолочи! Ни дня покоя нет. То они пьют, то передоз ловят, то бьют друг друга, — он посмотрел на меня и покачал головой.

В коридоре зазвонил стационарный телефон. Я оставил Рижского и опера наедине и пошёл ответить.

— Санчасть, капитан Любов.

— Артём, это оперативный дежурный. Николая Владимирович у вас?

— Да.

— Значит так, пусть он поговорит с осужденным, а ты остаёшься до особого распоряжения в санчасти. Будешь присматривать за зеком, на всякий случай.

— Палыч, ты шутишь? Мне так-то четырехчасовой сон положен, когда я на сутках стою. Что за «на всякий случай»?

— Дома выспитесь, товарищ капитан. Конец связи.

Я кинул трубку и выругался. Правильно Коля говорит, достали зеки.

Из лаборантской вышел старший дневальный медицинской части Курбанов. Пожилой зек с тихим голосом и умными пронизательными глазами. Всегда опрятный, приветливый, он производил на всех отличное впечатление. Портил его только огромный нос картошкой, ко-

торый выбивался из общего благодушного образа. А между тем, статьи у него были особо тяжкие, и биография пестрила судимостями.

— Артём Алексеевич, вы не переживайте. Мы вас в кабинете терапевта на кушетке устроим. У меня и матрац, и подушка, и одеяло есть, — шепнул он. — Ещё лучше, чем в отряде устроишься. Все двери закрём, никто не зайдёт, не побеспокоит.

— Спасибо, Николаич, — я не знал как его имя, кроме того, все в зоне, даже начальник, называли этого зека по отчеству. — Хоть ты шизу не прививаешь.

— А я здесь для того и нужен. Болезни доктора лечат, а я разговариваю с людьми, душу помогаю облегчить. Вот вы бегаєте всё без конца. Вы тоже помешаны и заморочены. В сотрудиках живёт что-то нездоровое, как и в зеках. А на самом деле есть только две реальные вещи: рождение и смерть. Остальное суета, — он ласково посмотрел на меня.

Я любил с ним разговаривать. Несмотря на преступный образ жизни, Николаевич был глубоко религиозным человеком. Бабка крестила его в детстве, привила любовь к Богу, а со временем к нему пришло осознание необходимости религии как опоры, как пищи для духа. «Добравшись до конца, начинаешь задумываться о начале», — говаривал Курбанов.

— Давай, кофе сделаю? Настоящий, заграничный, — предложил старший дневальный. От уголков его глаз, когда он улыбался, разбегалась паутинка морщинок. Взгляд казался тёплым, голос убаюкивал, мне казалось, что Курбанов хороший человек, вне зависимости от того, что он натворил в прошлом.

— Давай. А потом покурим.

— И верно что. Торопиться некуда, я с тобой посижу немного. Заодно и поболтаем, — осужденный скрылся в лаборантской. Я остался один в длинном тускло освещённом коридоре медицинской части, где на стенах висели самодельные плакаты, а единственной мебелью были стол и стул, на котором обычно сидел дежурный по санчасти.

Опросив Рижского, майор Яковлев скорым шагом покинул медицинскую часть. Дневальный Саша дал потерпевшему снотворного из личных запасов и уложил спать. Наступила тишина.

Чайник согрелся. Кофе заварился. Мы со старшим дневальным, уселись в процедурной, включили вытяжку, раскурили по сигарете и завели беседу.

— Я православный, верующий человек, — попыхивая папиросой, начал Курбанов. — Но я не отрицаю, ни в коей мере не умаляю значение других религиозных конфессий. Сашка, например, увлекается буддизмом. Вечно бубнит какие-то мантры, пытается медитировать, ну да бог с ним. Лишь бы голова была занята у дурака. Я не про то хотел сказать. Ты пробуй кофе, пока не остыл, — он кивнул на мою кружку.

Я сделал глоток. Напиток действительно был отличный. Мне даже показалось, что на миг я перенёсся на кофейные плантации под не-

знакомое жаркое солнце, увидел потные спины по пояс обнажённых негров, собирающих зёрна, и надзирателей в широкополых шляпах.

— Здорово да? — Улыбнулся Курбанов. — Глаза закроешь и как будто в особняке в Бразилии в шезлонге валяешься.

— А кофе бразильский, что ли?

— Чёрт его знает. Мне просто приятно об этом думать, — он тоже сделал маленький глоток и продолжил. — Так вот. Есть в исламе такое слово — джахилия. Слышал?

— Нет.

— Джахилия — это обозначение невежества, которое предшествует принятию ислама, когда человек преисполнен ненависти к окружающим и себе.

— Грешник по-нашему?

— Похоже, но грешник это как бы относительно человека как личности, а джахилия это такое состояние духа. Я так себе представляю. Мне так нравится думать.

— Любопытно, — я заинтересованно смотрел на осуждённого, держа кружку в ладонях и изредка делая маленькие глотки.

— ...я подрастал, — Курбанов заглянул мне в глаза. — Мы перестали общаться с бабушкой. Я видел, что противен ей. Ем мясо. У меня нет бога. Нравятся женщины. Природа меня не интересует. Я не верю в победу коммунизма, не верю в светлое будущее. Люблю войны. Эдакий здоровый крутой пьющий бездельник. — Он помолчал. Потянулся за сигаретой. — Я желал женщин постоянно, и чем ниже, тем лучше. Порядочные женщины пугали меня. Они требовали себе всю душу. Мне нужны были бабы попроще, те, что не требуют ничего личного.

Потом я сел. Потом освободился. Я не понял ничего. Я просто вставал, когда мне приказывали, жрал когда приказывали, делал то, что приказывали. Четыре года. А потом срок кончился. Я поехал в Краснодарский край к корешу, который освободился на месяц раньше. В Ростове-на-Дону я сел в какой-то автобус (дружок должен был встретить, но не успевал, а мне ждать не хотелось). Два кавказца пили вино, громко разговаривали на своём языке и ржали на весь салон. Какая-то пожилая женщина попросила вести себя скромнее, и один из них послал её куда подальше. И вот тут впервые во мне что-то шевельнулось. Я вдруг как бы посмотрел на себя со стороны, также как смотрел на этих двух козлов. Говорю тому, что ближе ко мне: «Скажи своему другу, что так себя вести нельзя, пусть извинится». Пиковые пошпентались между собой и извинились. Потом я выхожу из автобуса, а они за мной. Останавливают. Где сидел? — спрашивают. Заметили наколки мои. Я ответил. Они говорят, ты по наркоте не двигаешься? Нет желания заработать? Давай в зону загоним травы. Я отказался, сославшись на то, что никогда этим не занимался. Я вообще ненавижу наркотики, всё это бл*дство. Всё то, что здесь и сейчас происходит, — Курбанов махнул рукой в сторону окна, за которым виднелись жилые бараки.

— Дальше-то что?

— Через месяц я узнал, что их завалили, забрали товар и с поезда выкинули. На тот момент я уже снова под следствием был.

— Кошмар, — я покачал головой.

— Мне пятьдесят два года, Алексеич. Из них я сижу больше двадцати. Добравшись до конца, начинаешь задумываться о начале. А я уже в конце своего пути, в отличие от тебя. Все эти алкаши, наркоманы, воры и разбойники, мошенники и насильники — отверженные, проклятые, скучающие притворщики. Здесь вонь сортиров и грязного белья смешивается с приторным запахом крови и мужеложства.

— Джахилия.

— Истинно так, Артём. Понимаешь теперь?

— Понимаю. Что дальше?

— Дело твоё. Мне всегда хотелось пространства, в котором можно жить, и чтобы меня не трогали. Я добился этого. Срок заканчивается. От двенадцати остался год. Потом я уеду в Карелию, заведу хозяйство в глубинке. Буду доживать бобылем на окраине забытой богом деревни, потому что навряд ли Бог примет меня обратно. Если только бабка его упросит...

Дневальный замолчал. Мы курили. Часы показывали начало третьего ночи. Я посмотрел в окно на улицу. Из низких тяжелых туч валил снег. Сашка смотрел какой-то боевик по телеку в своей комнате, были слышны крики и перестрелка. В туалете седьмого отряда, который было лучше всего отсюда видно, в окне маячил голубой огонёк — кто-то разговаривал по телефону. Можно было бы доложить дежурному, но зачем? Может быть, этот осуждённый звонит сейчас своей матери, или дочери, или жене, спрашивает, как там они, ждут ли его. «Мы тебя ждём, мы тебя любим», — отвечают ему. Человек обязательно должен быть кому-нибудь нужен, иначе для чего он живёт?

— Ты же увольняться хотел, я помню. Уж года два прошло, всё не уходишь, служишь. Почему?

— Не знаю, Николаич, — признался я. — Когда пришёл служить, думал смогу, объясню, докажу... Столько было энергии, желания... Были принципы, убеждения, идеалы... А знаешь, какая мысль разрушила все мои фантазии?

— Знаю, — отозвался Николаич. — Мы такие же, как и вы. Разницы нет.

— Да, — я удивлённо посмотрел на него. — В какой-то момент я перестал видеть в сотрудниках лагеря порядочных людей, а в зеках перестал видеть преступников.

— Порядочных людей среди сотрудников нет, — подтвердил старший дневальный. — Работа такая.

— Тогда мне захотелось бежать из этого проклятого места, где людей называют животными, где порядочный, значит беспонтовый, а подлость и беспринципность — самые нужные качества в борьбе за существование.

— И не ушёл ведь!

— Сначала новое место не мог найти, потом зарплату подняли — машину купил в кредит. Потом жена ушла, — я поймал взгляд Курбанова и поспешно отвернулся. — А потом стало всё равно. Привык.

— Смирился, — поправил осуждённый. — К тому, что тут творится, нельзя привыкнуть. Я сижу столько лет не привык, а вам, ментам, никогда не привыкнуть.

— А тот, кто привык, тот сам зеком стал, — добавил он. — Вот кто такие оборотни в погонах.

— Я в своё время прочитал много отличных книг. Я помню наизусть множество стихотворений. Дома у меня собрана неплохая библиотека. Я получил второе высшее образование. Я знаю два иностранных языка. А ещё я знаю, как за три дня довести сильного смелого человека до суицида, превратить в жалкого слизняка; знаю, как грамотно подставить зека... или сотрудника; знаю когда нужно говорить, а когда лучше промолчать... Когда я таким стал? Я даже не заметил.

— Хочешь, я тебе скажу, по чему я тоскую здесь больше всего? — поделился Курбанов. — По откровенности. По разговорам начистоту. Мне не хватает откровенных людей рядом. В тюрьме все только и делают, что врут, изворачиваются, хвастают, сплетничают. Иногда мне кажется, что люди вообще не умеют быть честными друг с другом.

— А ведь за забором то же самое, — я посмотрел в окно. — Только масштабы другие.

— Джахилия, — задумчиво произнёс осуждённый. И вдруг встретился, глянув на часы, стоящие на подоконнике. — Времени-то сколько! Ложись, Артём Алексеевич, поспи немного. Набегаешься ещё.

Я кивнул, потушил сигарету и пошёл в кабинет терапевта. Не включая света, снял берцы, засунул под подушку резиновую дубинку, газовый баллончик, наручники и, не раздеваясь, лёг на кушетку, подтянув ноги к животу.

В кабинет заглянул Николаевич, посмотрел на меня, потом прикрыл дверь и погасил свет в коридоре.

— Выключай телевизор, Санька, — услышал я его голос. Дневальные ночевали в соседней комнате.

— Сейчас, Серёжа, пара минут осталась.

— Выключай, тебе говорят! Алексеич спит, не шуми, ложись тоже. Сашка выключил телевизор. Стало тихо. Я заснул.

Утром меня вызвал к себе начальник лагеря полковник Ильин.

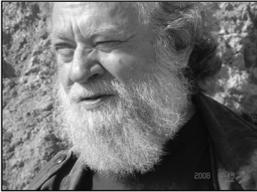
— Готовь документы на перевод Рижского на больничку, — приказал он.

— Товарищ полковник, этого нельзя делать, — возразил я.

— Ты спорить со мной будешь?! — возмутился начальник. — Служить надоело?

— Есть, готовить документы! — отчеканил я.

— Рижского вывезем на больницу, а там посмотрим, — попыток начал начальник. Наверно, он знал больше, чем я.



Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Москва /

* * *

В отдалении от страны
нет ни истины ни вины

ни страны уж нет ни огня
помяни Господь и меня

миновал меня сей бессменный страж
тихий ропот наш или выход наш
миновал меня сей известный зов
от верхов лихих до глухих низов
где от лепета заплетался слух
всё ответится за родных за двух

в отдалении при своём при всём
озарение словно шум и сон

между прошлым всем и грядущим всем
не сподручно нам говорить ни с кем

ни лесов уж нет вдалеке
ни огней вдали на реке.

* * *

Открылась дверь на улицу — в ночи
Был свет высок и губы горячи.

Открылась дверь — и сквер по деревьям
Широкою улыбку даровал,
Чтоб не было уж в мире ни мерил,
Ни лепета по веткам безутешным, —

И если с кем-то я заговорил,
То слишком безотрадно и поспешно.

Открылась дверь — мы вышли — вдалеке,
Линованными струнами спасаясь,
Висели провода, почти касаясь
Пульсирующей жилки на руке.

Мы вышли — и приспешники ушли —
И благодное таянье земли
По-мартовски, как рвенье, расстиралось, —
И что-то в нас, конечно, забывалось,
Как некогда, когда по городам,
Чудовищной оторванностью предан,
Метался я, — и выбежало следом,
Что я не позабуду, не предам.

Мы вышли и пошли — скажи-ка мне,
Ну что там застоялось в стороне,
Ну что там затерялось да пропало?
Ты, кажется, приникла и устала —
И стылыми уста не назову,
Так пусть они проснутся наяву.
И ветрено, и зябко, и тревожно,
Вытягивая дальние стволы,
Угадывалось то, что невозможно
И нежностью туманило из мглы,
И липы приникали к тополям,
И снег летел с водою пополам.

Наивнее, чем шёлка нависанье
Над выпуклой основой бытия,
Небес неугомонная семья
Сгущалась — и присматривался я —
И высилось спасенье, как дыханье.

И как платка закручивал края
Иль шаль небрежно на плечи накинул,
Безбрежный край не выговорил схиму
И упоенье не отговорил
Нам высказать, что душу измотало
От заповеди вещей до вокзала, —
И молча я, пожалуй, закурил.

И там, где предначертанный ночлег
Засвеченными окнами возникнул,

Сирени куст смутился и поникнул —
И вырос посторонний человек.

Он выбрался в распахнутом плаще
С пугающей кошёлкой на плече
Туда, где загорали будни
Обидчивость обители и лютни
И тлеющие призраки свечей, —

Бывало ль что на свете горячей,
Чем вымокшее занавесью пламя? —
Он тлением качнулся перед нами,
Как ангел беспокойный, одинок,
И в сторону ушёл, как фитилёк.

Помоечник выискивал любовь —
Да будет это каждому понятно,
Пока судьбины происки и пятна
Не выскажут оставленное вновь.
Помоечник, бытующий поднесь
Меж сретенского тесного застря!
Ну что тебе добраться до покоя
И души растревожить нам не здесь?
Спасибо, человеке на ветру,
Закутанный запутавшимся шарфом!
Виолам передам тебя и арфам —
И, стало быть, надолго не умру,
Намереньям отдам тебя благим,
Неведенью, сошедшему с ладоней,
Чтоб в искренности — той, потусторонней,
Обрадоваться людям дорогим.

Как музыку далёкой ни зови,
А всё она не ведаёт тумана —
И выверты отрыва и обмана
Не мыслятся ни в сердце, ни в крови.

И сколь далёк ни будь ты, человек,
Идущий ли, ютящийся ли рядом,
За всё своим расплачиваюсь взглядом —
Не то, чтобы на миг, скорей навек.

Так некогда Орфей хотел взглянуть
Беспмятно, доверчиво и дико,
Стопами не угадывая путь,
Не здесь ли притаилась Эвридика.

* * *

Добрый день! — ты, наверное, занят не тем,
Что могло б уместиться в пространстве —
В неизбежном его постоянстве
Посреди теорем,
Перекошенных вкривь,
Непрерывных, подобно уюту, —
Что же хмуришь ты бровь почему-то? —
Я-то жив! —

Оглянись на меня! —
Здесь поистине есть изумлённость,
Безошибочность, определённости
В продолжении дня — —
То-то выстоял я и сказал —
Знать, сумел, не иначе, — о многом —
И подспудные нити связал
В этих песнях, дарованных Богом.

* * *

Стихи мои, птицы мои, —
В неволе, в любви, на свободе!
Немыслимы вы в забвении,
В изгнании, в чужом переводе.

Куда мне девать вас с земли,
Где годы мои пролетели,
Где силы души возросли
В разбитом терзаннями теле?

Куда из небес вас девать,
Из этой красоты пробужденья,
Где крылья свои раскрывать
Умеете вы от рожденья?

Скитальческий сумрачный час
И солнечный миг постиженья
Давно невозможны без вас,
Хранящих судьбы продолженье.

И сколько же вы принесли
Вестей для живущих на свете,
Чтоб звёзды над горем взошли
И стали счастливыми дети!

Наследники певчей семьи
В лучах светоносного Слова,
Стихи мои, птицы мои,
Живите во Имя Христово!

* * *

Не говори, не говори
О том, что ты была звездю,
В которой пела над водою
Краса отверженной зари.

Не вспоминай, не вспоминай
О том, что дороги утраты, —
И слёз, восторженных когда-то,
Вином щедрот не заменяй.

Не называй, не называй
Ни откровенья, ни смятенья —
Пройди над сердцем чуткой тенью
И глаз любви не раскрывай.

Нет в мире слов, чтоб разгадать
Души немое упоенье —
И крови жаркое струенье
Уж никому не передать.

Но разыщи меня тогда,
Когда, вернувшая из плена,
Пребудешь в песнях, незабвенна,
Неизъяснямая звезда.

* * *

Над влагою, текущей ниоткуда,
В тумане, раскошелывавшем числа,
Таящем неподкупность циферблата
И компаса округлость и стрелу,
Есть выпуклость средь горестных окраин,
Подобная рождению ребенка,
Иль преданности доли материнской,
Иль сжатому движению руки.

Орфей забредший, струнами бряца,
Редеющие волосы пригладив,
Угадывает веянья напева,
Шумящего вершинами дерев, —
И грезится домов недоумённость

И выгнутая сонность расстоянья, —
И мнимая поверхностность прогулок
Ограды заставляет позабыть.

Здесь тянется невысказанность тени
За преданностью яви несказанной,
Обрывками газеты на безлюдье
Здесь высказана брэнная молва, —
И горечь, нарастающая снизу,
Стопы передвигающая чутко,
Пытается нарушить отрешенье
И что-то несусветное решить.

Здесь некое подобье негатива,
Забывтое фотографами где-то,
Не жаждущее вовсе проявления,
Затёрто и заброшено совсем, —
Из мутной кладовой благодаренья,
Где с ложечки не вскормленное чудо
Подобье удивления отринет,
Не выйти нам, наверно, никогда.

Да есть ли возрождение на свете,
Нежданная улыбка Джиоконды,
Петрарки соловьиное мерцанье,
Боккаччо переигранная блажь,
Надменная коварность фолиантов,
Таланта ли наглядное пособие,
Не собранная флейтою тягучесть,
Певучесть упомянутых веков?

* * *

Нас не просто мало —
Я совсем один,
С лампой вполнакала
Грустный Аладдин.

Выпитая чаша,
Брошенный азарт — —
Лёня, Коля, Саша,
Игорь, Леонард.



Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /

* * *

Холода подступают и ветер упруг,
Солнце выглянет скоро едва ли —
Снова время крутое сжимает нас, друг,
Как когда-то при Грозном Иване.

Мгла с востока крадётся к тебе ли, ко мне ль,
Словно пепел, снежком оседая,
И мерещится ржание царских коней,
Что опричники лихо седлают.

Где-то плачет свирель — ей иначе никак
В эту пору печалей великих,
От усердных молитв лоб царя в синяках,
Хмуры лишь византийские лики.

* * *

Отрепьева Гришки корчма ли,
Манящая ль волей Литва —
Беспечная брага ночная,
Что выпил бы снова до дна.

Душа, ты порой, как Лжедмитрий,
Чьи юные щёки светлы, —
Я чувствую это под бритвой
Колючим наследством Москвы.

* * *

Тропки судеб людских неприметны,
Знаю лишь — не в отеле люкс,
В старом доме у берега Леты
Я отшельником поселюсь.

Затеряюсь меж трав высоких
Или в зарослях камыша,
Как когда-то в Москве, где за «Сокол»
В гости к бабушке уезжал.

Сентябрь, 2014

* * *

Что мне стылая ночь Воронежа,
Где стальные звёзды висят,
Ведь не там меня похоронят же
И не там затем воскресят.

Что до ямы мне мандельштамовой,
До платоновских хмурых зорь —
От эпохи своей что-то ждал и я,
Получив в основном лишь вздор.

Что ж увиделся вдруг мне Воронеж
(По-парижскому около девяти)
Или это свечи огонь лишь
Полки книжные осветил?

ПОПУТЧИК

Вагон покачивало мерно,
А за окном мелькали мимо
То свет берёз, то темень елей,
То с небом связанные нивы.

Я, по-дорожному соседствуя
С каким-то незнакомым спутником,
Внимал тому, о чём он, сетуя,
Мне о себе рассказ распутывал:

«Вы, знаете, я — горожанин
И по привычкам, и по предкам,
Но всё-таки всё чаще жаль мне,
Что лес и поле вижу редко.

Когда же к ним, бывает, выберусь,
То радость беспредельна, вроде бы.
Наверное, в душе не вывелось
Заложенное в ней — природное.

А вместе с тем, вдруг бормотание
Ручья лесного, вспышка ягоды —
Мне как упрёк: мол, промотали вы,
Дружок, себя не там, где надо бы...».

Рассеяно соседа слушая,
Посматривал я на него и в сторону,
Кивая головой, ведь, в сущности,
Тут не было чего-то спорного.

Как рельсы, мысли параллельные
Держали вежливо дистанцию.
Мы мчались в общем направлении,
Но разные нас ждали станции.

* * *

*С.С.-К. с благодарностью за прекрасные
фотографии белых цветов Японии.*

Японские цветы, как снег в России —
Почти что позабытый ветер странствий!
Благодарю, Сергей, но всё ж простите —
Я так далёк от них в своём пространстве,
Где был недолог срок цветущих вишен
Из-за дождей и тёмных туч с Ла-Манша.
Но, судя по часам, Восток притихший,
Своим закатом скоро мне помашет
И мысленно «спокойной ночи»
Я пожелаю вновь земле той дальней,
Которую почти воочию
Узнать и ощутить вы дали.

* * *

Случается, подчас не вник
В какую-то деталь, подробность
И лишь позднее, как дневник
Перечитав, ругаешь робость
Свою за то, что не спросил,
Недоузнал, не достучался,
А мог бы, может быть, спасти
Пускай не всё, но даже частью.

Владимир АЛЕКСЕЕВ

/ Санкт-Петербург /



МОНОЛОГ ПОД КРОВАТЬЮ

Приходили ряженые, стучали в дверь и в стену. Не открывал, залезал под кровать, погружался в темноту, успокаивался.

Ряжеными были два художника. Они были с бутылками и им негде было где выпить. Это были Максим Максимов и Борис Кудинов.

Оба с похмелья любят ходить в церковь, замаливать грехи, любят приложиться к иконе Богородицы, просят ее о прощении.

Первый — Максим Максимов, когда пьет, только и осеняет себя крестом. А когда спиртное заканчивается, встает и, чмокнув (для этого надо достать его из-под рубашки) металлический крест, махнув рукой, возглашает: «Эх, мать, перемать!» и еще что-нибудь похлеще, просто и ясно восклицает: «А теперь по бл...м!»

Второй — Борис Кудинов, угрюмо, ни на кого не глядя, пьет, утверждая только одно: «Искусство не есть искусство!» А когда спиртное заканчивается, встает и, радостно оглядев всех вокруг, все застолье, восклицает: «Ты прав, мой друг, нам пьянство сокращает все опыты быстротекущей жизни. Поедем к девкам. Девки бывают очень хорошенькими. Не то что наши жены. Наши жены пушки заряжены. Когда жена меня бьет, во мне возникает творческий потенциал. И я начинаю творить. Не представляю, какая это семейная жизнь без мордобоя. Сплошная скука».

После их ухода долго лежал под кроватью. Думал, это меня успокаивало. Ограниченное пространство в темноте — вот что меня в последнее время успокаивает. Раньше приятно было лежать на постели, а теперь под постелью. Раньше приятно было лежать на кровати, а теперь — под кроватью. Раньше был развитой социализм, и я лежал на кровати. А теперь наступил развитой капитализм и я стал лежать под кроватью.

Кровать у меня большая, высокая, и это мне позволяет. Кровать у меня резная, деревянная, сделанная еще в царское время. Досталась от бабушки по материнской линии. Бабушка любила лежать на этой

кровати. На ней она пролежала все семьдесят лет советской власти. И на ней она и померла. «Ты, — говорила она мне, — ее не выкидывай, она будет напоминать обо мне».

Я кровать не выкинул, но после смерти бабушки стал предпочитать — лежать под кроватью.

Помнится, там я впервые подумал: «Когда я умру, я улечу куда-нибудь на восток, в горы. Восток мне больше нравится, чем Запад. Узкоглазые мне больше нравятся, чем глазастые. Моя сестра была вылитая казашка — «с низкой посадкой» и с короткими, толстыми ногами, в которых притаилась нежность. И, разумеется, привлекательность, я уж не говорю о ее восточном мудром взгляде. О темно-коричневых, устремленных в вечность глазах. Вылитый Чингис Хан. Очевидно, я тоже потомок Чингис Хана. Никогда меня не тянуло в Европу. Азия — вот моя мечта. Детишки монголов и китайцев мне больше нравятся, чем дети Европы.

«Европа, Европа, — любил говаривать мой мастер, когда я в молодости работал на фабрике, прессовщиком пластмасс, — Европа — это большая жопа. К ней никогда не надо поворачиваться задом, надо на нее всегда смотреть передом».

Мастер был начитанным человеком и часто по-своему передразнивал Петра Первого. Восхищался его делами, особенно прилюдной казнью взяточников и воров. А кроме того, приветствовал монопольный закон на водку и распространение на Руси картошки и табака.

— Люблю, поев картошки, залечь на постель. Люблю лежать на диване и вспоминать о своей «маме».

«Мама» была его жена, с которой он, прожив двадцать лет, развелся.

— Черт знает, что такое, а не баба. Как посмотрит на тебя, так у тебя сразу же кое-что отваливается. И откуда такие бабы берутся?

Я относился к мастеру, что называется, «не очень». К сожалению, он принадлежал к тому типу людей, которые, порвав с землей, порвав с деревенской жизнью, так и не вписались в городскую.

В лес за грибами не ходил. «Они мне еще во время войны в деревне надоели. Только и жрали одни грибы. Детишки мерли как мухи. Помню, бывало, только и слышишь рев баб из какого-нибудь двора. Россия за последние сто лет — это плачущая баба».

* * *

Лежал в темноте, под кроватью. Это место мне напоминает нижнюю полку в вагоне, когда поезд несется по пространствам и весям моей родины.

Лежал и вспоминал свое детство, вспоминал, как мать меня пеленала. Одно ухо вырывалось из-под пеленки, а она руками прижимала его к голове, и я истошно орал.

Оказывается, подобное пеленанье в то время было рекомендовано врачами, дабы ноги у ребенка были прямыми. Плохая еда и недостаток витаминов приводили к тому, что у многих детей был рахит и ноги становились кривыми. Вот отчего врачи и советовали так пеленать детей. Я же благодаря этому не могу спать у стены. Когда мы спим вдвоем с женой, я задыхаюсь и меня охватывает ужас. А кроме того, меня охватывает ужас, когда я сплю в спальном мешке. Помнится, это я испытал в геологической экспедиции, находясь на Таймыре.

Вспоминал я и куда-то идущие в ночь поезда, которые подходили к нам, стоящим на перроне станции, светя одним страшным глазом-прожектором, истощающим орудием в темноте голосом и на подходе стальным лязганьем колес, пыхтением и сопением, а при остановке шумным выпусканьем пара.

Ночью в темном вагоне идущего куда-то поезда мать выносила меня в туалет. В обнаженные зад и в спину дуло холодом.

— А! а! а! — говорила мать, — пис! пис! пис!

В туалете было светло и холодно, и мы вскоре снова погружались в темноту теплого вагона.

А поезд все несся и несся в ночи, все орал и орал, все скрежетал и скрежетал, все свистел и пыхтел, все останавливался и трогался. И кажется, это было без конца, и не одну ночь и день, и не один месяц и год, пока я однажды не увидел себя солнечным летним днем под яблоней. Рядом был сад и деревенский дом: там были дедушка с бабушкой. Очень вкусными тогда казались незрелый кислый крыжовник и «петухи» — стебли с цветущей головкой лугового щавеля.

Вспоминался и зимний пасмурный день в деревне. Ветер между деревенскими домами и прогонами (так называли проездные дороги между домами) и старуху, у которой в деревне было прозвище — Умаленая.

Зимой и летом она ходила в каком-то сером и старом пальто и в каких-то грязных и рваных валенках, из которых проглядывали нечистые пальцы.

Она зимой спала прямо в одежде в печке, следы сажи были на ее лице. И когда я ее встречал, мне было три, четыре года, она радостно приоткрывала свой беззубый с ободками розовых десен рот и говорила мне то, отчего и мне становилось тоже как-то весело:

— Ах, ты, умаленый ты мой! У куда-й-то ты идешь?! Ну, иди, милый, иди.

И, улыбаясь, смотрела своими выцветшими голубыми глазами, в которых горел огонек безумия. Ничего она мне больше не говорила, но это навсегда осталось в моей памяти, как и осталось то, что я иду мимо деревенского дома, а на лавочке сидит толстый с красной и рыжей от веснушек физиономией мужик и мне, малому, говорит:

— Вот погоди, скоро придут немцы и твою мать, как офицерскую жену, возьмут и к ногтю. И тебя с ней вместе. Антихристы.

Немцы не пришли, а к пяти годам посветлело, расширилось и стало солнечным небо. Особенно над старинным русским городом, над Торжком, куда я в то время перебрался из деревни и где еще недавно по ночам «скрещивались прожектора» и раздавались хлопки зениток, так напоминавшие мне впоследствии хлопки при открывании шампанского. И я вспоминаю солнечный май, конец ясного дня и тот победный салют (сгорающие и оставляющие недолгий след разноцветные ракеты). И кажется, моя память и моя жизнь окончательно открылась чем-то светлым и радостным, как и любимое мной летнее солнечное небо.

Идешь, бывало, в начале мая вдоль реки, а на берегу лежат иссиня-белые льдины. Ледоход прошел полмесяца назад, а они лежат по берегу и тают.

* * *

Пришла жена, заглянула под кровать: что я там делаю — жив ли я?

Я уж не помню, сколько лет я на ней женат, кажется, лет тридцать пять. Она живет за стеной, рядом со мной. В другой комнате. Мы с ней почти не общаемся: я ей, можно сказать, надоел. Если говорить о наших взаимоотношениях, они напоминают отношения хозяина и собаки. Причем собака живет в конуре, я имею в виду мое почти постоянное нахождение под кроватью.

Каждый день она приходит ко мне и проверяет — жив ли я или умер, и приносит мне что-нибудь поесть.

И сегодня так же, как и всегда.

— Вылезай из-под кровати, придурок, — сказала она. — Вот урод-то. Небось, проголодался. Все думаешь о литературе. О прекрасном. Литератора надо кормить, а то она (литература) превращается в литературу для быдла. Оно же любит криминальные истории, приправленные любовным сентиментом. Посмотри в сериалах в телевизоре: только одни менты и уголовники. Впрочем, все они любят слово любовь.

— Какая ты у меня умная, — смеясь, сказал я. — Какая ты у меня разумная стала, несомненно, под моим влиянием. Я же под твоим влиянием весьма поглупел, никак не могу вспомнить первый псалом Давида. А вспоминаю какую-то чушь, некогда превращенную в роман: «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила. К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал» (А. Пушкин).

— Вот урод-то, — засмеялась жена. — И такого уroda я уже много лет терплю. Обещал умереть в шестьдесят девять, а уже семьдесят и все не умираешь.

Этот ее смех и добродушная ирония заставили меня вылезти из-под кровати, где я и в самом деле иногда обдумываю некоторые дела и события, а также время, в котором я живу.

Перекинувшись двумя-тремя фразами и дождавшись, когда она удалится в свою комнату, я сел за стол и стал есть то, что она мне

принесла: кислые щи с капустой и жареную картошку. Соленый огурчик, разрезанный продольно на четыре части, одиноко сучал на блюде. Я вспомнил недавно стучавшихся ко мне Максима Максимова и Бориса Кудинова и рассмеялся. Современные художники — авангардисты там, постмодернисты неспособны написать цвет лежащего на блюде соленого огурца. Как и цвет кожи молодой и прекрасной женщины. Они скорее напишут помойное ведро или цвет дохлой засушенной рыбы. И не больше. Подвинув поближе к себе тарелку со щами (ложка сметаны еще не совсем разошлась по поверхности содержимого), я еще подумал о всех так называемых паразитах в период распада Римской империи и распада моей великой страны.

«Они-то, — подумал я, — и привели мою страну к столь плачевному результату. Все эти халявщики и воры, все эти коррупционеры и жулики, рядящиеся в партийные одежды, занятые только своими интересами, а не интересами своей родины. А потому способные породить только смуту».

Слово «смута» явило мне мысль о самозванцах. И это привело меня к очень грустному выводу, что и я в какой-то мере самозванец. «И черт меня дернул претендовать на звание литератора, когда я всегда находился на самой низкой социальной лестнице: сторож и кочегар. Непризнанность и бедность — вот удел таких представителей маргинальной культуры. Тем более неспособных, что называется, применяться к жизни, к временным ее составляющим. А лезущим, что называется, ва-банк.

Но теперь уже отступать некуда. Теперь, как это говорится, пошел вперед, не оглядываясь назад! Тем более что у тебя сзади великая русская литература. Впрочем, великую русскую литературу в России породил закон о вольности дворян. А великая русская литература породила вольнодумство с ее последующим красноречием: с опозтизацией простого народа, который «попашет, попашет, напишет стихи». Стихи-то он напишет, но при случае писателя-барина на «распыл» послать может. Таков он, первооткрыватель вечного двигателя, создатель народного романа, стахановец от литературы.

«Мы кузнецы и дух наш молод, куем мы счастья ключи».

Мне как-то бывший заключенный великих сталинских лагерей рассказывал, что этого сочинителя (Казина) заключенные жалели, оставляя его «наверху», прежде чем спуститься в забой. Работа его состояла в том, чтобы он из шестнадцати килограммов нелущенного «бригадного» зерна (каждому зеку по килограмму), после определенной обработки варил бы кашу. И «кузнец» остался жив, «кузнец» со временем вышел на свободу.

Впрочем, время стирает людей и факты, мифологизируя времена и события, называя это эпохой. Эпоха Средневековья, эпоха Возрождения и Просвещения. Эпоха сталинизма, эпоха фашизма. И так далее и тому подобное. Мне же еще известно только одно: моя эпоха. Как я жил, как я любил, и как я оказался под кроватью (в своей монашеской

келье), откуда и произношу свой монолог, который, я думаю, там и закончится, и наступит молчание. «Молчание, молчание — вот предел поисков духовной жизни. Поисков истинного христианина», — так утверждает один мой приятель, писатель, проживший вполне обычную светскую жизнь советского писателя, где жены и любовницы занимали свое определенное место в его экологической нише, до тех пор, пока он на старости лет не оказался очень умный.

— Ты что, собираешься уйти в монастырь? — как-то спросил я его.

— Да нет. Просто надо делать когда-нибудь главные выводы.

Помнится, я промолчал, я понял, что он относится к тем русским писателям, к тому русскому уму, которые, претендуя на духовность, в конце концов, оказываются в стане сектантов. Тому примером великий Толстой и менее великий Козьма Прутков.

«Какой и я умный, — залезая под кровать, с улыбкой подумал я. — Впрочем, в определенное время умных предпочитали убивать. Чтобы они не мешали спокойно жить неумным, потому как умные (это от ума-то) желают мир подмять под себя. А проще — его переделать. Как свою мысль, так и своим делом. Имеющий уши — услышит!

После сна я решил выйти на улицу. Я решил выйти на Невский проспект. Если я каждый день хотя бы на полчаса не выхожу на Невский, я чувствую себя как-то не по себе. Я чувствую себя неладно. Как я чувствую себя в последнее время, когда я думаю о моей стране, о моей родине. Невский проспект меня приподнимает. Я знаю, когда я умру — останется Невский проспект.

После сна я, одевшись потеплее, вышел на улицу. Был месяц декабрь, самый унылый и промозглый в нашем городе месяц, поздно рассветает, рано темнеет. А в городе — печальные, почти лишенные света сумерки.

На улице шел мелкий снежок, весь Невский был запружен машинами — туда и сюда медленно двигалась эта мышьяная процессия, сравнимая по скорости с только что начавшимся ледоходом, с остановками и заторами, с долгим стоянием на месте, а вдоль проспекта — в темных осенних одеждах возвращались с работы люди. Каждый, кажется, ни на кого не глядел, каждый, кажется, видел только чью-то впереди идущую спину. Каждый, кажется, спешил скрыться в ярко освещенном метро, дабы поскорее вернуться домой. Хотя кое-где слышался смех. Он принадлежал стайкам юношей и юниц, стайкам плавающих на мелководье рыбок, которые резвились от молодости, здоровья и энергии, и которых не интересовали заботы-работы и всякая там дребедень вроде учебы. Они были молоды и им не было дела до какой-то петербургской погоды. В любую погоду им этот город (этот центр, этот Невский проспект, этот Ленинград-Петербург) казался прекрасным.

Постояв на Невском и подышав влажным холодом и выхлопными газами, я вспоминал, как, бывало, в детстве по середине Невского двигались трамваи, которые были забыты людьми (кое-кто даже висел на подножках) — и всё так же с работы домой спешили люди и всё так же шел мелкий серый снежок. Машин было мало — только троллейбусы и автобусы — и это было редко: трамвай, идущий посередине проспекта, две-три машины — и все.

И тот же декабрьский тусклый свет и те же сумерки, накрывшие город, и тот же невидимый Финский залив, который тяжело и влажно дышал где-то там, в ночи.

Невский был освещен, не светился: только была какая-то вывеска с буквами ТЭЖЕ, да свет у кинотеатров, где у касс постоянно толпился народ.

Так вот, постояв на Невском и подышав влажным холодом (машины двигались медленным потоком), я подумал с некоторым раздражением о «субъектах», сидящих в машинах: что за радость в таком городе заводить машину? или собаку? что за радость каждодневно так вот передвигаться — и повернул обратно к себе домой. Жизнь не обещала мне никаких развлечений. Денег на театр не было, а современное кино — развлечение для дебилов.

На углу Пушкинской и Невского проспекта я встретил своего старого приятеля Короедова. Его седая нестриженная борода и весь какой-то запущенный, как у старого гриба, вид вызывал у меня всегда улыбку. И эта улыбка не носила печати превосходства, она была скорее добродушной. Дело в том, что Короедов был мой коллега, он был таким же, как и я, писателем, которого почти не печатали. Мы были одноклассники и у нас были одинаковые взгляды на эпоху «до девяностых» (эпоху советской власти).

Но после «девяностых», после развала страны, наши взгляды разошлись. Я относил себя к патриотам, он же был космополитом и часто в застолье любил повторять довольно банальную мысль, приписываемую великому писателю, мол, патриотизм есть прибежище негодяев. При этом Короедов добавлял, что наша страна есть большое кладбище, чем вызывал у меня возмущение: я упрекал Короедова в страсти к разрушению и в том, что он повторяет ошибки своих предков, которые только и занимались тем, что приводили нашу страну к кладбищу.

Дело в том, что дедушка Короедова был революционером-профессионалом, и даже одно время состоял в ленинском ЦЕКА. Отец его был советский разведчик, а мать дослужилась до полковника государственной безопасности, получив награду за подавление Венгерского восстания. Сам же Короедов не разделял взглядов своих коммунистических предков и был склонен иронизировать по поводу их поведения.

Короедов, как он сам о себе говорил, был полукровка. И, как он рассказывал, в Штатах у него был дядюшка-еврей, который там разбо-

гatel. Перед смертью он решил оставить Короедову наследство: миллион долларов. Но когда он узнал, что Короедов носит русскую фамилию, а не фамилию отца и дядюшки, он не оставил ему ни гроша. А миллион долларов отдал на благотворительность.

Рассказывая об этом, Короедов смеялся и совсем не осуждал своего дядюшку. «Так я и не стал миллионером, а вынужден жить на пенсию в триста долларов», — с улыбкой говорил он.

«Америка — это масштаб! Америка — это великая страна!» — любил говаривать сей муж, когда мы с ним, по обыкновению, встречались на улице или сидели за столом, распивая спиртные напитки.

«Америка — это колоссально! В ней как в огромном котле, варится все человечество. И это все эмигранты. Одних евреев восемь миллионов, а латиноамериканцев — шестьдесят. Я уж не говорю об афроамериканцах и китайцах. Их вообще — видимо-невидимо».

В начале девяностых он побывал в Америке, где провел полгода, торгуя на Брайтон-бич книгами современных русских писателей. А также своими, которые издал за свой счет перед поездкой в Америку.

Но приезде он издал невыдуманные рассказы о своей американской жизни, которые мне понравились острым взглядом и юмором. Вскоре из Америки до него дошли известия, что по прочтении этих рассказов знакомые ему евреи стали считать его антисемитом, что в немалой степени удивило Короедова.

— Они совсем с ума сошли, — с добродушной улыбкой говорил Короедов. — Какой я антисемит, когда я сам наполовину еврей? Я — полукровка.

Я уже говорил, что Короедов имел обросший, седой и несколько запущенный вид. Отчего его часто принимали не за того, кто он есть на самом деле. Хотя литератор моего поколения в большинстве своем люмпенизирован: человек бедный, едва сводящий концы с концами (если ему не помогают его «поднявшиеся из грязи» детишки).

Это я в полной вере отношу и к себе: продавщицы продуктовых магазинов смотрят на меня вполне доброжелательно, до тех пор, пока я не открываю свой рот. Зубы у меня стерлись от моей скудной и вольной жизни. А вставлять их — с их дешевой, кладомой на ночь пластмассовой сутью я не намерен. Хватит мне и того, что у меня осталось. Пускай носят зубы те, кто привык друг друга кушать. Что им я — какой-то шелкопер, бумагомаратель!?

Только пусть знают, что когда в Поднебесной не стало поэтов, Поднебесная погрузилась в забвение. Грецию, Рим, Россию оставили в памяти искусства. А это вовсе не демократия. Демократия — это площадная девка, часто забывающая, что прежде всего она должна стать матерью. А тут вам — права человека: права педерастов и лесбиянок! Права уродов и младенцев-вырожденцев! Смех да и только! Смех — «сквозь невидимые миру слезы!»

Так вот, в связи с запущенным и каким-то не вполне ухоженным видом Короедова. Как-то с ним произошел следующий анекдот, о котором он все так же, с добродушной улыбкой, мне поведал.

Однажды он стоял у магазина в ожидании благоверной, которая скрылась в лабиринте продуктового магазина. Представьте себе седую заросшую физию (классик, можно сказать, а можно сказать — квасик) и такую же седую заросшую голову: кажется, перед вами опустившийся бомж. И какой-то проходивший мимо него мужик (тоже, очевидно, совсем не простота) протянул Короедову сто рублей, приведя его в недоумение. Не знаю, было ли за этим смущение, разумеется, Короедов от этих ста рублей — отказался.

— Он принял тебя за бомжа, — сказала его умная и не лишенная иронии жена. — Говорила я тебе, постриги на голове волосы и свою бороду. А ты — нет и нет. До чего же ты упрям — Короедов!

— А может быть, это был голубой, — отвечив ей на это Короедов. — Может быть, это был педераст. Может быть, таким образом он предлагал мне свои услуги.

— Тебе сколько лет? — рассмеялась на это его умная и не лишенная иронии жена. — Это за сто рублей-то? Он принял тебя за бомжа. А потому решил сделать тебе подаяние.

— Нет, не может быть, чтобы он принял меня за бомжа. Он был голубым, он был геем. В благоприятное время все насекомые вылезают наружу. С некоторых пор они почувствовали себя свободными, а потому, поскольку они в основном вульгарны, они часто ведут себя развязно. Целуются напоказ, делают вульгарные движения и ужимки. Смотреть на это бывает просто стыдно.

Вот такой он, мой приятель Короедов. И как к нему можно относиться дурно, когда с виду он выгладит не всегда умным? Разумеется, не до того момента, когда он пишет. В своем письме он, что называется, остроумный.

Я уже давно заметил, что некоторые люди под влиянием тех или иных обстоятельств или окружающих людей как-то сразу глупеют. Особенно мужики, когда рядом с ними находится хотя бы одна смазливая бабенка. А уж если рядом с ними появляется красавица — такой тип ради нее не только тебя предаст, но и родину. И все улыбается ей, все улыбается, все хохочет; хотя рядом с ним часто находится его жена, страстотерпица, которая не один десяток лет с ним прожила.

Поистине, глупость в каждом человеке сидит на определенной волне — и создай только благоприятное поле для этой волны, как она сразу же вылезает наружу.

Что касается литераторов, то я уже давно заметил, что все литераторы делятся на два типа. На литераторов-умников и литераторов-дураков. Первые — так умно говорят и так умно и аргументировано доказывают свою точку зрения, что и возразить-то им бывает нечего.

А что до эрудиции — ее, как говорится, не занимать. Тут тебе и Египет, и Вавилон и стада Авраама, и апостолы Христа, и Китай, и прильнувшая к нему Япония. Тут тебе дзен-буддизм с тибетско-монгольской окраской и мистический героико-фашизм, и так далее и тому подобное, вплоть до наших дней, когда все есть дерьмо и дерьмо. А как начнут писать — невозможно читать: тоска и скука, язык сух и безличен, а мысли — слабое отражение прежних эпох.

Таковы, помнится, в шестидесятых и семидесятых годах были известные «профессора» на филологическом факультете в университете. Как послушаешь — заслушаешься, а как станешь читать — умрешь от скуки.

Иное дело писатели-дураки. Эти хоть и не ахти сколь гении, ибо, как известно, всех гениев в свое время повывели «уже в зародыше», они иногда все же способны на живое слово.

Что касается меня, я всегда старался походить на писателей-дураков и на особый ум никогда не претендовал. Очевидно, дураки мне ближе по своей дурацкой натуре.

Распровавшись на углу Невского и Марата с Короедовым, я еще некоторое время (дойдя до Аничкова моста) побывал на Невском, где, широко вздохнув и повторив известную мысль нашего великого писателя, мол, некуда у нас иногда русскому человеку пойти, повернул обратно и вскоре оказался дома.

После этого я, раздевшись, спокойно удалился в свою комнату и вскоре заснул.

Нет, пока я в сумерках возвращался к себе домой, за мной увязалась какая-то девица, она хватала меня за рукав и умоляюще просила: «Дай пятьдесят рублей! Дай пятьдесят рублей!? Отсосу!»

— погоди, дура, не кричи! — сказал я, отмахиваясь от ее прикосновений. — Сейчас разменяю и дам.

И в самом деле «разменял». Купив банку пива, отдал ей сдачу. То жалкое, что оставалось после ста рублей — немного более пятидесяти.

Рука у нее была потная и холодная — и я содрогнулся, как от чего-то неприятного. Таково было мое причастие к этой падшей.

Я думал и о том, где она вскоре будет, на каком упокоится кладбище, какой земляной или травянистый холмик будет над ней, какие русские холодные ветры будут обдувать ее могилу. И чувство бесконечной печали посетило меня, то чувство, которое в последнее время стало часто посещать меня, что говорило о близости моей смерти и о жалости к тем (любимым), кого я должен буду оставить. И, разумеется, о жалости к себе.

* * *

Ночью проснулся в темноте, под кроватью, и стал думать. Это мое место под кроватью способствует моим мыслям и думам. Может быть,

потому я туда и залез, потому я там оказался, чтобы как-то сосредоточиться, чтобы мне никто не мешал думать и подводить, так сказать, итоги: что моя жизнь и что есть жизнь всего человечества? И что есть так называемая наша русскость, которую я как-то там понял, как и понял, что я не совсем к ней принадлежу, ибо, как я недавно осознал, я потомок Чингис Хана. Потомок его племен и народов, потомок зеленых холмов и долин, потомок обширных стад лошадей и баранов.

Думается, подобные умозаключения вызовут у кое-кого только улыбку и не больше. А кое-кто скажет, что я впал в старческий маразм и меня надо отправить в больницу или в дурдом.

Может быть, оно и так, но на это я должен сказать, что я о себе больше знаю, чем кто-либо другой. Я, может быть, только и занимался тем, что каждый день себя и узнавал. Бывало, подойду к зеркалу и смотрю. Вижу свою с утра подпухшую физию, ухмыляюсь и говорю: «Ну и рожа сегодня у тебя, Разгуляев. На кого же ты сегодня похож? Уж конечно, не на русского! Монгол, совершенный монгол!»

И наглядевшись так, молча отхожу (это от зеркала-то) и начинаю думать. И мысль моя течет, мысль моя, помнится, течет и течет, пока, сделав определенный вывод, не затихнет.

И вот мой вывод по поводу моей русскости и по поводу, что я потомок Чингис Хана, потомок его обширных племен и народов.

Русские, а я часто встречался с ними — это архангельские, вологодские и ярославские, то есть те, что не были захвачены великим нашествием и их сложение, их менталитет отличается от моего. Они более искренни, чем «народы», побывавшие под пятой монгольского ига. А потому их основное свойство: то, что говорю, то и думаю.

Тем более что на их незагрязненную душу наложились замечательная религия: христианство, которая и способствует тому, о чем я уже сказал: быть всегда искренним.

Я же, чье происхождение идет из Орловских и Тверских губерний, которые порядком хватили определенной деспотии (деспотия не способствует искренности, раздваивая человека: одно говорю дома, а другое на улице), я, можно сказать, никогда не бываю искренним. Я часто за собой замечал, что то, что я утверждаю, то, что я иногда говорю, не всегда совпадает с моим внутренним голосом. Свойство дурное, свойство народов, переживших некогда деспотию, то ли от коллектива, то ли от тирана, который тоже никогда не бывает искренним, а бывает хитрым и кровожадным!

Изучение жизни великих властителей — Чингис Хана или Тамерлана, вплоть до известных Гитлера и Мао, а также мои поездки на мусульманский юг нашей некогда великой страны позволили мне убедиться в моем восточном происхождении: там не встретишь искреннего человека, если он не находится среди своих, среди рода своего или своей религии. Вот отчего я человек степей, хранитель обширных стад, бурят или монгол, хакас или татарин. А уж если го-

ворить о моей русскости — я путешественник лесов и полей, собиратель грибов и ягод, сеятель ржи и картошки, любитель щавеля и кислой капусты.

А кроме того, мое тайное неприятие христианства (нет, я просто не способен возложить на себя этот подвиг) говорит о моей неспособности жить по вере, принять эту великую религию, где жертвенность поставлена во главу угла, а спасение есть обретение вечной жизни после смерти. И, разумеется, говорит о моем восточном происхождении.

Помню, как-то по молодости моей один из моих приятелей, христиан, стал знакомить меня в церкви со священником. «Вообще-то я, — сказал я священнику, — не христианин».

На что я услышал насмешливый пассаж из чистого, можно сказать, эстетического рта этого подвижника русской духовности: «Ты не христианин, ты — крестьянин». И пока он стоял передо мной, одну-две минуты, к его руке успели припасть с поцелуем две или три женщины.

Разумеется, как я ныне думаю, священники не одинаковы. И хоть они приверженцы одного учения, они отличаются по роду своему и характеру.

...Лежа под кроватью и думая обо всем этом, я еще раз понял, что познание самого себя и явило во мне желание (если существует переселение душ) после смерти устремиться на Восток, скрыться на восточных горах. Тем более что в окружающей меня жизни, окружающей меня цивилизации (демократия, господа, уподобление вкусам человеческих толп: демонстрации, стадионы, мужеложцы и лесбиянки) так все далеко зашло, что напрочь уничтожает вечные истины — семья, мать, отец, ребенок — и говорит о каком-то разрушении, о каком-то человеческом крахе, где нет и не может быть мне утешения.

* * *

Утром, как и обычно, ко мне в комнату заглянула жена. Я знал, что каждый день она заглядывает ко мне для того, чтобы проверить, жив ли я или умер.

Я был жив, и она сказала мне, чтобы я вылезал из своей конуры, ибо она хочет сделать в комнате генеральную уборку.

— Скоро Новый год, а ты все лежишь. Мало ли кто к Новому году к нам придет или кто к нам приедет, может быть, к нам приедут мои родственники.

После этих слов я вспомнил, как однажды в Новый год к ней приехали ее родственники и как она после моего общения с ними и праздничных застолий «сдала» меня в милицию.

Помнится, во время разных праздничных тостов и приветствий ее родственники стали утверждать, что жена у меня хорошая, лучше ее

мне не найти, но она мне изменяет и изменяет тогда, когда приезжает на свою историческую родину, где у нее сохранились некоторые отношения с субъектами мужского пола.

Впоследствии, обдумывая происшедшее, я пришел к выводу, что суть отношений многих русских семей — это соперничество, где желание снизить (о, бойтесь тех, кто вас снижает) твои достоинства и твои успехи, ибо это вызывает зависть, а если и не зависть, то какое-то внутреннее сопротивление, некоторое недоброжелательство: раздрай и скандал, внесенный в чужую жизнь, является для них часто неосознанным удовольствием. В данном же случае была та ситуация: кто сам не имеет счастья, тот и несет собой другим несчастье.

Короче, после их заявлений я озверел так, что, увидев мои пьяные безумные глаза, эти монстры, эти насекомые поскорее поспешили удалиться, оставив меня с моей женой наедине, и эта моя жена, эта моя подруга сначала позвонила в дурдом, где ей посоветовали обратиться в милицию, что она и сделала.

И вскоре два милиционера заставили меня (впрочем, я не сопротивлялся) опуститься вниз на лифте и выйти на улицу, где, усадив в уазик, они доставили меня в свое милицейское отделение.

Отделение, помнится, состояло из большой комнаты и из каких-то застекленных (как на почте) бюро, в семи-десяти метрах от которых на противоположной стороне комнаты был зарешеченный «отстойник» с железной лавкой, куда «они» меня не замедлили посадить.

Надо сказать, хоть я и был изрядно пьян, я все-таки отдавал себе отчет в том, где я нахожусь, и после нескольких молчаливых мин, т. е. сделав два-три шага (туда и обратно) в этой зарешеченной клетке, ничего лучшего не нашел в данной ситуации, как проверить свой голос и каков в данном помещении был резонанс. И отметив, что мой голос в порядке и что резонанс в данном помещении хорош, я (как уже говорил) ничего лучшего не нашел, как запеть. И запеть так, как я обычно пою: подбираю те или иные звуки и псевдоиностранные слова под мелодию той песни, которую я пою, и русских слов которой я не знаю.

«Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю. Что всех красавиц она трам-та, трам-та, трам-там, там-трам-тата, камина форте, аморс дель преджо».

Надо сказать, голос у меня неплохой, и я в свое время при нормальном обучении и старании мог бы стать певцом, но вследствие своей невоспитанности и бедности (мне советовали найти частного педагога для постановки голоса), так и вследствие моей «сценической» робости, голос у меня в те годы на людях пропадал и только где-то к тридцати пяти я освободился от «юношеских» комплексов и так и не стал певцом.

Кроме того, я в юности своей служил «рабочим сцены» в оперном театре и видел, как нервничают, переживают и часто держатся рукой за горло певцы перед выходом на сцену — все это отвращало меня от желания учиться петь и стать профессионалом.

К тому же, слово «литература» захватило все мое существование, и Наташа Ростова и Пьер Безухов снились мне по ночам, а «Очарованный странник» и «Темные аллеи» сводили меня с ума.

Итак, находясь в зарешеченной «клетке», я запел, чем вызвал у милиционеров сначала недоумение, а потом смех, а потом и некоторое внимание и даже (я заметил) удивление, которое выразилось в доброжелательных улыбках этих служителей Фемиды общественного порядка.

Капитан сидел в незарешеченном бюро, рядовые и сержанты (милиционеры) ходили передо мной по комнате — туда и сюда — удаляясь куда-то в другие помещения, а я пел и пел, и никто меня не прерывал, никто меня не усмирял, никто ничего со мной «не производил».

Так прошло полчаса или минут сорок, и, прекратив пение, я попросил разрешения у капитана выйти в туалет и дать мне стакан воды. А после, вернувшись в «отстойник» и спев еще известную всем нашу русскую песню «Динь, динь бом, динь, динь бом — колокольчик звенит. Этот звон, этот звон много мне говорит», я обратился к капитану с тем призывом, с которым я обращался не в первый раз, когда оказывался в подобной ситуации.

— Капитан, — сказал я, — извините, пожалуйста, но, капитан, то, что со мной произошло, то, что я оказался здесь, у вас, достойно некоторого моего сожаления. Я, так сказать, в какой-то мере об этом сожалею. И несомненно я должен понести некоторое наказание. Короче говоря, капитан, выпишите мне штраф, и по приходе домой я не замедлю его оплатить. А сейчас, я думаю, пора бы вам меня и отпустить. Тем более что сегодня по телевизору очень важная футбольная встреча. Бразилия, так сказать, Аргентина... Короче говоря, капитан, все зависит от вас.

Склоненная голова в бюро, молчаливая пауза и после этого капитан поднял голову и, кивнув головой неподалеку стоящему милиционеру (мол, можешь открывать) и еще раз взглянув на меня, улыбнулся и сказал то, что невольно порадовало меня, ибо это было совершенно простым и русским: «Иди, — сказал он, — и разберись со своей бабой!»

И вскоре я оказался на улице, а потом дома, где я не стал «разбираться со своей бабой», а молча залез под кровать, жизнь давала мне определенные сюжеты, за которыми шли определенные выводы.

Вот они, русские (свобода, господа, эмансипация), теряют свои родственные связи. И, можно сказать, потеряли свой род; душевная близость часто потеряна, вследствие разномыслия и утраты вечных истин. А потому существование русских, как нации, под вопросом. В чем виноваты и те, для которых «нет ни эллина, ни иудея», и те, для которых главное не земной отец, а небесный.

Только возврат к роду своему, к родовым корням, к нации может спасти русских от того, что сейчас происходит в Европе.

* * *

Утром приходила какая-то женщина. Не пускал, разговаривал с ней, приоткрыв дверь, «через цепочку». Говорила, что скоро будет конец мира. Что расплата падет за наши грехи, на наши грешные души. И что пока не поздно, пора подумать о спасении.

— Будет! Будет вам всем! Будет! Будет!

Молча кивал головой, молча держался за ручку двери, молча не приглашал к себе в квартиру. Молча смотрел в ее бледное лицо. Думал и не думал. Кажется, не было ни одной мысли в голове. «Что надо? — думал, — что ей, бедной, надо?» А потом сунул руку в карман, вытащил пятьдесят рублей, протянул ей, передо мной стоящей.

— Всё. Больше не могу. Иди. Ты видишь — это всё. Иди!

Молча взяла и молча удалилась. Я же закрыл дверь и тоже удалился, и удалился под кровать. Было о чем подумать. Россия лежала в снегах, тонула во мраке, пропадала в пространстве. Виделась зимняя дорога, а по ней шла просящая. «Господи, — думал, — господи. Какая бедная печальная жизнь! Нет, только искусство, только литература дают мне утешение. Только лица друзей вызывают во мне желание жить. Вспоминал их жизнь. Жизнь их была удивительно однообразна. Дом, работа, жена, дети. Только прекрасный город врывается в их существование. Только прогулки по городу являли желание жить. Да некоторые мечты и надежды. Некоторые поэзы и музыка.

Вылез из-под кровати и, спустившись на лифте, вышел на вечернюю улицу, где уже не спешили прохожие и кое-где светились магазины, лишь горевшие окна, говорящие о какой-то ночной и постоянной жизни.

Поправил шляпу на голове и, подняв воротник, двинулся в сторону Невского. Невский притягивал к себе с неодолимой силой. Казалось, все дороги родины ведут на Невский. Знал, совершенно знал, что сегодня некуда пойти и, дойдя до Фонтанки, до коней Клодта, повернул в сторону Летнего сада, который был невидим и казался темным пятном на фоне ночного неба.

Не дойдя до него, повернул обратно. И, придя домой, залез под кровать.

Жизнь ночного зимнего города удивительно скучна. Будь то светящийся кабак, рулетка, или красивая девка, или шансон, раздающийся из машины.

Засыпал. Снова мелькнула зимняя дорога с этой идущей по дороге женщиной. Куда она шла? Куда? Впереди чернел зимний лес, сзади были огни вечернего города и на несколько километров вокруг одни лишь заснеженные поля, кустики трав, торчащие из-под снега.

— Будет! Будет вам всем! Будет!

Приходили мои приятели, писатели-христиане. Как и я, что называется, прожившие втуне. Так — несколько журнальных публикаций —

и все. Так — одна, две книги — и все. Издатели были не заинтересованы в подобных писателях. Издатели (я имею в виду советское время) — это русские коммунисты. И коммунисты-евреи. И те и другие делали какую-то литературную карьеру. И если первые думали только о своей заднице, то вторые старались помогать своим соплеменникам.

Пришедшие упрекали меня в ожидовлении, в том, что я советую у евреев учиться. «А кроме того, — говорили, — писатель не христианин в России — это нонсенс. Это бес. Это антихрист. А антихрист есть производное павшего под натиском евреев Запада».

— Ты посмотри, — говорили, — к чему пришел Запад. К так называемому сексу. К опозтации лесбийской любви и мужеложства. К «Исповеди вагины». И все это случилось потому, что католицизм сдал свои позиции и ворвалась толпа «желающих жить» гуманистов. Ворвалось раблезианство с его так называемой карнавализацией. Ворвалось скоморошество и шутовство. Аристократизм пал, улица победила. Да здравствует демос с его ненасытным брюхом! Да здравствует общее потребление! Да здравствует разврат вместо любви! Да здравствует то, за что все можно купить!

Возражал. Говорил, что еще недавно они были коммунисты. Говорил, что и Христос был еврей. И апостол Павел и апостол Андрей. А поскольку вы христиане — вы не должны быть антисемитами. Вы должны смиренно подставлять свою «щеку» под удар. Вы должны быть отражением своего Бога — Христа.

— Я понимаю, — говорил, — что христианство есть самая прекрасная религия. Она учит человека, что называется, быть хорошим. Быть, наконец, человеком, а не зверем. Но в том-то и дело, что, отрицая свое животное начало, мы вычеркиваемся из современной жизни. Мы становимся пищей для людей — не христиан. Мы теряем свою пассионарность. Все хорошие народы идут на съедение плохим. Они или погибают, или растворяются. Вы сами, того не понимая, в конце концов растворяетесь под влиянием этой космополитической религии. Некогда (в телевизионном ящике) на одном из каналов была такая заставка: стада движущихся по саванне антилоп-гну, а над ними откуда-то сверху, с пригорка, наблюдают хищники: тигр, гиена и шакал. И, глядячи на это, я понял суть объективного христианства: это превращение народов в травоядных. Хотите быть настоящими христианами — совершайте подвиг: уходите в скиты, в монастыри и катакомбы. Но будучи писателями — не советуйте простым смертным, как им жить. В противном случае произойдет то, что произошло у нас за столетие дважды. Дважды хищник побеждал, дважды наш народ был поставлен в условия уничтожения. Что, впрочем, не такая уж редкость в эпоху постхристианства, которую и подготовило христианство, с его толерантностью и призыву к милосердию, ослабив силу христианских народов. Я живу в эту эпоху, значит, я тоже постхристианин. И надо знать свое время. Только время вершит истину и не больше.

— Нет, ты не христианин, ты поцхристианин, — сказали мои приятели, писатели-христиане. И это были Андрей Кузьяев и Веньямин Безяев. — Ты антихрист. А значит, плохой человек. Плохой человек — не русский человек. Плохой человек — это разрушитель и еврей. Плохой человек — эмигрант и космополит. Плохой человек — либерал и демократ.

— Нет, я не космополит, — говорил, — я знаю свое происхождение. Я евразиец и у меня кастовое сознание. А потому я знаю свой шесток: писатель не должен быть приверженцем той или иной религии, кроме религии родины. Ибо это значит для него притягиваться к стадности. А притяжение к стадности убивает высокое искусство. И потому, искусство держится на магии, а не на религии. И сквозь магический кристалл не каждому дано что-то путное увидеть, особенно тем, кто хочет что-то получить от своего Бога, то ли утешения, то ли спасения. Вам же я еще раз советую бросить эту светскую «шлюху» — литературу и пойти в монастырь или в скит. А не смущать детские души тем, что вы и сами не знаете, то есть самих себя. Познай самого себя — и ты познаешь Бога и Вселенную. А на это, чаще всего, не хватает собственной жизни. Вы же из тех «христиан», кто привык осуждать не христиан. И вследствие своей порядочности и морализма, глядя на так называемый нехристианский мир, весьма раздражены. А раздраженный человек — способен на низменность. Раздраженный человек способен убить. И если не убить, то затомить своих близких. И часто не только близких, но и дальних. Тому примером коммунальные квартиры. Или пожары в русских деревнях. Имеющий уши — всё услышит.

Возмутились. Сказали: «Мы сейчас уйдем и больше к тебе никогда не придем. Ты не наш. Ты не русский. Ты путаник. А путаники только мешаются под ногами и способствуют разрушению нашей державы».

Молчал. Вспоминал время сталинских лагерей, молча смотрел на них — понимая: не достучаться. Предложил выпить. Отказались. «Не пьем, — сказали, — особенно с такими». И удалились холодно и отстраненно.

— А как же китайцы? — сказал, провожая их до дверей. — Как же буддисты?

— Мудисты, — сказал Безяев. — Буддизм — это вообще не религия.

По уходе приятелей, писателей-христиан, снова залег под кровать. Снова стал вспоминать и думать.

Я думал, что моя философия основана на уже от рода данной генетике. И хотя человека можно как-то воспитать, хотя культура и религия являются движителями по выведению лучших «сортов» человечества, суть остается одна, если ты родился поросенком, то ты так и останешься поросенком. Культурная и религиозная обкатка не

всегда соответствует той касте, к которой человек принадлежит. И воин-христианин — это совсем не христианин. В лучшем случае это парадокс на оное, а в худшем — предатель отечества, ибо христианин по своему учению не должен убивать своего врага, то есть врага отечества.

Обо всем этом я думал, лежа под кроватью, в так называемой своей келье, в своем монастыре, пока ко мне не пришла моя жена.

— Я только что была в церкви и купила четыре свечи по числу родственников (она у меня христианка), не забыла я и о тебе.

— И по сколько ты платила за свечку? — спросил я, улыбаясь.

— По десять рублей, — сказала она, — самые дешевые.

— Молодец, — сказал я, — ты стала настоящей хозяйкой. Чувствуется мое воспитание. Зря денег на ветер не бросаешь. Ну, что — принесла мне бутылку? Что-то мне сегодня хочется выпить. Что-то меня сегодня расстроили мои приятели, писатели-христиане. И после их ухода мне захотелось немного расслабиться.

— Ну вот, буду тебе еще покупать спиртное. Если надо, сходи в магазин сам. Середина дня. Успеешь нажраться.

— Боже мой, какая грубая женщина. И с такой женщиной я прожил более тридцати лет. Орёр! Орёр! — как некогда говорили герои литературных произведений прошлых веков, когда литература была в почете. Что тебе никогда не было понятно. Но в чем, я думаю, скорее не твоя вина. А вина времени и тех, кто создавал всякую авангардную попсу, начиная от площадной музыки и кончая живописью и литературой.

После этих слов я в этот день окончательно скрылся под кроватью. Этот день мне ничего не предлагал хорошего, кроме моих мыслей и дум. Стада Авраама и ученики Христа неоднократно посещали мою старческую голову. Видит бог, это мне не давало утешения: смущали Хиросима и Нагасаки.

* * *

С утра позвонил мне мой издатель и редактор Иван Остроумов.

— Звонила Дарья Лихая, — сказал он. — И сказала, если я еще раз опубликую в своем сборнике пасквили Короедова о ее муже, поэте Василии Первозванном, она наймет киллера и он меня грохнет. Благо у нее сейчас есть деньги (поэт получил литературную премию).

— Что делать? Что делать? — сказал Остроумов, — Нечто подобное я уже пережил в девяностых, когда на меня наехали рэкетеры. Только через своих высокопоставленных знакомых я от них освободился. В данном же случае я и не знаю, что делать? Жена поэта, и вроде бы неплохого? И такое?

В голосе моего издателя я услышал некоторый испуг.

— Не переживай, — рассмеялся я. — Кто не знал в шестидесятых-семидесятых Дарью Лихую, красавицу и казачку! Побросав двух писателей-мужей и троих детей, она отправилась за своей новой любовью на Север и, подобно известному греческому герою, возвращалась на корабле по морю в течение двадцати с лишним лет в наш родной Питер. Одному богу известно, где она в это время была и на каком корабле плыла, и сколько приключений ей пришлось пережить. И спустя пятьдесят лет она снова вышла замуж за своего первого мужа, тем самым доказав ту истину, что старые лошади борозды не портят, а настоящая любовь никогда не стареет. Ее надо только подновить и подчистить. Как и с этой женщиной, этой русской бабенкой, этой замечательной вахлячкой.

Ныне же она посещает церковь, где истово молится за всех любимых, что не мешает ей иногда угрожать нелюбимым. Она и мне в девятых угрожала, говоря, что я спаиваю ее первого мужа (тогда она еще не была жената на нем) и если я не прекращу это делать, она мне «покажет». Что она мне собиралась показать, неизвестно. Но когда я вспоминаю ее, она вызывает во мне смех. Эта особа мне всегда напоминала героиню известного романа, которая, «похоронив» своих любимых, покинула станицу и вышла замуж за городского инженера.

— Не переживай, — сказал я, — таким образом она защищает своего «гениального» мужа и вместе с ним хочет попасть в литературные анналы. Подобный тип женщин весьма распространен у нас в России. И хотя верных жен у литераторов, как известно, маловато, но терпеливо живущих при так называемых гениях всегда предостаточно.

Что касается этого поэта, я не склонен его осуждать. Такова жизнь: всякому мужику, особенно в старости, хочется женского тепла и покоя, другое дело, он забыл, что на него смотрит великая русская литература с ее достоинством и возвышенностью. И потом? Какой пример он дает молодым и свежим, тем, кто старается ей (литературе) верно служить? Впрочем, для поэта жизнь во грехе — часто пища для возвышенного и прекрасного. Глядя на все это — на эту ситуэйшен — во мне возникает только смех — и мне хочется выпить того старого портвейна, который я пил в своей молодости с этим поэтом, и портвейн назывался — три семерки.

Закончив телефонный разговор с моим издателем и редактором, я долго оставался в неподвижности у телефона. Я думал о моем поколении, поколении литераторов, которое было почти все в подполье. Подвиг, который они совершили — будет ли он замечен. Декаданс русского искусства привел его к постепенному вырождению. Впрочем, что такое для «народа» искусство. Особенно в наше время выживания и видимого торжества так называемой демократии.

* * *

Ночью, лежа под кроватью, чувствовал, как город обступил меня, как он сжимает меня своей видимой темнотою. Чувствовал, как где-то

протекала еще незамерзшая в этом году Нева, а под хмурыми зимними облаками холодно и влажно дышал Финский залив — отдельные огоньки проходящих судов говорили о какой-то отдаленной ночной жизни.

Невский проспект тянулся от Адмиралтейства до Московского вокзала и, слегка повернув, упирался в Александро-Невскую лавру. Темное пятно и над ним — великолепие русской церкви, и рядом — кладбищенский сон. А за ними, за какими-то кирпичными складами, за Обводным каналом было совсем темно. Совсем жутко — и так город продолжался еще на десятки километров.

Помнится, возвращался как-то ночью, без копейки в кармане. Шел три часа, чтобы добраться до дома, страшно было — никого не встречал, одинокие легковые проезжали мимо — туда и сюда.

Думал о тех, кто был рядом, с кем жил и кого любил — кто дошел, кто не дошел, кто сдался, кто не сдался, кто сидел, кто не сидел, кто стал стукачом, а кто не стал. Понимал — трудно выбраться, трудно обрести свободу — ведь завтра снова на работу. Скучная жизнь — ни свободы, ни денег. Вспоминал фабрику и выбросившуюся из окна женщину. Хлопковое производство, прядильный цех. Было их там, бедно, много: через десять лет — ни кровинки на бледном лице. Хорошо, если найдет себе мужа.

А так видел — в общежитии — под пятьдесят. Скучность ума им помогала: не спиться, не покончить с собой. Но кому это все надо? Кому нужны отработанные «лошади», они даже не пойдут на кожу и колбасу? Кто они, эти женщины, эти русские клячи? Боль возникала в сердце, проникала в желудок, отдавалась в теле. «Господи? — спрашивал, — посмотри, что Ты соделал? Это же дети?! Это невинные дети?! И это их жизнь и судьба?! Понимал, век мой проходит, век мой бездарно проходит: не вырваться, не уйти, не покинуть. Как не покинуть мне этот ночной страшный город — вон безвинные души плачут — этот плач был слышен по ночам: Ленинград мой, блокада и город, город-голод, кладбище, расстрел...

Вот я и стал смеяться. Собака, как известно, от боли раньше человека сходит с ума, а человек начинает смеяться. Только п о т о м сходит с ума.

По утрам надевал маску — уходил на работу. Смерть еще не смотрела в лицо.

Приходил Остроумов, издатель, забрал рукопись для сборника.

Разумеется, потерял.

Пришлось восстанавливать по памяти, но первые две страницы вспомнить не смог.

Придет этот Остроумов снова — набью ему морду. Не по злобе, а по любви.

Пусть знает, как терять чужие рукописи, выстраданные, можно сказать, из сердца.

Ну, ладно, делать нечего, начинаю с третьей страницы.

Итак, страница третья...

Девять вечера, пришла с улицы жена. Привела с собой соседа по лестничной клетке.

— Придется, очевидно, оставить его сегодня ночевать, — сказала она. — Ему сегодня не попасть в квартиру. Завтра, он говорит, появится его дочь. У нее есть ключи. В противном случае — надо вызывать специалистов и ломать дверь.

Старичок-сосед — восемьдесят четыре года. Я его раза три всего видел за пять лет проживания в данном месте. Сказал, что он только что из больницы. Из онкологического центра, который находится за городом. Жену свез на операцию, да забыл у нее взять ключи. А сейчас уже поздно. В больницу до определенного времени пускают.

— Ну, что же делать, — сказали мы, — оставайтесь ночевать. А завтра поедете к своей жене или дочке.

Согласился. Как-то легко согласился. Сели за стол, достали бутылку перцовки. Выпили по рюмке, за его жену, за его бабушку. Чтобы у нее успешно прошла операция, чтобы еще жила и здоровела. Потом выпили еще, потом еще.

Дедушка размягчился, стал смолить свой «Беломор». А мы — свой «Винстон».

Разговорился. Сказал, что он моряк, он плавал на торговых кораблях по границам. По полгода дома иногда не бывал, жена у него хорошая, девственницей за него замуж вышла. Ему же приходилось ей изменять. «А что делать, по полгода иногда приходилось дома не бывать».

Старичок добродушный и с юмором. Немного грустил: «А вот теперь — она в онкоцентре — операцию будут делать».

Я пошел на кухню: поставить чайник. Искал чашки, ложки. Когда пришел, жена смеялась, умирала от хохота. Когда узнал, в чем дело — тоже покатылся.

Оказалось: пока ходил, дедушка расстегнул ширинку и достал нечто своё, дедушкино (восемьдесят четыре года принадлежащее) и сказал просто, обращаясь к моей жене: «Ну-ка, потрогай!»

— Да пошел ты на хрен! — сказала жена. А когда я пришел, нашему смеху не было предела.

Погрозил дедушке кулаком. А потом отвел в другую комнату к постели. «Ложись! — сказал, — а то выгоню».

Эту ночь жена провела сверху на моей постели. Я же, под влиянием случившегося, иногда прикладывался к ней, но ненадолго: внутренний смех не давал мне покоя. Да и, к тому же, мне, очевидно, больше нравится спать под кроватью.

Утром сосед долго собирался. Мы ему записали свой телефон и адрес, ибо он сказал, что может визуально к нам обратной дороги не найти, если не застанет своей дочери. «Возвращайтесь, в случае чего, к нам снова ночевать», — говорили мы.

Жена вывела соседа на лестничную клетку перед квартирами.

— Чья это дверь? — спросила, указав на квартиру рядом, где жил дедушка.

— Ой, моя! — сказал сосед и, подойдя к двери, нажал на кнопку звонка.

Открыла полуодетая бабушка, соседка. — Ты чего это, сбежал из больницы? — был первый ее вопрос. — Ты где ночь провел? Мы с дочерью всю ночь тебя искали. В милицию звонили. Где ты ночевал?

— Вот, — сказал дедушка, — у соседей.

— Да, — сказала жена, — у нас. Мы-то думали, что вам собираются делать операцию. За ваше здоровье немного выпили.

— Ой, хорошие соседи! — сказал, расставаясь, дедушка, сосед. — Ой, хорошие!

Инцидент был исчерпан. Жена со смехом удалилась к себе домой. И мы еще долго смеялись. Впрочем, понимая: не приведи бог дожить до такого старческого маразма.

* * *

Приходили писатели, евреи, тоже, как и я, мало кому известные. Выпивали, хорошо выпивали. Принесли большую бутылку виски.

— Признавайся, — ты антисемит? — сказали. — Что ты там пишешь о евреях, когда вспоминаешь большевистскую революцию? Они не нуждаются в твоих умозаключениях и твоей правде.

Отбивался. Говорил: «Не надо меня упрощать. Не надо загонять меня в прокрустово ложе своего клишированного сознания, присущего всем толпам.

Я очень ценю тех евреев, которые возродили свою родину, а ныне сражаются за нее ж. Кроме того, у меня есть те, кому надо бы и подражать. Это Христос, Башмет и Перельман. (Разумеется, последнее я сказал с улыбкой).

Я не люблю тех, кто чувствует себя у меня на родине эмигрантом. Тех, кто не причастен к этой стране, к этому народу. То есть к тому, о чем писал мой приятель, еврей, эмигрировавший в Америку: «Лучше быть без родины, чем быть из Ашхабада». Тем самым он сказал, что он думает о моей родине. А что касается большевистской революции, скажите, кому пришло в голову уничтожить нашу церковь? Кому надо было возбуждать чернь и приходиться к власти? Чтобы потом пасть в созданной ими самими тирании?

— Нет, ты признайся, что ты антисемит. Мы видим, куда ты гнешь. Ты гнешь, что во всех русских бедах виноваты евреи.

Доставали. Сплошная цензура. Сплошная не свобода, а черт знает что!

— Все антисемиты! — вдруг выскочило из меня, хотя я раньше так не думал. — Все. Так постарались ваши библейские старцы, чтобы все было антисемиты, благодаря чему и сохранилась ваша нация.

Этого мои приятели, писатели-евреи, не ожидали. Задумались, весьма и очень задумались. Замолчали. А потом с интересом взглянули на меня.

— В этом что-то есть, — сказали, — это, по крайней мере, нам интересно.

Предложили еще выпить. Не возражал. Вытащили из сумки еще бутылку перцовки. Разлили по рюмкам.

Весьма был удивлен подобной реакцией. И даже несколько благодарен.

Расстались — друзьями. Расстались, чтобы через месяц, через два снова встретиться. Русская жизнь и русское общение — это совместное застолье и винопитие. Чай в России сейчас редко «кушают». А выпить с друзьями и приятелями — обычное дело. Будь то русские или евреи.

* * *

Утром вышел на улицу, и через улицу — в булочную, чтобы купить булку — к чаю.

Пока шел, вспоминал, как мать меня, восьмилетнего, однажды послала за плетенкой.

— Купи халу, — сказала. Так в просторечии называли плетенку.

Пока шел, забыл название батона. Пришлось опять к матери возвращаться.

Вспоминая это, с грустью подумал, что нет теперь ни матери, ни такой плетенки. «Все проходит, — думал банально и грустно. — Скоро и мое время пройдет». Думал о времени, о литературе. О времени замученных эпигонов русской классики. Вспоминал, что — «не дадут развернуться» — я это понял в двадцать пять лет, и может быть, это была главная моя ошибка. Впрочем, знал, что тысячи, миллионы талантливых из предыдущего поколения были убиты. И это наложило на меня внутренней несвободой.

* * *

Возвращаясь, у входа в подъезд нашел кем-то выброшенные четыре тома Лескова и семь — Рабиндраната Тагора.

По приходе домой заглянул к Лескову и обнаружил роман «Соборяне».

Усмехнулся, очень так горько усмехнулся. А потом залез опять к себе под кровать. Было о чем подумать. Кончилась эпоха русского утопизма. И литературного влияния на жизнь, на жизнь многих русских мальчиков-идеалистов.

Подумал: надо бы перечитать «Соборяне». Впрочем, зачем? Чтобы убедиться в красоте русской жизни и доброте русской души и русского бога; за полвека до русской Голгофы? Нет, я уже этого перечитывать не буду, сердце мое не буду ранить. Холодные сибирские морозы сжали мое сердце, а память о концлагерях отвратила меня от Бога и от людей. И я один — да несколько моих приятелей-друзей. Вот и всё.

Было и в девяностых (рассказывал сосед, бывший милиционер, сидел он, мелкий жулик). «Как-то возвращались с работы с лесной деланки зэки. Парень лег на землю, устал, решил отдохнуть и умер. При вскрытии в желудке у него были обнаружены лишь сосновые иголки».

Кто он? Что он? Для чего он пришел в этот мир? И матушка у него была и бабушка. О, русская жизнь, как я тебя иногда ненавижу!

Вспоминал и другой случай (два года назад сообщали по телевизору, время, говорят, было кризисное): где-то в провинции мужик нарожал троих детей и всем жаловался, что работы нет, денег нет, на жизнь не хватает. А потом однажды ночью (старший ребенок был у бабушки), когда все спали, завалил входную дверь в квартиру и поджег. И сгорел вместе с женой и двумя детьми.

Вот и вся наша современная жизнь для бедных и невинных. Вот и все наше время. Время, в которое количество миллиардеров возросло. А миллионы несчастных исчезло. А мне говорят: где твой Бог? И уж конечно, я не буду обращаться к Нему. В блокадные времена выживали сильнейшие и хищные. Сказки оставим для детей и ханжей.

* * *

Ночью, лежа в темноте, в который раз мысленно проходил по городу. Опять прогуливался вдоль Фонтанки, выходил на невский простор, шел по невскому гранитному берегу, вода хлюпала у берегов, маленькие волны разбивались о гранит, серело небо.

С неба что-то капало, то ли это был дождь, то ли от жгучих химпроизводств. Горело лицо, на губах была горечь. Поднимался на другом берегу шпиль, освещенным он был, Петропавловский бастион, незабвенные с детства картины.

Выходил снова на Невский — тишина, отдельные прохожие, огоньки машин, проститутки — сначала Мойка, потом канал Грибоедова, потом Фонтанка, потом скверик с памятником Поэту — и мой дом напротив дома, где жил в детстве. Жил на «той стороне», а теперь «на этой».

Поднимался, входил, закрывался — залезал под кровать, чтобы думать. Россия тонула во мгле, уходила в темноту, лежала в пространстве.

О, Родина!

* * *

Ночью, лежа под кроватью, опять вспомнил себя ребенком, в деревне. Как я дважды мылся зимним пасмурным днем в печке — зрелище, достойное припоминания, с деревенской печкой — жерлом преисподней, в сумерках, с горящей сбоку в глубине лучиной, с ребенком, стоящим во весь рост. Бабушка уместилась в ней тоже, сидела, небольшая такая, бабушка милые воспоминания оставила — на всю оставшуюся жизнь: любовь детей, внуков и прочая, прочая... Бабушка, помнится, вертела меня, намыливая то спереди, то сзади, а потом поливала теплой водой, и тут же в глубине печки виднелись черные чугунки, один мала меньше, кое-где в чугунках была вареная картошка в мундире — скоту. И завернув меня в полотенце, относила из кухни на постель. Вот и все.

Прошло почти семь десятилетий — цивилизация, большие города, большие бани, а в памяти моей — эта картинка, эта печка. Впрочем, баня была над рекой, но лед сковал проруби, а снег замел дорожки. А память об этой печке умрет вместе со мной, любовь моя тоже. И так приятно мне иногда об этом вспоминать...

* * *

Запил, не дождавшись Нового года трех дней, стал выпивать... Стал встречаться со своими приятелями и стал выпивать. Стал провожать «старый» год, выпивать за новый. Стал произносить речи, есть апельсины, рассказывать что-то радостное, прекрасное... Петь панегирик русскому питью и пьянству с теми, к которым относился хорошо, в чьи глаза смотрел, чьи души понимал, которым радовался без зависти и упрека. И с которыми не раз поднимал свой бокал, стакан или стопку, приветствуя этот день, эту жизнь, как праздник, и вспоминая пьяниц, всех гениев и полководцев, которые пили... наблюдая за собой, как действует на меня спиртное и не превратился ли я добрый, я любимый в тирана... Ибо, как сказал известный философ, и у пьяного, и у влюбленного душа тираническая.

Впрочем, добавил бы я, она тираническая у всякого хищника — голод ее делает тираном, если ты не травоядный. Любовь и голод правят миром, а не закон божественности, но не мне, обывателю, об этом говорить: вот, слегка выпивши, я выбежал из метро: я из гостей, я очень рад, я так счастлив, так свободен, так прекрасен, так дышит моя грудь...

У метро «прихватила» меня девица, симпатичная такая, не больше двадцати, увязалась, стерва, понял, наркоманка... И что за судьба, как выпью, так ко мне пристают пьяницы и бомжи с просьбой «нет ли у тебя, отец, немного денег — не хватает!» Разумеется, что могу, даю, десять, двадцать рублей, а уж больше — от великой скорби и жало-

сти... А эта сучка пристала: мол, купи, мужчина, мобильник, за двести пятьдесят, ну купи, купи, ну купи... И пока от Московского вокзала шел пять минут к себе домой, не оставала, а все бежала, все умоляла, ну купи... Нет у меня с собой денег, говорил, отстань, нет, и перед входом на лестницу мрачно сказал: ну подожди, сейчас поднимемся в квартиру, я возьму и разменяю, ладно, будет, оставь, будет, главное, жены сейчас нет: сейчас, сейчас...

Поднялись, вошли в комнату, деньги, несколько тыщенок, на полке с книжками — быстрым движением руки — под книги, вытащил одну — впрочем, заметил, как девица глазами стрельнула, заметил и отпечаток подглазника, некогда кто-то ударил — милый такой отпечаток...

— Пошли! — сказал.

Перешли через улицу, в магазин, купил джин-тоник, вышли. Протянул двести пятьдесят, она протянула мобильник. Кто я — подумал — писатель или дерьмо? Будь здорова, сказал, не нужен мне твой телефон. Будь здорова.

Ничего в душе не было, ни грусти, ни радости, ничего — пустота.

Грусть пришла позже.

Жене ничего не сказал, презрела б меня за вульгарность. Впрочем, и меня скоро застанет смерть. Усталость накопилась так, что не хочется жить: людишки там, войны... хотя в России, думается, больше хороших людей — лишь бы хамство не победило...

* * *

Новый год, Новый год!

Пахло хвоей и пахло мандаринами!

Проснулся в темноте под кроватью.

Вспомнил, как я туда попал. Вспомнил, что я, не дождавшись Нового года, начал праздновать.

Было два часа ночи.

Нашел жену в другой комнате. Она сидела за накрытым столом и плакала. Слезы так и текли по щекам.

— Ну что ты плачешь? — спросил. — Что расстраиваешься?

— Плохо прижимал, денег не дал! — был ответ.

Господи, подумал, опять я виноват, опять в чем-то я провинился...

— Не плачь, — сказал, — не надо. Что ж поделаешь, такова моя жизнь. Такова моя телега.

Стал на колени, обнял ее ноги.

— Скоро умру, — сказал, — скоро исчезну. Останешься одна.

Выпьем за старый и Новый год. За то, что наша любовь не исчезнет. Было ведь что-то в нашей жизни хорошее.

И мы чокнулись. Мы обнялись и чокнулись.

2004 год. Новогодняя ночь, вечность.

Татьяна ГРАУЗ

/ Москва /



РОЖДЕНЬЕ ГОРЫ

вдруг спотыкаешься о камни озёрные
 плеск волны
 памяти прибрежная галька
и бирюзой окрашены уже берега
и лес и ступени больницы
 и школа с крыльцом и третьей (щербатой) ступенькой
и даже урок химии
(колба взорвавшийся купрум скомканный воздух испуг)

памяти хрупкая синь-бирюза

тысячелистник у монастырской стены молчанием полон
в сером дождике полдня сосен терракотовый свет

и сверкают
донник кроткого духа
радость богородичных трав
муравьиное царство

о смертное небо!
 бессмертна земля
и бирюзово-прозрачна

КРАПИВА КИСЛИЦА

и как крапивой обожжёшься — вспомнишь
поляну и траву кислицу
 и маму стоящую неподалёку
и кажется что нас не разделяет
ни смерть ни быстрое как южный ветер время

* * *

дни равноденствия кончились
ночь всё растёт
и растёт недоступная тишина
яблоком хрустким алеет
в воздухе загазованном
у перекрёстка

ИСЦЕЛЕНИЕ

седая рыбка пригорюнилась в седой воде
ждёт исцеленья светом

НЕ СКОРО ЕЩЁ

не скоро
не скоро ещё возвращение
в смиренный свет прозрачного этого поля

мы за оградой ещё постоим
в шелестящем и здешнем
где голоса и шиповник
и в час благодатный очнулась и оживает душа

* * *

по подоконнику бродит
будто привязанный
с в е т

* * *

и вот опять тебе слышна
боль тёмных полусонных улиц
и ноющая боль бессонных звёзд
и музыки мучительной сиянье
где счастье бескорыстно и мы все
все связаны одной суровой ниткой

БЕЗ ЗАПЯТЫХ И БЕЗ ТОЧЕК

небо осеннее в берегах тёмных крыш
не испить его не исправить не остановить

ТИХО-ТИХО

листом кленовым в тоненьком ледке озябшей лужи
застыть
не шевелится
или полететь
сквозь горе горькое
сквозь горы разреженного воздуха
войти неспешно в темноту
где не живут
и где несчастья так же далеки
как пепел невозвратный счастья
а все слова на первый снег похожи
(так быстро тают)
и остаётся холодок и влага
озноб весёлый

и так блестят глаза
прохожих пролетающих как птицы

о ком твоя молитва
вот о том
промокшем молчаливом
первом
встречном

ОЖИВШИЙ ШИПОВНИК

в проводах и ожиданиях время проходит
прожилки листа темнеют в луче световом
на влажной побелке хмурого дня — фреска майского сквера

*когда зацветёт оживший шиповник
не позабудь об этом тёплом дожде*

ВСТРЕЧА

встречались продрогшие
прятали лица в жарком сияньи друг друга
а ночь за деревьями проходила совсем незаметно

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

скромная трапеза
хлеб ржаной суховатый
жалкие рыбки
вот оно — неминуемо-трудное-счастье

РАЗГОВОР

много ли впереди нам отмерено взволнованных лет?
молчим
не прерываем друг друга

* * *

милый мой, многое уже позади
кафель холодный
больница
сумерки
слёзы
гулкие бесконечные коридоры
и тени любимых
а за окном — невесомая снежная птица

теперь во мне, милый, только безоблачный свет

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(цикл из семи стихотворений)

*

в первое воскресенье июня
достанешь из ящика ворох пёстрой рекламы
где же письмо от тебя
дождливое, с запахом яблонь цветущих

тёмен ящик почтовый
и потемнело в глазах
дождь по стёклам течёт мутно и горько

*

загрустила
тени — кораблики лёгкие — плывут по руке

в рюмочке узкой плещется жаркий день
и на дне ограниченном — влажное отражение
старой акации, цветущей и нежной

*

и дела мне нет, что будут о нас говорить
сбрызну лицо прохладной водой
встану на каблуки
и стану как тополь, что смотрит в открытые окна

будем расти вместе с ним
шелестеть
и пухом седым тополиным
сгорим от одной единственной спички

*

и вовсе не тесно двоим под зонтом
глухо
темно
стучит твоё сердце

а свет от рекламы
на маслянистом асфальте то кровотоцит
то ярко и зло зеленеет

*

тёмен твой взгляд
а вокруг глаз усталые тени
от загорелой обветренной кожи
запах солёный

прости, что так долго молчу
и не решаюсь сказать

без тебя —
воздух ночной будто пепел

*

на подбородке небритом
свет голубой и холодный
в окнах открытых — пустынное небо

ты не увидишь как плачу
я отвернулась
склонилась
будто ищу затерявшуюся под кроватью серёжку

*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*

после праздника — дождь
влажные сумерки над крышей соседнего дома
на подоконнике — белые до боли пионы

я не умею прощаться
лучше щекою прижмусь
к ладони твоей, пахнувшей дымом табачным



Марина ПАЛЕЙ

/ Роттердам /

ВОСЬМИСТИШИА

* * *

чем дальше в поле — меньше вес
и над башкой — злословь —
не океан благих небес
но голубая кровь

а растворить черты лица
и захлебнуться в ней
так просто: в землю, до конца, —
ты красную пролей

* * *

тепла мне выпало — немножко
не жалеюсь — и нос не морщя
наверно, надо было поварёшкой —
да в общий борщ

а я закидывала невод
с такими дырами прорех
что попадалось только небо
да чей-то смех

* * *

то была лодочка — белая-белая
под чёрными елями белоглазой чуди
то была девочка — смелая-смелая
хоть её тихой считали люди

лодка та где-то пробоину выбила
но вот же — плывёт себе бога ради
девочка та утонула да выплыла —
белой кувшинкой на чёрной глади

* * *

Не суждено, чтобы сильный с сильным...

М. Ц.

не суждено, чтобы щедрый со щедрым
соединились бы в мире сём
беззвучно плачу — белугою, Федрой —
и громко смеюсь неподвижным лицом

только песочными, видно, часами,
дробью, клепсидами можем быть
вот так — захлёбываясь песками, слезами —
долбя упражненье с глаголом «любить»

* * *

в окошечке спрашивали: «за себе — i засужденного?»
ну, когда на свиданки в тюрьму ходила
она, мысленно: скажите — «за суженого»
говорили, как было; она — платила

река посмывала травы окружные
кому теперь — жемчуг речного ила?
смерть — не корректор: засужденный, суженый —
ни одной буковки не изменила

* * *

Кипит вода в прудах. Разваренная рыба
берёт в кольцо свинцовый водоём.
Ну что, дружок? Как я и говорила,
хоть мы вдвоём, но одна живём.

А здесь — прохладно. Ни любви, ни веры.
Неон какой-то ниоткуда льёт.
То рай, наверно. Кондиционеры.
А может быть, мой неизбывный лёд

* * *

я напоследок попирую —
да не с тобой, да не с тобой
лети, рысак, напропалую
над чёрной пропастью-дырой

о бражники! — в золе заката
мой пурпур ярче рейнских роз
а жизнь совсем не виновата,
что я так честно и всерьёз

* * *

«Когда пробыёт последний час природы...»
Ф. Т.

когда пробыёт последний час природы,
наверно, буду, как обычно, Интернет
терзать — и запрошу прогноз погоды,
и не пойму, что ничего там нет

и будет серое мерцание экрана
подпаливать экрана окоём...
и не вскричу — за что! ещё так рано! —
и Божий лик не отразится в нём

* * *

лежим, считаем удары
набухает будильника лёд
патронташ разрывается старый
сердце бьётся — оно же бьёт

мы с тобою — среди сырых и малых
кто здесь каторжный — кто конвой?
в изолированных каналах,
в навсегда параллельных каналах —
два патрона в двустволке одной

* * *

в чёрно-синей воде, если долго смотреть,
всё равно не увидишь того, что предметно
чешуёй осетров растворяется сеть,
невода островов пораскиданы тщетно

в чёрно-синей воде нету даже чернил,
а уж влаги живой в ней, тем более, нету
впрочем, глянь, если прежний багаж позабыл,
в даль, где ночи венец — и кончина предмету

* * *

по касательной! — только кожу тебе задела
и не придумывай, будто глубже зашла
и не придумывай, будто самое тело
души — то ль отморозила, то ли сожгла

по касательной! — только кожу тебе задела
и не придумывай, будто дела твои — швах
и не придумывай, будто душа отлетела
всего-то: расходится кожа во швах

* * *

себя в простодушных числю,
простой посещённая мыслью,
что требует только сердца,
ей напрочь не надо ума:

любовь на рассвете жизни —
есть страстный восторг пред жизнью,
любовь на закате жизни —
есть, в сущности, жизнь сама

* * *

ГОРОД М.

в этом городе есть гробница, харчевня, монетный двор
на монетах цезарь изображён в анфас и в профиль
в этом городе, чуть завидят живое, — стреляют в упор
женщины там рождают картофель

в этом городе — тонны и тонны, и тонны монет,
гигантские лужи протухшей сахарной ваты
только кладбища в этом городе, кажется, нет...
мёртвецы там кудрявы и витиеваты

* * *

я думала — ну вот, анорексия:
всё, что ни съем, — идёт наоборот
я думала, то хворь, а то — Россия
с колен на голову встаёт

она встаёт, как смерть, неотвратно...
и в небе оттого не зришь ни зги,
что, вдрызг разбив небесные светила,
там маршируют — сапоги

* * *

У Вирджинии Вулф лежали в карманах камни.
У Перси Шелли — книги: Софокл и Китс.
Преобладали рыбаки и пейзажи
В толпе перепуганных лиц.

Вирджинию Вулф во зелёном саду схоронили.
А Перси Шелли — на берегу морском сожгли.
Перед тем их карманы от груза освободили...
Но разгадку — не извлекли.

© *Марина Палей*

Михаил АРАНОВ

/ Ганновер /



МУТНЫЕ ДНИ

Глава из романа «Круги на воде»

Дохлый пароходик, насадно пыхтя, доставил нескольких бывших затворников баржи на правый берег Волги. Среди пассажиров был и доктор Троицкий. На прощание обнялись. Особенно крепко — доктор Троицкий и эсер Душин. «Куда?» — спросил доктор Александра Флегонтовича. «В свою деревеньку Борисовку, жену навестить, детей», — как-то невесело отозвался Душин.

Доктор Троицкий стоит под морозящим дождём на Богоявленской площади, глядит на ядовито-зелёные, будто покрытые злой плесенью купола церкви Богоявления.

Тёмно-красные стены церкви разрушены. Красные кирпичи её стен разбросаны по площади. И стены будто плачут кровавыми слезами. Площадь застыла в мёртвой тишине. И только едва шелестит дождь.

Доктор медленно крестится, шепчет: «Боже, сохрани жену мою Марфу Петровну и дочь мою Ксеньюшку». И сразу заныло сердце в горьком предчувствии. Заторопился, ещё до дому далеко. Вышел на пустынную Углическую улицу. Мертвые, разрушенные здания. Груды камней на мостовой. Обрушенные крыши. Остовы сгоревших домов. И тишина, убивающая надежду тишина. Ни одной живой души. Вот на уцелевшей стене разрушенного дома оборванный листок, в углу его двуглавый орёл под короной.

Доктор читает: «Приказываю твёрдо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, за принципы свободы и неприкосновенности личности». Дальше листок оборван. И где-то внизу огрызок листа, и там: «Полковник Перхуров». Вдруг за спиной шум, крики, разрываемые женским и детским плачем. Толпа женщин с детьми, окруженная отрядом солдат. Доктор вглядывается в лица вооружённых людей — китайцы. Их неподвижные лица под будёновками с красной звездой внушали непонятный страх. Доктор огляды-

вается. Старушка, закутанная в черный платок, тихо сползает по стене на землю. Доктор подбегает к ней, за спиной слышит омерзительно-визгливый, будто кошачий визг: «Замолчати! А то»... И выстрелы, выстрелы. Китайцы стреляют над головами женщин. Женщины прижимают к себе замерших в страхе детей. Китайцы толкают их прикладами в спины. «Быстро, быстро!» — слышится опять писклявый нерусский голос. Процессия уже скрылась в переулке, а доктор всё слышит корявое: «Быстро».

Троицкий наклоняется над женщиной, сидящей у стены. Одёргивает с её лица чёрный платок. «Что с Вами? Вам плохо?» — спрашивает он. «Боже! Что же это делается. За какие грехи всё это», — разрывающая душу рыдания слышатся из-под чёрного платка «Что такое?» — тихо спрашивает Троицкой, уже догадываясь, что женщина провожала кого-то в той жуткой толпе, которую вели китайцы. «Боже, за что?! Внучку мою и дочку мою повели на бойню. Мало им извергам, зятя убили. Поручик, ведь мальчишка совсем. А дочку-то за что? С ребёнком...» Доктор Троицкий отходит от рыдающей женщины. Бредёт среди пустынных развалин. Вот храм Сретения Господня. Колокольня изрешечена снарядами. «Гибнет, гибнет Русь православная», — какая больная, уставшая мысль! И тут же, как удар ножом в сердце, — Боже, что же с моей семьёй?!»

Вот и его Сретенский переулок. И дома вроде бы целые. Только в некоторых выбиты окна. Доктор опять перекрестился, глядя на храм. Обращает внимание на листки, что наклеены на стены домов. Это уже большевики расклеили декрет: «Завтра, 23 июля 1918 года в восемь часов утра все мужское население города должно явиться на вокзал. Ко всем уклонившимся будет применена высшая мера наказания». «Опять расстрел», — тупо отмечает доктор. И дальше по всему переулку видны эти серые листки. Вот дом Менделя. «Одежда. Меха». Выбиты окна и двери. Магазин разграблен. Еще квартал, его дом, дом доктора Троицкого. На первом этаже доктор принимал больных.

Доктор видит груды кирпичей. Обгорелый остов здания. Одна стена целая. Открытая часть комнаты на втором этаже. Его гостиная. У стены стоит итальянский буфет. Гордость семьи. Приобрёл в мебельном магазине Голкина.

Хозяин сам пришёл к доктору Троицкому. «Вот мебель итальянскую получили, фабрика известная, «Asnaghi Interiors». К Вам, Фёдор Игнатьевич, к первому пришёл. Помню, помню, как Вы сына моего с того света вытащили. Ко мне уже и от Щапова Петра Петровича¹ приходили. Но я повременил, пока от вас намерение не поступило. Особенно советую буфет», — Голкин говорил длинно и витиевато. Но

¹ Щапов, Пётр Петрович — Городской голова Ярославля (1910–1916), коллежский секретарь.

Троицкий знал отменный вкус мебельщика и, не глядя, согласился. Что касается содержимого буфета — особой ценностью был в нём китайский сервиз на двенадцать персон. Достался на свадьбу от родителей жены, известных ярославских купцов...

Дверцы буфета распахнуты настежь. Видно было, что буфет пустой.

Доктор смотрит на свой разрушенный дом, и мысль, как механический стук часов: «Уже побывали, побывали».

Кто-то коснулся его плеча. За спиной доктора стоит дворник Абыз. Татарин.

«Федор Игнатьевич, горе-то какое», — доктор слышит робкий голос Абыза.

«Где? Где моя семья?» — срывается на крик Троицкий. «В покойницкой при госпитале, — еле слышно говорит дворник, — третьего дня приходил туда. Говорю, хороший человек был доктор, Федор Игнатьевич. Дайте, я похороню его жену и дочь, чтоб, мало ли кто объявится, могилу показать. Про вас-то люди говорили, что баржа потопла. И всем — каюк. А мне в покойницкой ответ — вы не родственник. Тел не выдадим».

В госпитале были всё незнакомые люди. Нежданно появилась медсестра. Практику проходила у Троицкого. Узнала доктора, испуганным взглядом окинула его. Прошептала тихо: «Боже, это вы?» Потом появился Петя Воровский — коллега и друг из тех мирных дней. Обнялись. Троицкий подолом грязной рубахи вытер слёзы.

Втроем, и Абаз с ними, прошли в морг. Санитар, дежуривший в морге, сказал, что день назад все невостребованные родственниками трупы похоронены в общей могиле на Чурилковском кладбище.

До кладбища ехали молча. Петя раздобыл госпитальную карету. Невесть какую. Запряжённую похоронной клячей. Слёз Фёдор Игнатьевич не вытирал. Они смешались с дождём. И сдавленный крик, рвавшийся из груди, казалось, оглушил его. Он не слышит, что ему говорил Петр.

Среди тощих берёз и осин на поляне свежий холм. Деревянный кол с прибитым к нему куском фанеры торчит посреди холма. На фанере что-то написано чернильным карандашом. Надпись размыта дождём. Доктор Троицкий тихо плакал, обхватив берёзу.

Обратный путь — по дорожной грязи. Скрип несмазанных колёс. И хвост клячи, мерно раскачивающийся в такт её медленных шагов. Боль уходила. На смену ей надвигалась оглушающая пустота.

Доктор Троицкий чувствует на своем плече руку Петра Воровского. И тепло руки друга будто возвращает его к жизни.

— А как ты пережил всё это? — спрашивает он Петра.

— Я ж тебе рассказывал по дороге.

— Извини. Я прощался с женой и дочерью.

— Известно как. Врачи нужны и красным, и белым. Я знаю, ты был на барже. Её уже окрестили «баржей смерти». А ты? Теперь-то как?

Троицкий показывает бумагу, которую получил при освобождении с баржи.

— Иди, иди к нынешним красным властям. Я уж не знаю к кому. Они разместились в гостинице «Бристоль». Она — одна из немногих уцелела. Покажи им свою бумагу, а то завтра загонят на вокзал. Декрет-то читал? — торопливо говорит Воровский.

До гостиницы «Бристоль» опять шёл по родному Сретенскому переулку. Длинный летний день к вечеру развиднелся. Тучи рассеялись. Солнце стояло низко над домами и било в лицо нежаркими лучами. Около его дома стояла телега с лошадьё. Двое мужиков на верёвках спускали его итальянский буфет. Третий стоял у телеги.

— Вы это чего? — возмущённо спросил Троицкий.

— Чего, чего. А вот через плечо, — услышал он в ответ, — твоё, что ли?

— Да, это моя разрушенная квартира, — неизвестно откуда хватило сил резко ответить.

— Было ваше, стало наше. И проваливай, господин хороший. А то доложим куда надо. Будешь париться на вокзале. Ваших там уже полный зал. А если что — и до оврага возле Леонтьевского кладбища недалеко. Сёдне, с утра там офицерских дамочек со всеми ребёнками ихними шлёпнули.

Доктор Троицкий с ужасом вспоминает утреннюю процессию под охраной китайцев. И плачущую пожилую женщину в чёрном платке. Растерянно оглядывается.

Буфет уже на земле. Мужики, что возились с буфетом, уже стоят около доктора. Один молодой и пригожий блондин. Другой — заросший звериной бородой.

— Что, не верит гражданин-барин? — говорит бородатый. — Мы ж оттудова и приехавши. Забросали овражек землёй и приехали.

— Значит, мой буфет вам в награду?

— Поговори ешо, поговори, — равнодушно, без злобы говорит мужик, что стоял изначально у телеги.

Бородатый и молодой берут доктора под руки, один из них говорит дружелюбно:

— Ну, не заставляй ты нас, мил человек, брать грех на душу. Иди отसे, ради Бога.

Мужики доводят доктора до конца переулка. Толкают в шею.

Не оглядываясь, доктор медленно плётётся вдоль разрушенных домов. А за спиной слышит голоса мужиков.

Молодой голос:

— Может, и верно, поставец-то евонный.

Суровый голос бородатого:

— Васька, сколь раз тебе говорено: не поставец, а буфет. И шо, зря, что ль, мы в город припёрлись. Степан Евграфович заказывали буфет голландский. Или ещё какой заграничный... Обещал знатно расплатиться. Вот и ты своей Верке обнову справишь.

— Да уж, справишь. Дождёшься щедрот от Степана Евграфовича. Мироед...

Голоса удаляются. Глухой гул наполняет доктора Троицкого, то ли набат с дальнего храма, то ли гроза надвигается из-за Волги.

Доктор Троицкий не помнит, как он добрался до гостиницы. Кому-то он там показал свою бумагу. Кто-то что-то сочувственное говорил ему. Только одна фраза врезалась в его память: «За белый террор мы ответим красным террором».

Ему определили комнату при госпитале. Просили завтра приступить к работе: «В госпитале рук милосердных катастрофически не хватает». Доктора резануло слово «милосердных». Он вглядывается в лицо говорившего. На него глядели стеклянные, неподвижные глаза палача. Запомнился не человек, а его глаза. И мрачное предчувствие, связанное с этими глазами, не обмануло. Ещё раз пришлось увидеть эти глаза. И хозяин этих глаз действительно играл роль палача, только не на сцене, а в жизни.

В своей комнатёнке доктор Троицкий упал на кровать и тут же погрузился в тяжёлый сон.

Утром его разбудил Пётр Воровский. Сказал, что приказано двум врачам прибыть на вокзал, оказать при необходимости врачебную помощь.

— И ещё, это уже конфиденциально. По-русски — на ухо, — угрюмо продолжает Воровский, — при оказании врачебной помощи строго ориентироваться на социальную принадлежность страждущего...

— Если буржуй — пусть подышает. Нечего на него пули трахать, — угрюмо заканчивает доктор Троицкий фразу своего товарища.

Пётр Воровский обречённо кивает головой. Вокзал был окружен вооружёнными солдатами. Зал переполнен мужчинами разных возрастов. Были и старики, равнодушно смотревшие на мир слезящими глазами. И совсем дети — мальчишки тринадцати-пятнадцати лет. На одной группе Троицкий задержал свой взгляд. Мальчишки, совсем маленькие, верно, шести и пяти лет, испуганно оглядывались по сторонам. Прижимались к пожилому мужчине в шляпе и галстук. Мужчина что-то успокаивающее говорил мальчикам. Троицкий только услышал конец его фразы: «... вы всю бомбежку просидели в подвале со мной, вашим дедом... не забудьте сказать — дед учитель, учитель, всего лишь учитель словесности...» — выкрикнул мужчина, вдруг схватился за грудь, закачался. Мальчишки ухватились за него ручон-

ками. А мужчина, судорожно заглатывая ртом воздух, опускается вдоль стены. Мальчики растерянно смотрят на деда, лежащего на полу. Петр Воровский осторожно развязывает галстук на шее деда, расстегивает рубашку. Стетоскопом прикикает к его груди. Щупает на запястье пульс.

«Старик мёртв, — говорит он Троицкому, — надо как-то его детей вывести отсюда».

В дальнем углу зала толпа особенно плотная. Там дверь. Солдаты периодически пропускают туда людей. Троицкий видит, как на лицах, входящих в эту дверь людей, вдруг возникает маска неподдельного страха.

Уверенно раздвигая толпу, врачи идут к этой злополучной двери. Натолкнувшись на жёсткий взгляд солдата, стоявшего у двери, Воровский уверенно говорит: «У нас мандат». Делает вид, что лезет в карман своего пиджака. Солдат показывает рукой на дверь: «Проходите, товарищи». В комнате за столом сидят несколько человек в военной форме. В центре — вчерашний знакомец Троицкого со «стеклянными глазами». Тот, что из гостиницы «Бристоль». Увидев врачей, он растягивает рот в приветливой улыбке, но глаза всё такие же неподвижные, стеклянные. «Что-то случилось?» — спрашивает он.

Несколько солдат, прежде скрытых в глубине комнаты, отталкивают группу испуганных мужчин, стоящих перед столом чекистов. Троицкий уже понял, что имеет дело с «товарищами» из ЧК.

«Понимаете», — неуверенно начал Воровский. «Дело не терпит отлагательства», — грубо оттолкнув Петра, жёстко начинает Троицкий. Он вдруг вспомнил, что человека в шинели с красными петлицами и стеклянными глазами, с которым познакомился в гостинице «Бристоль», зовут Губер. Троицкий почти кричит:

— Товарищ Губер, умер от сердечного приступа старый человек. Я знаю — это учитель. Моя дочь училась у него. С ним внуки — дети...

Троицкий знает, что сейчас его спросят, кто родители этих детей. Как связаны эти родители с Перхуровым? И он отчаянно врёт:

— Мать детей умерла от тифа. Отец — инвалид войны погиб в разрушенном снарядам доме. Свидетель — доктор Воровский.

Троицкий ловит испуганный взгляд друга. Губер подымает глаза на Воровского. Тот орёт, пересиливая страх: «Подтверждаю». Доктор Троицкий с ужасом думает, сейчас его спросят как фамилия, умершего старика-учителя, которого он, якобы, прекрасно знает. Но он же этого старика первый раз в жизни увидел. Но спасает Петя Воровский, он вынимает из своего кармана паспорт и отдаёт его Губеру: «Вот паспорт умершего, я его взял при осмотре трупа». Губер отдаёт паспорт рядом сидящему мужчине: «Проверьте по списку подозреваемых». Тот начинает рыться в своих бумагах, слюнявит палец, пе-

релистывает страницы паспорта. Солдаты к столу подталкивают испуганных мужчин. «Как связаны с мятежниками!?» — орёт Губер. — Какой офицерский чин имеете? Не врать мне, не врать!»

— Унтер офицер с германского фронта, — с какой-то отчаянной смелостью выкрикивает один из допрашиваемых мужчин, — Георгиевский Кавалер.

— А ну-ка, покажи руки, — подозрительно говорит сидящий рядом с Губером чекист, который до того листал паспорт умершего старика.

Георгиевский Кавалер протягивает ему ладони.

— Мягонькие, сразу видно, что из буржуев, — зло шепчет чекистский чин.

Губер кивает головой своему подчиненному. Тот выплёвывает, не то утверждая, не то спрашивая: «Шлёпнуть». Солдаты подхватывают унтер-офицера под руки. Ведут к дальней двери, еле заметной в углу комнаты.

В комнату вводят ещё несколько гражданских мужчин. Становится трудно дышать. Ужас этих вводимых мужчин передаётся врачам. И в мрачном полумраке вокзальной комнаты пауком шевелится незнакомое, нерусское слово «концлагерь».

— А вы что стоите? Забирайте своего покойника, — Губер зловеще улыбается, — Кальченко, Петров проводите врачей. Да, доктор, паспорт умершего возьмите».

Пётр Воровский прячет паспорт в карман.

Солдаты, перекинув на плечах винтовки, ведут по вокзальному залу врачей. У Троицкого даже возникло ощущение, что их тоже арестовали. Но солдаты поднимают с пола труп старика-учителя. Кивают детям: «Пошли». На выходе с вокзала уже стояла повозка с лошадью. «Однако, предусмотрительный товарищ Губер», — подумал Троицкий. Солдаты кивнули врачам: «С Богом». И скрылись в тяжёлом здании вокзала.

Троицкий взглянул на мальчиков, подумал о своей погибшей семье, и боль, острая, как предсмертный крик, пронзила его.

— Что с тобой? — испуганно спрашивает Воровский, взглянув на побледневшего вдруг товарища.

— Отошло, — Троицкий обнимает за плечи мальчиков. — Я их возьму с собой. Согласны? — обращается он к детям. Те робко кивают головами.

— Похороним деда. А там видно будет, — говорит доктор Троицкий, — Петя, ты отвезёшь деда?

Воровский молча садится в ноги покойного на повозку. Кучер трогает вожжи. Лошадь, обречённо опустив гривастую голову, застучала копытами по булыжной мостовой.

Мальчиков звали Саша и Петя. Дети спали на полу. Фёдор Игнатьевич выпросил в госпитале больничный матрас, одеяло, пахну-

щее нечистым телом, и две простыни. Простыни были стираны, на редкость чисты, хотя в них зияли многочисленные дыры. Подушки достать не удалось. Это были постельные принадлежности мальчиков. Кормились в госпитальной столовой. Детям выдавали одну порцию на двоих — овсянка или серое картофельное пюре. Зато чаю доставалось по стакану каждому и по куску чёрного хлеба. Видя голодные глаза мальчиков, Фёдор Игнатьевич подкладывал от своей порции несколько ложек в их тарелку.

К осени в Ярославле открылись несколько трудовых школ. Как сироту, Сашу, ему в ту пору было около семи лет, приняли без проблем. Сработала бумага Троицкого: «жертва белого террора». О «барже смерти» знал уже весь Ярославль.

Позже — ещё событие: вызвали в жилищный совет. Сказали, что идёт уплотнение квартир буржуев и их приспешников. А ему, Троицкому Фёдору Игнатьевичу, положена жилплощадь. Троицкий сказал, что при нём дети-сироты. Тут же в соседней комнате оформили опеку.

Фёдор Игнатьевич с искренним восхищением подумал: «Вот времена. Никакой волокиты и бюрократии. Хоть чем-то хороша Советская власть». Вернулся в комнату жилсовета. Женщина в красном платке, повязанном на лбу, как с плаката «Долой кухонное рабство», радостно сообщила: «На троих — вместо десяти метров даём комнату в двадцать метров». И как-то призывно и ласково взглянула на доктора Троицкого. Доктор вдруг вспомнил, что ему только сорок семь лет. Только или уже? Впрочем, тут же на память приходит строчка, кажется из раннего Антона Павловича Чехова: «В пролётку вскочил старик лет сорока». Ухмыльнулся. Уходя, послал женщине воздушный поцелуй. Женщина зарделась ярче своего красного платка. А доктор вдруг разглядел, что красный платок украшает очень милую девичью мордочку.

Смотреть своё новое жильё отправились втроем. Младший Петя держался за руку Фёдора Игнатьевича. Саша внимательно рассматривал улицы, по которым проходили. Похоже, что-то узнавал. Когда подходили к дому, указанному в ордере, мальчики заволновались. С криком: «Это же наш дом!», бросились к открытому подъезду, помчались вверх по каменной лестнице. Доктор едва успевал за ними. А мальчики уже стучат в резную деревянную дверь, дёргают медную ручку в виде изогнутой лебединой шеи. Из двери высовывается неприбранная тётка, зло спрашивает: «Что надо?». «Это наш дом!» — громко хором кричат мальчики. «Что, что? Пошли отселе, — зло фыркает тётка, и, увидев интеллигентное лицо доктора Троицкого, уже не сдерживая себя, орёт, — чо припёрлись, чо припёрлись! Буржуи недорезанные. Мало вам Леонтьевского кладбища!».

Фёдор Игнатьевич опять видит перед собой картину: толпа разтерзанных женщин и детей, и китайцы, ведущие их на смерть. Ему

становится нехорошо. «У меня здесь ордер на комнату, — тихо говорит он. «Покажи, — тётка угрюмо рассматривает ордер, зло бурчит, — лучшую комнату хапают. Вон за кухней, следующая. А я-то думала моей доченьке Машке с ребятёнком достанется. Из деревни едет». Тётка выдавливая из глаз слезу.

Стучит осторожно в первую дверь от входа в квартиру. «Сергей Семёнович, тут пришли, на Машкину комнату зарятся, и ордер есть», — тётка всхлипывает почти натурально. Из комнаты высовывается откормленная морда в полувоенном френче. Зло смотрит на тётку: «Что орёшь как оглашённая!?» «Как же, как же. Вот...» — тётка тычет пальцем в сторону Троицкого. «Коли ордер есть — вот ключ, — френч протягивает руку с ключом, — последняя дверь по коридору».

Кривя толстые губы, смотрит на свою соседку. А та всё не понимает: «Как же, как же, Сергей Семёнович, товарищ Перегуда, вы ж обещали похлопотать за мою Машку. Я ж вам отрез аглицкого сукна дала на костюм. Моего, царствие ему небесное, Петра Петровича. А тут эта комната уходит в чужие руки». Тётка причитает в полный голос. «Закрой пасть, Дарья, — сурово говорит мордастый Сергей Семёнович, — а твоему Петру Петровичу нечего было водку жрать днями напролёт. И отрез твой весь молью потрачен. Выбросил я его на помойку». «Гляди-ка, выбросил. А давеча в чем вы шли в горсовет? Костюмчик-то из моего сукна», — уже язвит неугомонная тётка. Дальше — уже за спиной Троицкого непотребный мат Сергея Семёновича. Троицкий шепчет мальчикам: «Заткните уши». Мальчишки хихикают.

Потом — время сполохами пожара, тенью и мраком. Опять пошёл на кладбище, где похоронены дочь и жена. Теперь на могильном холме огромный валун. На нем надпись масляной краской: «Жертвам белого террора». Постоял в одиночестве. Слез не было.

Слёзы были позже. А пока серые будни. Стоны раненых и больных. Острая нехватка лекарств и перевязочного материала. Затхлый, спёртый воздух переполненных больничных палат.

Ползли мрачные слухи: по деревьям ходят отряды чекистов. Ищут оружие из разграбленных воинских складов. Обыскивают дома. Где обнаруживают оружие, тут же расстреливают всех взрослых мужчин.

Арстовали врача Петю Воровского: «За помощь мятежникам Перхурова». Дали десять лет. Троицкий присутствовал на суде. Петя увидел Троицкого, печально улыбнулся ему. Фёдор Игнатъевич не сдержал слёз. Вышел из судебного зала на улицу. Стояла тяжёлая зима двадцатого года. Пришёл домой. Было холодно. Мальчики сидели у тлеющего камина — это всё, что осталось им от прежней жизни.

Лёг на диван. Развернул вчерашнюю газету «Известия». Где-то на последней странице маленькая заметка, выхватил глазами две

строчки: «...расстрелян левый эсер Душин А.Ф. ...за содействие лево-эсеровскому мятежу Марии Спиридоновой....» Мелькнула неразумная мысль: «Как Александр Флегонтович, сидя в глухой деревне Ярославской губернии, смог содействовать московскому мятежу Марии Спиридоновой?» «Значит, смог», — ответил за него человек со стеклянными глазами.

Жизнь стала невыносимой. И почему-то за всеми этими печальными событиями опять виделось доктору Троицкому серое, изъеденное тюремной пылью лицо со стеклянными глазами мертвеца. Как его фамилия? Никак не вспомнить. На ум приходит что-то на букву «г». Но интеллигентность не позволяет сказать Фёдору Игнатьевичу это слово вслух. Только устало подумал: «Этот палач со стеклянными глазами, что на вокзале правил бал со смертью — верно инородец. Иудей или немец. Инородцы, инородцы губят Россию», — но вспомнил добрую душу немца Фрица Букса с баржи и отверг этот черносотенный вздор. Подумал, может, правильно говорил левый эсер Душин: «Естественный ход истории. На смену капитализму должен придти социализм». «С человеческим лицом» — что за дурацкая мысль лезет в голову. Троицкий чувствует, как непроизвольно его губы растягиваются в улыбку. И опять звучит голос Душина: «Большевики бездумно торопятся. Феодалную Россию — через эпоху капитализма в светлое царство социализма. Думают перепрыгнуть пропасть в два приёма».

Поздно вечером Троицкий возвращается из госпиталя, идёт тёмным переулком. Видит в подворотне группу беспризорников. Двое мальчишек подходят к нему. Чумазые, оборванные. С худых, грязных лиц смотрят голодные глаза. «Дядька, дай рубль», — слышит он детский голос, но в нем уже звучит бандитская угроза.

«Денег не дам. Вот вам еда, — доктор протягивает мальчишкам котомку с продуктами, полученными утром на продовольственную книжку Пети Воровского. Пётр отдал свою книжку Троицкому за день до своего ареста. «Если не заберут, книжку вернёшь. А так месяц ещё она действует». Пётр знал, что заберут. Его вызывали к следователю. Стало известно, что в период мятежа Пётр лечил Перхурова. Тот неожиданно заболел. Думали тиф. Высокая температура. Понос. Позже выяснилось, что отравился лежалой рыбой. Конечно, он лечил Перхурова не под дулом револьвера. Вот это и есть главная вина врача Воровского.

Доктор Троицкий видит, как мальчишки набросились на котомку. Жадно вырывают друг у друга ломти хлеба, куски сахара.

— Завтра, ждите меня здесь. Я вас отведу в одно место, там вас накормят, — говорит Фёдор Игнатьевич.

— Ладно, иди, дядька. Знаем мы вашу кормёжку. Загоните в трудовую коммуну. Мы — к воле привыкли...

Дети скрываются в тёмной подворотне. Идет снег. Троицкий поднимает воротник своего куцега пальто. Знобит. Как бы не слечь с температурой. Надо срочно отоварить свою и детскую продуктовые книжки.

И ещё одно событие 1923 года надолго запало в памяти Фёдора Игнатьевича. Письмо из Германии. На звонок почтальона выскочила соседка Дарья. На её визгливые крики: «Нету здесь таких, и никогда не бывало», доктор Троицкий вышел в коридор. Дарья кинулась к нему: «Вот письмо из неметчины. Ужас какой! Город Мюнхен». Троицкий берёт конверт. Письмо на имя Вербицкого Прохора Петровича. Нервно разрывает конверт. И первые строчки письма ошеломляют его: «Папа, папа, умоляю, сообщите мне, живы ли Вы. Живы ли мои мальчики...» Боже, это же отец Саши и Пети... Вербицкий, это же фамилия умершего деда мальчиков.

Дарья заглядывает Троицкому в лицо: «Этот проклятый НЭП. Буржуи проснулись? Сами в Германии, а квартиру им подавай». «Нет, квартира не нужна», — резко отвечает доктор. Комкает письмо, суёт его в карман.

— Это из «бывших», — говорит он, — спрашивает, жив ли какой-то Прохор, который жил раньше здесь. Вы не знаете, жив Прохор?

— Чо знать-то?! Чо знать-то, — засуетилось Дарья, — тут до вас столько народу перебивало. Клавка — была. Иван — был. А вот Прохора не припомню.

— Ну вот, значит ошибка. Не волнуйтесь. Советская власть Вас в обиду не даст.

Доктор Троицкий проходит в свою комнату. Разглаживает рукой смятое письмо, читает: «...Я знаю, что переписка со мной сейчас для Вас опасна. Папа, умоляю. Только дайте мне знать, живы ли вы?..»

Доктор смахивает слёзы со щёк. Прямо, как барышня расквасился. Рот сам кривится в произвольной усмешке. Мальчики испуганно смотрят на него. Старший, Саша, подходит к Троицкому, спрашивает: «Это письмо от нашего папы?» «Ну что ты, Сашенька, — доктор обнимает мальчика за плечи, — ты же знаешь, твоего папу убили на войне».

Наутро вызвали к госпитальному начальству. Сказали, в Гаврилов-Яме открылась больница. Нужен главврач. Предоставляется двухкомнатная квартира. Не раздумывая, Фёдор Игнатьевич согласился. С Ярославлем его больше ничто не связывало.



Валерий МИШИН

/ Санкт-Петербург /

* * *

звезды ярче в промежутке
между ноль часов и часом
кто-то из суфлёрской будки
наблюдает с интересом

после третьего бокала
небо и земля едины
это только лишь начало
новогодней викторины
каждая звезда в бокале
между ноль часов и часом
в риме или ватикане
из созвездия пегаса

* * *

зима это некая общность
для сохраненья тепла
оно исчезает досрочно
стараешься чтоб не дотла

земля это разница взглядов
разлады раздоры тротил
каким ты достигнут раскладом
и кто тебе жить запретил

зима расстановка предметов
по спискам и по летам
но с возвращением лета
пройдёшь ли по тем же местам

зимою земля неприступна
возьмёшь её только кайлом
преступник или отступник
узнается задним числом

* * *

тогда мы сидели за партами
грамматика с арифметикой
назывались предметами
поэты становились бардами
барды назывались поэтами

из тетрадей в полоску и клеточку
делали самолётики с парходиками
чтобы отправить весточку
часы назывались ходиками

синтаксис влиял на фонетику и морфологию
небо в клеточку и жизнь в полоску
были испытаны нами
но желая идти прямой и светлой дорогой
не всё называли своими именами

* * *

день к полдню
жизнь к закату
рад будню
и формату

с долей форта
было бы проще
нужны плацкарта
бронь на погосте

а ты-то думал
взлететь высоко
опомнись дурень
там божье око

* * *

захорошело человечеку
в углу прижаться и забыться

уже стремиться вроде не к чему
не надо изъясняться в лицах

по электрическому проводу
спускается полоска света
и нету никакого повода
жизнь измерять до сантиметра

* * *

был человек и сразу нет
остался на стене портрет
пара стоптанных штиблет
ещё полпачки сигарет

да человек как будто был
говорил страдал любил
извёл достаточно чернил
бокал последний пригубил

чтоб подтвердить был человек
покуда разум не померк
он на прощание изрек
живи мой суматошный век

был человек теперь уж нет
остался между тем берет
а также плохонький жакет
в другой жакет был он одет

осталась пригоршня монет
поломанный велосипед
дров для камина с кубометр
и незаконченный сюжет

* * *

человеку с белой тростью
налейте до краёв стакан
угостите папиросой
будет он блажен и пьян

папироса винокурит
повышает градус
и какую-никакую
доставляет радость

слово для него не зримо
часто бестолково
вероятно вместе с дымом
не исчезнет слово

* * *

когда-то это вправду было
луна действительно светила
а не отражала свет
не сохли на губах чернила
и как определил поэт
любимый цвет был violet
и ты перекрестясь любила
и он любил в ответ
хоть время заходило с тыла
судьба сама всё предрешила
создав двойной портрет
и тем задачу упростила
осталось подобрать багет

* * *

это всё когда молодо
без руля без пропеллера
это всё когда с голода
и когда от безделья
это всё когда кучею
когда дракойсобакою
это всё когда к случаю
когда всё за баракком
за сараем за ригею
за копной за скирдою
это всё когда с фигою
всё одной чередою

* * *

сегодня ты распути
с государем пьёшь на кухне
с императрицей водишь шашни
а завтра бляз по шапке
уконтропутили
на горле удавка
яд в стакане

пуля меж губ
в мясной лавке
работа без правки
под воду труп

о господи где ты
корнеты кадеты
карпаты судеты
солдаты солдаты
через европу окопы
мистические знаки
газовые атаки
трупы трупы трупы
бес ли попутал сам ли бес
вот те крест
крест крест

* * *

рояль в кустах считай за танк
вблизи другие инструменты
сорвать попробуй в поле мак
вряд ли сорвёшь аплодисменты

стрелять начнут без подготовки
успеть бы ноги унести
лучше выращивать фиалки
и музицировать в клетки

тебя учили нотной грамоте
к ней приобщён репертуар
сумеешь повторить по памяти
успел бы только санитар

тебя поднять и с поля вынести
потом до дома доволочь
зависит всё от божьей милости
бывает помогает врач

* * *

за окном череспогодица,
на окне чересполосица

ветка строго по числу
чертит от угла к углу
почеркушки по стеклу,
вычитая по листочку
из окна в пробел межстрочный

и случайный человек,
силясь вычислить ночлег
и по почерку прочесть
достучится ли, бог весть,
чередует: ждать и бечь

* * *

тень ложится поперёк
образует частности
разность рук и сумма ног
признак несуразности

налево выход запрещён
направо ограничен
знак висит — кирпич на нём
за ним стена кирпичная

ЯБЛОКО

яблоко тобой надкушенное —
облако сбившееся с курса
облако повисло на карнизе
яблоко без смысла в вазе

яблоко тобой надкушенное
ещё покуда не огрызок
переводя в аспект искусства
назовём его репризой

можно откусить с другого боку
соблазнённым быть заочно
яблоко сравнимо с облаком
может быть не очень точно



Сергей ВИКМАН

/ Ганновер /

* * *

В деревне у реки заброшенный кабак.
Склонившись над водой, желтеют ивы.
Прощаться нужно, но не хочется никак,
а в миске маринованные сливы,
и на стене в обнимку два стиха,
как память о прощанье и попойке.
Судьба неумолима и глуха,
и плакать хочется под дверью, вторя сойке.

* * *

Осень под вечер и в черной холодной воде
красные листья лениво куда-то плывут.
Лодки почти непокорные твердой узде
вниз по теченью дорогу зачем-то ведут.
Парус намок под прошедшим сегодня дождем,
ивы поникли и просят вернуться назад,
ну так чего мы с тобою от этого вечера ждем
и говорим, и смеемся опять невпопад.
Здесь по несчастью, наверно, закончилось всё,
какие там сосны, и гуси плывут наугад,
наверное, можно бы было найти у Басё
надежду для тех, кто не ищет от жизни награды.

* * *

У замка Ангела в воде зеленой Тибра
серебряно качается луна,
и в небе статуи попыткою верлибра
застыли вдоль моста и предлагают «на»
себя туристам из далекого Китая,
и чайкам заселившим древний парапет,
они жилье друг другу подбирая,
упорно ищут здесь спасение от бед

Александр СЕВАСТЬЯНОВ

/ Москва /



* * *

Я вкушаю горький кофий
В Коктебеле под луной,
И глядит Волошин в профиль
Пред собой и предо мной.

Погоди, Волошин, вскоре
Вездесущая зима
Ледяную кромку моря
Изломает о шторма.

Но грустить о том не нужно:
Лето нам вернет уют,
И цикады хором дружно
Нам о счастье пропоют!

06.09.14 г., Коктебель

* * *

Предощущение покоя,
Уют и теплую постель
Я променял на шум прибоя,
Я променял на Коктебель.

Былые радости и горе,
И сладкий мед, и горький хмель
Я променял на запах моря,
Я променял на Коктебель.

Весь сок столичного отстоя,
Московской жизни похабель,
Свое мычание простое
Я променял на Коктебель.

Коктебель — Москва, октябрь 2014 г.

* * *

За что мне эта выпала награда?
Легчайших облаков волнистые стада,
Кочующие в небесах Белграда,
Дуная вольного неспешная вода...

Отшельник поневоле — вот беда! —
Я чувствую: в раю есть привкус ада.
И в перемене мест ищу отраду,
В себе повсюду замкнут, как всегда.

Москва, Париж, Белград, веселый Коктебель,
Из городов и верст блистательный коктейль
Я пью, от впечатлений не хмелея,

Но что-то мне твердит, что перемена мест
Под старость лет мне тоже надоест
И я о берегу далеко пожалею.

Белград, 08.11.14 г.

* * *

Тебе дозволил Бог (а может быть, и боги),
За то, что ты в Москве сидишь и не шалишь,
Глазеть по сторонам, передвигая ноги,
И впитывать Белград, как некогда Париж.

Где пробегут еще твои пути-дороги?
В какую из столиц ты завтра прилетишь?
Какими из чудес свой ум обогатишь?
И где в конце концов ты подобьешь итоги?

Глядишь сквозь толщу лет: куда все утекло?
И жизнь мерещится сквозь мутное стекло.
Клянусь, тебя б друзья былые не узнали!

И даже зеркало тебе порой дерзит:
В ночном отеле твой портрет отобразит —
И узнавать себя захочется едва ли...

Белград, 08-11.11.14 г.

Елена МОРДОВИНА

/ Киев /



ПОЧТИ ДВЕСТИ

Маша любила готовить фаршированную рыбу. Нет, возиться с рыбой — чистить, выковыривать глаза, вырывать колючие жабры, осторожно вырезать рыбье мясо на фарш ей совсем не нравилось — так, обычная кухонная возня. Ей нравилось, уже когда рыба варилась, сидеть на кухне, читать газету и попивать клейкий рыбный бульон яркого свекольного цвета, сладковатый, с пятнами расплывшегося по поверхности подсолнечного масла. Сначала она зачерпывала одну чашечку — как бы проверить соленость, потом вторую, после того, как досолила, затем еще — проверить, как чашка липнет к губам. Все эти причины она не забывала в уме отметить, чтобы объяснить свои праздные посиделки с бульоном мужу, Александру Израилевичу, которого обычно эти объяснения не интересовали вовсе. Он заходил на кухню, грозным взглядом смотрел на Машу, произносил что-то вроде: «Снова пьешь свой рыбный клейстер. Завтра плохо будет», — и удалялся. Назавтра Маше действительно становилось плохо — у нее еле открывались глаза, как будто склеенные этим рыбьим клейстером, от которого даже чашка отмывалась с трудом, все тело отекало, словно налитое свинцом. Она потихоньку вставала, стараясь не разбудить мужа, и шла проверять, красиво ли застыл в холодильнике фаршированный карп.

Ужинают. Слушают новости: «В Норвегии началось «Послезавтра» — в океане заморозились миллионы рыб. Норвежское национальное радио сообщило сегодня о мгновенной смерти миллионов рыб в заливе на острове Ловунд, Норвегия. Температура воздуха в данный момент достигает минус 78°С в сочетании...»

— Хорошо-то как! На залив сходил, рыбы наломал под водочку...

«...после принятия жестких законов о подавлении протестов...»

— Как я их ненавижу, — Александр Израилевич поднимает рюмку. — Желаю всем им сдохнуть!

— Нельзя никому желать смерти, — говорит Маша, скорее, чтобы досадить, поскольку муж в последнее время мучается мыслями о смерти.

— Тогда посылаю им луч ненависти!
— Смотри, пожелаешься! Распустишься весь на лучи ненависти, как старый шарфик.

Кролик выходит очень удачный. Пока он еще тушится, Александр Израилевич наливает по первой и выуживает печенку с почками.

— М-м-м! Печеночка очень правильная получилась, сладковатая, как в детстве, сейчас попробуем почку.

Накалывает на вилку почку со свисающим жирком, которую Маша полчасика назад пальцами вырвала из чресел, кладет в рот... Замирает, закатывает глаза, откидывает голову и, блаженно зажмурившись, на несколько секунд замирает снова.

Отмирает.

— Так, теперь улыбнись.

Александр Израилевич в недоумении.

— Давай, давай, улыбайся, кому говорю.

Улыбается.

— Вытяни руки вперед. Давай, делай, что я сказала.

— Зачем это еще?

— Возможно, у тебя только что был инсульт, но ты об этом не знаешь. Во всяком случае, выглядело очень похоже.

Александр Израилевич читает Штейнзальца:

— Послушай, как красиво: «Вечность — это Иерусалим». Тракта *Брахот*, 58а.

Маша вытирает пыль с листьев юкки над диваном:

— Разлегся под пальмой и читает. Вот и вся работа. Обезьяна, прости господи.

Завтрак.

Маша готовит сырники из нежирного творога.

— Ты сам просил добавлять не больше двух ложек муки. Теперь тесто даже не скатывается в колбаску.

— Мне не нужно, чтобы скатывалось в колбаску. Мне нужно, чтобы было вкусно. А это — вкусно.

— Но это не сырники! Это коровьи лепешки, которые растекаются по всем кочкам и канавкам. Ты посмотри на них.

В постели.

— Да, как-то необычно сегодня было.

— Так мы скоро до плетей и наручников дойдем.

— Ну, а что, сколько лет вместе!

— Двести...

Маша возвращается с дачи.

— И с кем ты сегодня завтракал?

— Какой смысл это спрашивать? Как будто тебе ответят начисто. Один!

— А почему в раковине два столовых ножа? Тарелку с вилкой вымыл, а нож забыл? Все равно найдет, что ответить, а я останусь сумасшедшей ревнивой бабой. Начинаешь привыкать к таким вещам...

Маша продолжает греметь посудой и слушать радостную утреннюю передачу деловой радиостанции.

Сломался холодильник. Александр Израилевич вызвал мастера. Холодильник вдруг заработал.

— Пойду заберу продукты у соседки, а тебе пока вот — редиска и огурцы, помой, пожалуйста, и обрежь.

Александр Израилевич приносит пакет от соседки. Маша хлопает огурцом и редисками о столешницу:

— Вот. Помыто и обрезано. Как в лучших синагогах Парижа.

Александр Израилевич морщится. Маша разворачивает на тарелке запеченную в фольге рыбу. Он подходит и обнимает ее за талию.

— Я тебе уже объясняла, что не могу делать несколько дел одновременно. Только что — рыба и картошка — забыла полить лимоном рыбу! Отвлекусь и все испорчу.

— Не можешь делать несколько дел одновременно — значит, не отвлечешься.

— Тогда ударю копытом.

— Ты же у меня птиченька, у тебя нет копыт.

— Ну, есть же какие-нибудь мифические птички с копытами?

— Какие такие птички, ну, скажи, скажи!

— Пегас, например.

Пришли гости.

— Да я могу назвать тебе человек сто пятьдесят, которые пьют больше меня.

— Пьют больше тебя? Не может быть, назови хотя бы двух.

— Я хотя бы не напиваюсь как свинья. А многие мои друзья напиваются просто в хлам. Сколько я таких случаев видел, когда человек напивался так, что даже не мог держаться на ногах.

— А скольких ты не видел...

Гости перемигиваются и сразу вспоминают сцены прошлых попок, когда Маша уволакивала Александра Израилевича спать.

— Давайте познакомим Александра Израилевича с моей мамой.

— О, да! Александр Израилевич — настоящий еврейский мужчина, он должен понравиться твоей маме. Ты видела, как только ему положили фаршированную рыбу, он сразу стал искать хрен, настоящий еврейский мужчина.

— Да, как только меня сажают за стол, я сразу начинаю искать хрен. — Александр Израилевич смотрит вниз, на брюки. — Твоя мама не разочаруется.

Александр Израилевич разделявает кролика. Он стоит к Маше спиной, но она видит все, что он делает, в отражении микроволновки, расположенной под углом.

Крестец со свисающими брюшными мышцами похож на летучую мышь.

— Что это у него? Почки?

— Похожи на бобы? Парные, похожи на бобы — тогда почки.

Маша обмазывает нарубленные куски горчицей.

Гуляют в парке. Синички проявляют к ним интерес. Глядят черничными глазками, поворачивая желтые щечки. Александр Израилевич протягивает руку ладонью вверх. Синичка подпорхнула и уселась на пальцы.

— Как я умею птичек приручать!

— Это не ты приручил, это кто-то другой приручил. А ты ее просто обманываешь.

— Как я умею птичек обманывать!

Убирают в квартире. Сняли карниз с окна, чтобы повесить шторы — Александр Израилевич развинтил три винта отверткой и вышел в другую комнату. Маша выковыривает из металлической рельсы пластиковые крючки — пальцем не получается — один крючок зацепился за другой — берет отвертку. Отвертка крестообразная — не просовывается в щель. Маша тянет за ручку — оказывается, что металлическая часть — это съемная насадка, на другом конце которой — плоское рыльце. Она переставляет отвертку и вынимает крючок. Кладет отвертку на подоконник. Прицепляет тюль и шторы. Зовет Александра Израилевича вешать карниз. Встает на компьютерный стол, ждет, когда он подаст карниз.

— Где отвертка?

— Вот.

— Это не та отвертка.

— Это та отвертка...

Она хочет добавить «только другая насадка, надо поменять», но не успевает.

— Это не та отвертка!

— Это та отвертка, только...

— Вот сейчас взял бы, как воткнул бы тебе эту отвертку прямо в живот! Где та отвертка?

Она слезает со стола, осторожно вытягивает из его рук отвертку и меняет насадку:

— Это та отвертка, только нужно было поменять насадку...

Александр Израилевич морщится.

— А какого черта надо было ее менять?

— Я выковыривала крючочки из рейки...

— Надо было обратно поменять, так как было. Б**дь, никакого порядка в доме.

Со спины Александр Израилевич похож на молоденькую вареную картошку — волосатость почти незаметна, так, присыпано кое-где укропчиком.

Маша возвращается с дачи.

— Что, постель перестелил после своих б**дей?

— А ты хотела, чтобы я постель оставил?

— Я бы хотела, чтобы ты оставил б**дей.

Александр Израилевич собирается в путешествие по Прибалтике и Норвегии. Накупил сигарет для друга Женьки. Некоторые просто с надписью («Курение убивает»), но большинство — с картинками. Маша сидит, раскладывает в ряды по картинкам.

— Так, легкие уже были, артерии тоже, а вот «снижает репродуктивную способность» еще не было. Давай так, одну репродуктивную способность оставь себе, а вторую отвезешь Женьке, чтобы не было повторок!

Александр Израилевич морщится:

— Дура!

Кролик впервые был с головой. Пока варился, резцы выпали, и узнать голову среди других кусков удастся не сразу. Голову ест Александр Израилевич, тщательно обсасывая косточки.

— Тут тоже мясо сладенькое.

— Шейка, она у всех сладенькая.

Александр Израилевич смотрит на Машу и расплывается в улыбке.

Александр Израилевич листает Романа Гари и зачитывает Маше строки из романа 1949 года о русских эмигрантах. Маша утверждает, что это чуть ли не слово в слово списано у Ремарка. Продолжают о стереотипах. Потом о русских эмигрантах вообще. О влиянии русской литературы на европейцев:

— Ну, какими русские были в их представлении? Глубоко страдающие, бесконечно ищущие...

— Размашисто рефлексирющие.

Приглашает пойти в театр, недавно состоялась премьера спектакля по Стефанику.

— Говорят, что хороший спектакль. Бывшая жена уже сходила, рецензию написала в своей газете. Ей очень понравилось.

— Так и будем ходить в театр по следам твоей бывшей жены?

Едят невкусный «наполеон» — сухой, крошится и расслаивается.

— Что это за «наполеон»?

— Наверное, это «наполеон» после Ватерлоо.

— Это «наполеон» после смерти.

Рассматривают тетку с огромными сиськами в Интернете.

— Фотошоп.

— Не, я была в женских банях, там и не такое можно увидеть. Когда еще никакого фотошопа не было. И пластики.

— А что теперь в женских банях творится, с появлением фотошопа!

— Ты как-то поменялся в последнее время.

— Это в какую же сторону?

— Всегда был теплым и мягким, а теперь вдруг стал прям растекаться. Это настораживает.

В постели.

— Нельзя так про секс. Секс — это таинство...

— ...причастия...

— ...рукоположения...

— ...переднего предлежания.

— Ну вот, мешаешь грешное с праведным.

— О твоём таинстве каждая собака во дворе знает... И соседка, вон, каждый раз шваброй стучит.

Маша выкладывает на блюдо фаршированную рыбу, похожую на расчлененную лошадь Демиана Херста. Обсуждают концерт Кустурицы.

— Кустурица, между прочим, тоже из ваших — Че Гевара, Фидель... шарлатан еще тот.

— Не обижай моего соратника по борьбе.

— Соратника по моей борьбе? Ну да, ну да. Именно.

Александр Израилевич купил в поездку новый чемодан. Теперь в комнате пахнет, как в китайском магазине «Все по 10».

— Снится мне сон, будто я в пионерском лагере, старшие отряды, и я у них вожатый, то есть, я с ними в одном отряде, но при этом вожатый. Утром объявляется внеочередное построение, я ищу свой отряд где-то в туалетах и в душевых, которые жутко воняют хлоркой — собираю, тащу на построение. А там приехали автобусы, и начальник ла-

геря встречает приехавших — это все попы, и будто бы они приехали крестить пионеров. Я вроде бы с облегчением вздыхаю, меня это как бы не касается, и тут начальник лагеря вручает мне записку. И что, как ты думаешь, в этой записке? «Двадцати шести евреям должны сделать обрезание». Я в ужасе оглядываюсь на автобус и вижу, что кроме попов там еще и эти, с пейсами.

— Теперь понятно, почему ты такой отчаянный борец с религией, это у тебя комплекс обрезания. Ты подсознательно этого боишься, отсюда у тебя отвращение и ненависть к религии вообще.

— Какая же ты дура! Идиотка полная! Ты вообще думаешь, что говоришь? Нет у меня никакого страха! Мне просто мерзко это все! Не из-за какого-то обрезания, а просто мерзко, мерзко, мерзко!

В постели. Маша ложится на одеяло, аккуратно расстеленное на кровати.

— Сколько раз тебе говорил, лежать надо не на одеяле, а на простыни! — Александр Израилевич убирает одеяло, складывает, кладет на сундук.

— Опять эта твоя маниакальная страсть к порядку... И вот что будет, если я лягу на одеяло? Мир перевернется? Что вообще случится?

— Это не страсть к порядку, на одеяле — складочки, на них неудобно лежать, а простыня гладко натянута, никакие складочки не мешают.

— Мне и так не мешают.

— А вот если бы на кровати лежала гора одежды, ты бы тоже вот так сверху улеглась? Вот прям на вот все эти халаты, рубашки, брюки?

— Ну-у-у... еще бы завернулась во все это. В детстве я так любила, залезть с утра в кресло и завернуться в одежду, которая там валяется — так хорошо.

После премьеры фильма «Анна Каренина». Ужин. Куриная печенка с макаронами. Белое вино, водка. Квашеная капуста. Александр Израилевич чокается с Машей, звенит посуда, а тост еще никто не придумал. Внезапно:

— Ну что, за Анну Каренину!

— За нее надо не чокаясь.

— Да ну! Она еще всех нас переживет.

В постели.

Александр Израилевич в нужный момент не может найти презерватив.

— На б**дей вчера истратил, пока я на даче была, забыл новый под подушку положить.

Обижается. Что, впрочем, не мешает ему продолжить. Потом, после всего, вдруг находит. Торжествующе:

— Вот он!

Смотрит на Машу взглядом попанной невинности. Потом кладет голову ей на живот и слушает:

— У тебя так сердце бьется в животе!

— Брюшная аорта. Вот истратишь на своих б**дей все презервативы — тогда и в животе сердце забьется. Так что ты осторожнее!

Снова обижается.

Пришли гости. В компании друзей Александр Израилевич постоянно обсуждает отношения с Машей. Иногда, впрочем, вспоминает что-то другое.

— Была у меня одна такая, которая сперму в окно выплевывала.

— Александр Израилевич, ты бы как-то поскромнее, что ли. У нас гости.

— А что, я же о тебе не рассказываю...

— Можно подумать, обо мне есть что рассказывать.

— ...чем ты занимаешься во время секса.

— А, ты об этом? Как я полосочки на простыне считаю, что ли? Да ради бога. Если бы ты со мной общался в процессе, не пришлось бы мне полосочки считать. А то не может с женщиной ни о чем поговорить, вот и стелет свои тематические простыни. На одной полосочки можно считать, по другой — изучать карту Азии, по третьей — ботанику. Я твою простыню эту картографическую с жирафами уже так выучила, что уже подумываю о поступлении на географический факультет и получении второго высшего.

— А у нас все простыни белые.

— Как я вам завидую... Видишь, когда люди друг друга любят, им тематические простыни не нужны.

От картинок на простынях плавно переходят к теме зарождения кинематографа.

Маша всегда сминает бумажный шарик из салфетки и ходит с ним полдня. Сама не знает зачем. Потом где-нибудь его оставляет — на журнальном столике или в постели. Александра Израилевича это жутко раздражает. Он их потом собирает по всей квартире и вздыхает.

— Маша, ты почему ноги при входе никогда не вытираешь? Не ценишь мой труд! Коврик, между прочим, я чищу, спины не разгибаю...

— Ой, у нас такой коврики, — находит отговорку Маша, — неприятный, какие-то пластмассовые колючки, щетка какая-то. Даже ноги вытереть противно. Давай купим какой-нибудь мягенький приятный коврики... Вот так и с вами, с мужчинами... О некоторых даже ноги вытереть не хочется, другое дело мягкие пушистые тряпочки...

— Не получишь ты мягкую пушистую тряпочку!

Сидят на кухне — разговаривают. Тушится мясо в чугунке. Александр Израилевич уже голодный — проверяет через каждую минуту, жалуются: «Да что ж такое? Жесткое какое мясо! Старую корову подсунули!» Через минуту снова: «Корова старая!»

— А я-то думаю, что же ты за весь разговор ни разу о своей бывшей жене не упомянул...

В постели.

— О, боже! Мои связки! Чудовище, что ты делаешь с моими связками?

— Как что, развязываю.

— Если бы они были для того, чтобы их развязывали, они назывались бы развязками.

— Ну, тогда связываю.

— Ты бы могла перейти в иудаизм?

— Переходить в иудаизм из христианства бессмысленно, это все равно что переводить стрелки часов против хода — часы ломаются.

В постели.

— Мы — животные разных видов. Технически — мы можем совокупляться. Но не можем оставить потомства. Когда ты надеваешь презерватив, ты словно подчеркиваешь это: мы — животные разных видов, мы не можем размножаться.

— Интересная биологическая концепция. Дарвин в гробу перевернулся.

— Ламарк повесился на дереве жизни.

— Шарль Бонне упал с лестницы существ.

Александр Израилевич поет из Окуджавы:

Прощай. Расстаемся. Пощады не жди!

*Всё явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди...*

*Такая вот, б**дь, х**ня, — подпевает Маша.*

Кризис. Презервативы плохо вынимаются, теряются в глубине, приходится тянуться к кольцу пальцами.

— Мы что, в связи с кризисом перешли на новые презервативы?

— Да, подешевле.

— Понятно.

Легат в постели, глядя в потолок. Март. Весна. Слышно, как соседи моют стекла. Однообразный и громкий визг стекла.

— Похоже, они тоже в связи с кризисом перешли на дешевые презервативы.

— Маша, ну, снова эти пятна на плите! Сколько можно?

— Некоторые мужчины просто помешаны на аккуратности. Даже если приведет к себе девственницу, его обязательно разозлит, что она оставила после себя пятна на простыне.

— Тяжело жить с человеком, который относится к тебе с явным пренебрежением.

— Зря ты так. Я совсем не...

— Можно жить с человеком, который тебя не любит, или уделяет тебе недостаточно внимания, но...

— Можно подумать, ты меня любишь!

— По сравнению с тем, как ты ко мне относишься, мои чувства к тебе можно даже назвать любовью.

Заезжают на мойку. Машина медленно ползет под щетки. «На нейтралку, на нейтралку!» — кричит работник в красном комбинезоне.

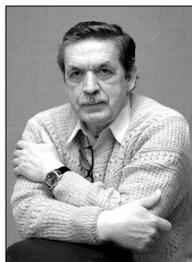
— Когда-нибудь вот так будем въезжать в печь крематория.

— Ага, на нейтралке.

— Ногами вперед.

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

/ Северный Кавказ /



СТОП-КАДРЫ КАНОНАДЫ ЗВЕЗДОПАДА

* * *

...ирреально-линейная жизнь.
нелинейно-реальное время.
фаталист (моралист), побожись:
мол, не крал я заморских царевен!
господин Аладдин, поклонись
поколению цвета индиго.
нановек — это вниз или ввысь
до татаро-монгольского ига?!

Ангельская смелость лёгкого пера

Сергею Хомутову

Строчка затерялась? Долгая зима...
Краденая малость странного ума.

Зрелость или старость? Вёсен кутерьма.
Дробная усталость: строчка — что чума!

Вечная нелепость — дрожь черновика.
Песенная крепость чудо-коньяка.

Горькая угрюмость. Сладкая тоска.
Высветила юность профиль старика.

...Боженьке хотелось высвистеть с утра
Ангельскую смелость лёгкого пера.

у войны четыре цвета

...у поэта — право вето.
остальные — на Майдан.
догорает сигарета.
Пушкин слушает цыган.
одноклассник — без билета! —
прямым на Магадан.

у солдата — право страха.
приказал майор: смердеть!
под папашой вурдалака —
трагедийная комедь.
у Христа, Аллаха, Баха
главный козырь — смерти смерть!

у войны четыре цвета —
красный, белый, чёрный плюс
голубой... грядёт вендетта?!
сновидений убоюсь.
однокурсник, ты ли это
аннексируешь марушь?

у пророка — право страсти!
осуждающий порок
у порога подлой власти
беспристрастно одинок.
разорвавший Крым на части
рано празднует подлог.

на ребре стоит монета:
брат на брата — дантов ад?
рай — под дулом пистолета —
над акцентами цитат?

...у поэта — право вето
на диктант и на диктат!

затяжной прыжок

...от села Тараторкино до села Тарабарово —
через полстраны сорок суток вскачь! —
мимо чёрного ворона, мимо белого варвара
пронеси алмаз, озорной рифмач.

переправы горят — порасспрашивай Тёркина!
чехарда озёр, городов кадрили:
над русалками, ведьмами, вятками, ёлками
затяжной прыжок — дельтаплан в утиль.

карамболи судьбы воскрешают Хабарова:
тары-бары — в хрен! ёлы-палы — в глаз!
правнучатый племяш, зависая над сварами,
под байкалами помяни Кавказ.

загогулины рифм, родословная росчерка —
открестился сын, отрицает внук...
деревушка дрожит и вельми озабочена:
тараторят все! ну а вдруг — каюк?!

из села Тарабарово до села Тараторкино
не кино везти, а лукошко фраз.
Тарантино — в окно! самогонка с икоркою...
херувим хохмит: полубес — анфас.

...у Кремля прокричат голодрыги-эпитеты:
сбереги алмаз, роковой трюкач!
от стиха до стиха — через тереки-вытегры.
насмеялся всласть? а теперь поплачь...

* * *

Анатолию Богатых

Один семь сотен песен написал,
Другой увяз в болотах монологов...
Тому, который вечно-сам-с-усам,
И десяти стихов казалось много.

Зачем считать? Кого судить? Постой...
Мучительно слагаются молитвы.
Несбывшихся поэм — давно за сто!
Внезапная строка — острее бритвы.

Он тьму катренов ночью сочинил.
Она над рифмой сутками камлала.
Тому, который зол-но-очень-мил,
И «Слова о полку...» казалось мало.

простой каприз

...придумай случай для... влюбиться —
всерьёз, внезапно, вопреки!
и заворкует голубица.
и присмиреют дураки.
тебе за сорок? ей за тридцать?
студенты или старики?
увидеть. вздрогнуть. удивиться —
до зарождения строки...

заветный повод для... утешить —
сердечно, тайно, невзначай.
она грешна? пророк грядеши?
ты с чьей женой коньячил чай?
уже смущаешься, милейший?
(ужасен привкус первача...)
— *седьмую ведьму*, — шепчет леший, —
ночной чечёткой привечай!

найди причину для... гордиться —
гитарой, формулой, резьбой.
пожар пожаловал — Жар-птица
над развалившейся избой.
в огне сгорают очевидцы.
врут журналисты вразнобой.
молчат провидицы столицы.
провидицы — за кордон гурьбой.

Никола Тесла — для... воскресли?! —
страна, сестрёнка, сверстник из...
поёт на Красной Пресне Пресли,
Бернес — на Брайтоне, без виз...
...из поднебесья — рифмой, песней:
ты — Беатрис, я — Арамис.
(без сенсоров, сентенций, бестий...)
Христос простит простой каприз.

* * *

По форме — сонет, а по сути — роман.
Четырнадцать строк. (Остаётся двенадцать...)
Нелепо страдать, как герой синема.
Смешно рифмовать и грешно повторяться.

Друзья отмолчались за страшной чертой.
Отец отворчал. Отпечалилась мама.
Загвоздка — в загадке закладки простой:
Бессмертие есть — зависает программа...

Системные сбои девятой строки.
Десятый апостол. Десятое мая.
Весталки, драконы, быки, ведьмаки,
Закладка в романе Стругацких «Хромая
судьба»... И взрывают зарю петухи,
Сжигая пророчества племени майя.

ежевечерне...

...есть алюминий? будет галлий! —
бузил, обласканный богами.
перевирая счёт футбольный,
парил под гомон богомольный.
сожрал медузу, сжёг гербарий,
хореографил, зурбаганил...
ino pasaran! — рефрен глагольный —
ежевечернеалкогольный.

хорей — с какого переляку?! —
поляку приписал ...Итаку.
анапест — выкрест! — выкрик вздорный. —
верлибр — берлинский коридорный.
порви последнюю рубаху:
Афгану — фига! fuga — Баху!..
эфир игривый. дом игорный —
ежевечернезабугорный.

боржоми — с Музой. спирт — с бомжами.
(подружки ангелов рожали...)
рассольник. Гамлет колокольный.
иголка. сольник. диск подпольный.
Байкал. балтийские скрижали.
(друзья в парижи отъезжали...)
любовник скромный. муж крамольный —
ежевечернекарамбольный.

отголосил. отсеверянил.
откуролесил, хutorянин?!
стынь, Пенелопа, на перроне —
другой в Сахаре захоронен.

рифмач, затурканный кремлями.
(поэт... — эпитет обнуляем...)
внук аллегорий, сын агоний —
ежевечернепосторонний.

из биографий: ...роттердамил.
из монографий: ...Дант при даме.
(вздых амфибрахия невольный:
Тредиаковский треугольный...)
хандрит, отвергнутый богами.
чадит. и честно моногамит...
вернётся стих первопрестольный —
ежевечернекорвалольный.

SVSK: часослов

- *предначертанная не встреча*

Я в этом доме запрещён.
Я не вхожу в число имён,
произносимых в доме этом...

Юрий Беликов

Я, запрещённый в мире песен и разрешённый в чатах снов,
Наследникам неинтересен, как прокопчённый «Часослов».

Живу, чураясь бойких басен. Басё, бесспорно, гений, но
Чужой язык взрывоопасен, родной стыдится кимоно.

Язык, крепчай черновиками! — на крыльях странных поэтлад
Лети, пронзаемый веками, покинув грустный Крестоград.

Шахуя жертвенной фигурой, фортуна рифмами терзай.
Толпа считает музу дурой. Банзай, герой! Изгой — Мазай.

Поэт — алхимик, мистик, схимник... и шизофреник, шепчет дочь.
А по сравнению с другими, добавит сын, зануден оч...

Как часто части русской речи, причастные к причудам чад,
О предначертанной не встрече в чертогах Вечности кричат.

Живу, распятый в мире сплетен, — условен крест, бесстрашен дух.
«Полёт шмеля» великолепен, но раболепствует петух.

Школяр скалярных переменных — всесилен дух, локален страх —
Бог, умирающий в легендах и воскресающий в стихах.

подсудимая ундина

...бросит камнем — виноватый —
 в ту, которая невинна (?).
 подбоченится картинно
 адвокат молодцеватый:
 прокурор, на полувздохе
 подари надежды лучик...
 (приговор судья озвучит —
 от эпохи до эпохи).
 завершаются дебаты...
 пострадавшая — прекрасна?
 (прокурору — три пиастра).
 поворот замысловатый...
 штат Айдахо — для пройдохи?
 град Архангельск — дьяволятам?
 Гавриилу — мирный атом!
 (зарифмованы подвохи...)

приговор витиеватый
 поздногато вызревает...
 зри! причина заревая:
 неподсуден виноватый —
 подсудимый... защищался!
 (дрогнет мушка карабина...)
 задунайская ундина
 посулила чашу счастья.
 ...а развязка беспристрастна:
 подсудимая — прекрасна!

Рецепты спасений

Безумец, ревнивец, упрямец и дале —
 Печальный счастливец, миндальный идалго,
 Любимец отличниц в шинели Мишеля,
 Личин и обличий — для тыщи мишеней.
 Ревнивец, упрямец (который безумец)
 В портретный румянец вонзает трезубец.

Алтайский затворник, кавказский затейник,
 Разбойник, раскольник, безбожник, бездельник.
 Отец — полужирным! Поэт — нонпарелью?!
 Шаман, расскажи нам былину карелью.
 Вздыхает дедуля (который безбожник):
 Сюжет на ходулях? Надёжен треножник.

Испанский мечтатель, французский мыслитель,
Радетель, старатель, свидетель, вредитель.
Калиф калифорний сигналит из Дели:
Три месяца — вторник, верни понедельник!
Крамольный Румата (который Ярмольник):
Планета измята, кровав треугольник!

На русском, английском, иврите и дале —
Роман альпинистки «Маэстро скандалий»;
Конспекты китайца «Московская кома»;
«Почаще скитайся!» — акцент астронома.
(Парижский котяра признался: каширский...
Накажет фигляра прапрадед чеширский!)

На шведском, немецком, ненецком и боле —
Трактат о дворцеком, летящем на бомбе;
Баллада о принце, воскресшем три раза...
Мальчонке приснится рисунок Тараса...
Крещатик весенний... «Откель, фулиганы?!»...
Рецепты спасений — от Ганга до Ганы...

* * *

В те поры, когда венценосцы дичали,
Молчали шуты, умножая печали.
Мычали поэты про *чудище обло...*
Младенцы кричали, старухи скучали,
Ворчали братчане, стучали сумчане,
Медведи мельчали — громадилась вобла.

Над Крымом ...подлодка маячит ночами,
Под Ладогой — водка! — судачат крымчане.
...озорно за Клязьмой, — очнутя пророки.
...огромно, стозевно, — студенты скачали.
Позорно на Темзе, — чудит англичанин.
...и лаяй датчанин, взорвав караоке!

В те поры, когда царедворцы рычали,
Обломов мочалил, давясь куличами:
Высокие страсти — метафоры рая...
Онегин, чинуши, как прежде, — сычами.
Печорин, в какие отчизны отчалим
Из чрева державы стозевого лая?!



Алексей МАКСИМЕНКОВ

/ Санкт-Петербург /

ЗВЕРЁНЫШ (роман)

Глава I

2013

...зимний день в Питере.
...солнечный
...редкий.

Бар прохладный, тихий. Пиво. Баварские колбаски с пирожным.

...полумрак
...липкие пальцы
...холодная чашка
...грязные четкие отпечатки.
Мерзкий день.

90-е

Бычок обжигающе-липкий, рука в заторможке, мозг в отключке — храпит резиновое цвета крем-брюле мертвое тело; булькает горлом. Свисает полено с липкими пальчиками, тлеет ватное одеяло серым дымком по грязным сугробам. Тихо в квартире, только собака скребется у двери.

Редкий зимний день по-зимнему светел, заснежено. Только не знает об этом тело, развалившееся на подстилке. Бегаёт оно по травке, это мертвое тело, смеется, булькает аж от удовольствия. А ты знай себе — качаешь, бьешь по груди: оживай, мертвое тело. Булькает — значит, живое. Живое мертвое тело. Пульса нет. Резина. Губы фиоле-

товые, зрачки закатились, и только звук воздуха в глотке. Первый раз страшно. Качаешь, качаешь — первая помощь — вдох-выдох, рот в рот. Противно. А оно бегаёт по зеленой траве и смеется.

В другой раз — не страшно. Уже не волнуешься так, уже твой пульс так не стучит оглушающе, руки так не потеют от волнения. Уже равнодушно-медлителен. Оживет. Уверен. Минут пятнадцать покочевряжится и оживет.

Привычка. Привыкаешь к угрозам. К шантажу. К суициду. Первый раз страшно. Ванна, залитая кровью, вода бурого цвета, красная шерстяная ниточка на запястье мокрая, а дальше — кровавые губы от сих до сих по несколько на каждой руке, выташнивают запекшиеся сгустки крови. Голова под смесителем с длинным носиком в край ванны упирается, член набухший буйком плавает — маловата ванна для такого мужика.

«Мать, я повешусь, дай денег!» — шантаж. «Брат, Валерка. Сука ты, а не брат» — угроза. «Валерка, в последний раз, беги, скажи: повесился» — просьба. Первое время Валерка бегал. А потом надоело. Первое время и Малыш верила: выбегала из дома в тапочках, под дождь, задыхается, слезы текут. А он ждет. В окно выглядывает или на кухне инструмент готовит, а услышит ключ в двери — начинает вешаться.

Слезы, мат, угрозы и мольбы о прощении, выстаивание на коленях и закрытие дверей, игры с ключами — первое время — мирное существование на месяц, неделю, на два дня, на час. А потом ей надоело: «И не проси, и не приду». Потом вешаться стал взаправду. Бог спасал. То веревка оборвется, когда на кухне, на газовой трубе висел, то «скорая» вовремя примчится из ванны доставать, то брат по глупости пораньше от телевизора оторвется:

— Что там? — мать лежит, телек смотрит, спрашивает. Валерка в кресле за подлокотники держится, чтобы кресло не развалилось вкопец:

— Вешается, наверное. Посмотреть?

— Нет, не надо. — Время течет, телек смотрят; шум в коридоре затихает. — Ну, что там? — Волнуется.

— Щас схожу.

Вонючая лужа, мокрые джинсы, задница едва касается пола, удавка на шее крепко повязана на турнике в коридоре:

— Повесился, — с растяжкой так, матери в комнату заглянув, общил.

— Жив? — тоже спокойно так, лежа, уткнувшись в телевизор.

— Щас посмотрим.

Валерка — на кухню, за ножом, по длинному коридору мимо брата, неспешно. Отпилел. Снял. Откачал. Рот в рот. Противно.

Рвотное слово «зачем» в ушах Валеркиных засело. Действительно, зачем снимал, зачем спасал? Или мало тебя бил по шее и

посохом по чертям, что на материнской спине, руках, голове, бедрах расселись. Не, мать не бьет, он чертей выбивает, а потом прощение просит.

Но если он так плох, зачем любишь? А кто от адвоката мать спасал в девяносто каком-то? Помнишь, тот еще в комнату к тебе заглянул, денежку на ковре увидел: «Что упало, то пропало», — и в карман к себе. А как выпил (адвоката угощать надо), так к матери под юбку поперся. Помнишь, брат тогда мать защищал, а ты только мешался, не понимая, отчего мать в кабинет бросилась; «мал» был — чуть старше восемнадцати. Теперь поумнел. Но сильнее не стал. Худой полного одолевает. Жилистый, цепкий, если не сутулиться, то вровень с Валеркой будет, но в вышину не стремится, к земле тянется, к травке-муравке всякой, быть незаметным, с толпой слиться.

Не судьба.

Нет жилки в нем коммерческой, не прошел школы «перестроечной»: не служил в кооперативах, не продавал всяко-разно-нужно-ненужное, не приобрел опыта выживания в талонной системе, — от того и не понимал ценность копейки. Все жить хотел на широкий шаг, все разбогатеть «легко» думал, а не получалось, всегда «выпускник перестройки» хитрей оказывался, на длину руки ближе к прибыли.

Опыт — его не купишь, его прожить надо, а Витек в тюрьме всю «начальную школу» просидел. И воровать особо не умел, не был карманником, на подхвате все, да и совесть, сволочь, реакцию затормаживает, вперед бабки в пекло лезет. У стариков не брал; на шухере все стоял, а как поймают, так молчок. В теории знал воровскую науку, а практика не поддавалась, своих не выдавал и подставлять других не умел. Оттого и висели на нем и мал и стар: то Верка-карманница таксиста разведет — весь день проездит по делам, а потом вместе с таксистом до квартиры Витькиной, дескать, жди, сейчас расплачусь, а он, лох, ждет, а она в окно и тикать, а кому платить-то? Таксист — не промах, друзей зовет. Голова крепка, да бита крепче. Нет, не было у Витьки жилки коммерческой.

Не в том веке Витька родился, не в том. Он и сам понимал, все страдал о дворянских корнях, о жизни белогвардейской; вот где показал бы себя — красных к стенке и вся недолга, а сам с розовыми крышешками возился, в аквариуме выращивал, от обычной серой мамаши. И только в экспедициях на сурков охотился, а те встанут и смотрят вдаль, а он их камнями, шкурку сдерет и всем отрядом — праздник — мясо на обед. Ему бы в Испании жить в веке восемнадцатом доном Сазаром де Базаном. Носил бы куртку из шкуры теленка, штаны кожаные да шпагу. Но в душе ближе был ему век девятнадцатый. Ох, и кромсал бы он революционеров, Лениных всяких.

Но видится иная картина. Бунтарем он здесь появился на свет, бунтарем помер бы и там. Стал бы революционером, террористом. Это здесь, в тюрьме, свечку царю ставит, боготворит, а там за идею —

бомбой, да на эшафот. А возможно, прожил бы дольше и был бы расстрелян большевиками, либо кончил, как многие — разочарование, морфий, смерть.

2013

Валера сидел в баре, скрывшись от шумной площади. Он нырнул в это тихое место после долгого хождения по Сенной площади, когда, испустив крик отчаяния, напугал прохожих и себя столь неожиданным воплем.

Разве думал он о кошмарах вчера и днем сегодня? Уже года три как соседи не стучат по привычке по батарее, заслышав ночью музыку или движение мебели. И уже лет десять как в квартиру не врываются менты по ошибке, не заставляют срывать майку, проверяя локтевые сгибы — не ширяешься ли.

Валерка был наркофобом — боялся наркоманов. Чуял их, обходил стороной. В один автобус с ними не садился, из вагона метро выбегал, а сегодня — бок о бок, лицом к лицу, коленка к коленке оказался в замкнутом пространстве маршрутки.

И ладно бы какой подросток прыщавый, что в куртке с капюшоном в беспричинном хохоте энергию выбрасывает, фонтанирует, — наркоша явно только что откинулся. В ботинках, да без носков, а на щиколотке тату с крестом, и глаза пустые. И пальцем тычет, а кисть вся изрисована; и лепечет — ответа требует. Валерка его хорошо запомнил. Не смотрел на него — в угол жался к соседкам, что к нему жались, — а запомнил.

Череп наркоши на боковую грань кирпича походил, такой же прямоугольный и узкий, тонкой кожей обтянутый, без капли жира. Нос плоский, битый. Брови белые, волос лишенные. Сам чистенький, не пахнущий, а в неадеквате. Головой о колени бился, рукой по ногам соседей требовательно бил — с пола сдачу подбирал.

Валерка едва остановки ближайшей дождался — выскочил.

Он потом еще долго пешком шел — нервы успокаивал. Долго по площади вышагивал — боялся в метро нырнуть. А потом — глаза брата в толпе, и хруст шприца под ногами, и хохот над ухом... И уже нет площади, а есть квартира. И нет книг на полках, и нет телевизора, и холодильник пуст, и вещи новые «тю-тю», и голые стены, и порванные обои, и запах кислый: «вы что, кошку завели?», и пол грязный, оплеванный, и вечный стук пишущей машинки матери...

Безвременье

Оплавленный снег режет босые ноги; худое тело не чувствует ветра, сухие ветви-пальцы скребут по стеклу глаз. Стекает каплями дождь. Новый день — как ночь. Он идет, не ведая дороги, не чувствуя осколочные порезы, впившиеся граненые «снежинки»; он идет, не

чувствуя боли. Его тело наконец-то спит, мертвое и прорезиненное. Местами оплавленная корка тонка, и он проваливается по колено в стеклянную массу, иногда порывом ветра его сбивает с ног, и он падает на колени, и в ладони впиваются иглы льда; он спит.

Улицы гоняют мусор: снежная пурга, кружась, подкидывает полиэтилен к окнам бельэтажа, шуршит по окнам, влетает за угол и мчится назад. Жестяные банки шумят на тротуарах, сталкиваясь и разбегаясь; ржавая кровля бывшего особняка хлопает в ладоши — грохочет.

Улицы пусты. И только мертвые тела в капюшонах медленно расползаются в подворотни или, едва удерживаясь на ногах, ловят дальний свет, принимая его за такси.

Мертвое тело в джинсах и майке поднялось по зову из сугроба. Оно было среди рвотных масс, липких шприцов, в озаренной полутьме от фыркающей газом конфорки, там, где длинный узкий коридор заканчивается ступеньками вниз, на кухню, где окно упирается в стену двора-колодца, где несколько газовых плит, несколько кухонных столов, где дверь между раковиной и шкафом ведет в шестиметровую жилую комнату-кладовку. Там, в ожидании порции сна, тело ждало спасителя. Их было много — этих тел полумертвых: изрыгающих кишки, опустошенные судорогами, скрипящих зубами; извивающихся мужчин и женщин. Оно было одно из них — лишнее, как и другие, личности — в этом комке грязных опарышей, в серой массе недочеловеков.

Глава II

90-е

Выйти из дома и пройти два квартала до кладбища. Пролезть в дыру всех входящих. По тропе, по колено заросшей, мимо давно ушедших, до поворота и еще дальше вглубь, пока не станет светло и широко. Пока не заблестят драгоценными камнями обелиски неизвестных на центральной аллее, пока не покажется группа в черном, что сидит на соседней ограде, охраняя могилу. Цой. Поклониться. Закурить. Перекинуться парой фраз с охранниками на ограде. Достать водку и пару глотков глубоких за Цоя. И пойти дальше, бесцельно, мимо холма Неизвестным Павшим, допить остатки. Встретить слепого в длиннополом кожаном плаще, ночью, в окружении малышни, обитающего в межтропье. Получить совет и уйти, пока можно уйти.

Каждый день начинается с боли. Ломка тела. Резь в пальцах. Опухшие члены. Каждое утро новая девка с голыми сиськами прижимается к телу. Каждое утро рука тянется к кофейнику, что стоит на полу — липкий от грязи; за носик поднести ко рту и утолить жажду — вода.

Можно встать, можно закурить и помочиться в туалете, можно нахамить предкам, каждый день встававшим раньше. Можно зайти на кухню проверить сковороду, кастрюли, холодильник. Можно взять поест. Можно возмутиться: тронули из холодильника твою миску. Можно пройти по коридору до комнаты брата, где ночью прятал тазик с тряпками. Можно залезть под его кровать и достать бутылки с ядовитокислыми жидкостями. Можно выгнать из кухни мать и вновь замочить в горячем растворителе тряпки из комнаты брата.

Будет кричать от боли, выжимая едкую жидкость. Возможно, и получит каплю жидкости.

Проснувшуюся скотину с голыми сиськами, что зайдет на кухню, открыв путь кислых запахов к соседям — матом пошлет. А ей-то что, ее еще кумарит, ей секс подавай. Он вышвырнет ее из дома, он будет себя пытаться иглой между пальцев ног, на шее в поиске живой вены, а найдет ее рядом с мошонкой. И бурая «моча» в шприце окрасится красными тельцами. И наступит кайф. И замрет тело.

Каждый день начинается с поиска денег. А денег нет. Можно устроиться на работу. Если возьмут. Но нет прописки — после отсидки. Можно и без прописки. Можно без паспорта. Можно сторожем в ларек. Сутки — двое. Месяц отработал. Вечером напали. Избили. Ларек ограбили. Денег не заплатили. Ты — должен. Где достать денег?

Зимой голодно. Собаку кормят. Брата кормят. А ему — объедки. Остатки со сковороды, кашка на донышке. В собачей миске и то больше пищи. «Мать! Дай поесть!» — «Нет еды! Иди заработай!», а еда есть. На подоконнике, за кроватью у матери. Спрятана. Знаю. Лучше книги продам. Больше дадут. Лучше кольцо заберу с малахитом. Лучше.

Продал. Копейку дали. И выбора нет: дозу или еду купить? От голода не ломит. Не опускаю из собачьей миски.

А собака боится его и любит. Помнит, кто с улицы в дом взял. Кто от воров спас. Помнит. Любит. Боится. К еде долго не подходит. Воняет еда. Химией воняет. Ацетона ливанули в кашу. В ацетоне варили кашу. Воняет каша. И братец туда же — «опять борщ воняет». Не ешь, мне оставь. Нет. Не даст. Давиться будет, не даст.

Чепранды и Франды. Франды Чепранды. Чепранды наступают. Франды бегут. Прячутся Франды. В кандалах Франды. На свободе Чепранды.

Баунти с пивом: завтрак, обед и ужин. Пива глоток и водка — ополоснуть горло. Вечером — телевизор. Цветной. В комнате матери. Ночью канал эротики. Музыка иностранная. Тихо. А хочется громче. Звук до упора. Музыка плещет в стену. Кумарит. Ноги упали на пол. Тело повалено в кресле.

Синее, синее небо. Запах душицы в чае. Сопки зеленеют по содействию. Кажется, там, среди кедра, сверкают ракетные установки. Вертолет поднят в небо, жужжит над ухом, тебя проверяет. А ты, как туземец, лишь в шортах. И на голове — лишь повязка. Костер на солн-

це прозрачен. Все разбрелись. Жарко. Обеденный отдых. Ниже по склону земля холодная в ямах. Там отдыхают туземцы. Ограды. Ограды. Могилы. Там отдыхают туземцы. Их кости очистили кисти. И руки, державшие кисти, сейчас отдыхают на склоне. Вертолет сделал круг над сопкой. Шум ветра. Искупаться бы. Насекомое ползет по стеблю. Синее-синее небо...

И вот стоишь ты в камере. Как был не одетый. В камере. В камере. Камере. Камера. Решетки. Решетки. Решетки. Кумарит. Холодно. Хочется спать.

— А, Витя! Давно ж не заглядывал! Две ночи как не был. Не спать! — и ходит дубинка. — Не спать!

Поле, дорога, овражки. Натужно трещит старенький велик под тяжестью подростков. Лето, жара, мчатся колеса, скользят на уклонах, прыгают по корням. Спешат. А там, в карьере, друзья-приятели уже побросали велики и ныряют. Старший весь вперед наклонился, привстал и ногами туда-сюда, туда-сюда, быстро-быстро педали крутит. Велик ходуном ходит, младший брат его двоюродный на багажнике железном, самодельном почти слетел, в бока старшего вцепился, боится упасть. А старшему — весело. Вот и вода. Оба с разгона, майки через голову и в воду.

Хо-лод-н-ая! Аж выпрыгнули. Аж руками забили. Андрейка не выдержал и на песок рванул греться, а Витька ничего, только дух переводит.

Местная детвора смеется. Они уже оклемались, им все нипочем. А эти головастики только сегодня на дачу приехали и сразу купаться. Вскоре и Андрейка в воду полез. Неудобно, засмеют. А вода хорошая. И совсем не холодная, как в первый раз показалось.

«Мо-ожно нырять», — вынес вердикт Андрейка уже вечером, в доме, за кружкой молока. Все вместе сидят за одним столом. И Андрейка, и сестра его Варька, и Витька тут же. Варька — старшая. Она еще деда застала — Андрея Петровича Павлова, в честь него и назван братец как раз в год смерти деда. Витька же двоюродный им брат. Он Павлов, а они Михайловы, только Андрейка никак не хочет это запомнить. Все Павловым себя кличет. А Витьке — все равно — ему бы в земле ковыряться; каждый день с местной шпаной в лесу, в оврагах, на плацдарме пропадает, какие-то железки домой тащит, даже черепа, тьфу ты. Ее, Варьку, не почитает. Права бабка, дурь в башке от отца, и мать его туда же. Приструнить, а они только хвалят.

Ближе к ночи Витька вновь ускакал, а Андрейку сестра не пустила. «Витьке вообще везет», — думал, лежа на перине в маленькой комнате, что за камином столовой, Андрейка. Он старший в семье, все прихоти его выполняют. Захотел в музей — повели, захотел в театр — повели, захотел в Мав-зо-лей, сладкое слово, так и заснул.

Утром Витьку отчитывала бабушка. Где ночью блуждал, почему спать не ложился, из-за тебя тетя Катя не спала, все ожидала. А Витьке

хоть бы что. Он пионер. Ему можно. Постоит-постоит потом, подойдет к бабушке, а та на скамейке в саду под навесом — любимое место — сидит. Обнимет за плечи, прижмется, и она уж не сердится. Похлопает большущей рукой по плечу и скажет: «Ну иди, иди, попей молочка».

Дача у бабушки большая. Генеральская. В два этажа. И местная детвора с опаской заходит. Знает, не побалуешь. Дед Андрей, хоть и был в больших чинах, а дачу строил сам, и место выбирал не по почету, а по душе. После войны предложили ему участок в Комарово. И он было согласился — воздух хвойный, лечебный, а кто как не он, врач, знал достоинства сосново-морского воздуха, — но вот незадача, место там за-по-вед-ное: картошечку не окучишь, парнички с огурчиками не поставишь, клубнику, яблони и прочие прелести деревенской жизни не заведешь. Вот и выбрал он место тихое, от города далекое.

После смерти деда дом постепенно пришел в упадок. Бабушка еще поддерживала порядок: пока внуки росли, с родителей брала мзду за их содержание летом. А после и она сама уже требовала ухода.

Глава III

1992

Помнил тот день Витька отчетливо, и мысли помнил, и УАЗик помнил, и наручники, и мамины руки, и запах маминых тапочек. Но брату пересказывал кратко, обрывками, запивая виски, зажевывая сигарами.

— Их было двое. Пока ехал — верил.

А они: «А точно даст?»

А они: «Смотри, посадим».

А я: «Даст. Да клянусь, даст!»

— В шестнадцать лет впервые попробовал наркоту. В августе, когда квартира была в распоряжении. Пили портвейн с пацанами, с Машкой травку курили, на материнской кровати. А потом, Макс сильно уколол. Машка смеялась. Да я особо и не сопротивлялся. Так, ничего интересного. Связал и вколол.

Квартиру менты сами открыли...

Я мать позвал. Громко позвал, а она не слышит.

А они: «Отпусти, не сбежит».

А я: «Мать, — и в комнату рванул, — мать, денег дай, посади!» — я думал, она даст. А она только голову подняла и вновь в рукопись уткнулась.

— Я... пр-просил.

А она: «Денег нет».

А они: «Пошли!»

* * *

Андрей с Витькой в нарды играют. Виски пьют, сигары курят.
— Ко мне бы привел...

Витька с Андреем ровесники, три года не в счет. Пока Витька в поле среди вольнодумцев, бессребреников, студентов: приключений ради бросившие свои дачи, коммуналки, друзей-собутельников, жен, детей, — Андрейка в нормальной среде рос.

По вечерам Варька дозваться его не могла, пропадал в соседских дворах, а придет: вечно в мазуте рубашка, руки и лицо в машинном масле — ни пить, ни есть — дай в моторе поковыряться.

После армии — таксистом стал. От отца, что мечтал о третьем поколении врачей, «получил удар в пах», с тех пор и не общались.

Путь Андрея и его принципы не были оригинальными: жить в мире, дружить с соседями, ни в чем не нуждаться; иметь дом, жену, сына; их обеспечивать.

Домом стала дача. Сын не прожил и года. Жена сошла с ума.

В девяностые годы, как и все, он учился жить по-новому. Многих друзей схоронил. Сам едва на нары не сел, но удержался. Дедовский характер помогал: бизнес свой в девяносто шестом прокурору не подарил — сжег. Сам залег. А потом вновь на ноги поднялся, тогда и дачу к рукам прибрал — родовое гнездо все ж; жену приобрел, сына родил. А потом понеслось: любовницы, машины, бизнесы. И вновь на краю остановился. И каждый раз — дача была его замком, его лежкой, его местом силы.

— А ты бы дал?

— А зачем? У нас свои есть, прикормленные; договорились бы. И, кстати, в шестнадцать лет ты еще не кололся. Я ж помню. В ПТУ начал...

Тихо в квартире Андрея: мать на дежурстве в больнице; снег за окном; кошка на кухне скребется, трещит холодильник. И только кубики-кости бьются о доску.

В последних числах февраля, после пережитого потрясения, Виктору захотелось на дачу. Казалось, достаточно приехать в холодный, остывший за зиму дом, и ты вновь окажешься в раю детства. Только ключи от этих врат были в руках Андрея, и делиться ими он ни с кем не собирался.

Глава IV

90-е

Билли-Билли Билли Бом, так звали симпатичного мальчика и отличника в школе и во дворе. Его мать была учительницей английского языка у младшего братика Вити. Сам же Билли Бом был скорее ровесником Вити, а то и чуть старше. По «наговору» соседей его посадили на два года, но мать, а сердце не обманешь, всегда знала — сын не виновен. Билли вышел из тюрьмы в том же году, что и Виктор. Они даже жили в одном районе, в шаге друг от друга, но познакомились только год спустя.

Как-то раз, когда Витю ломало, а наркоты в известном месте не оказалось, и товарищи по несчастью ничем помочь не смогли, да и кто ж поделится за просто так, и водка, что у Верки-карманницы из соседней пятиэтажки, не помогла, и все знакомые в долг не дали, — бросился он в Невский район, на рынок, солому покупать. Деньги у матери выклянчил, немного, но хоть что-то, и братец дал, на кулек только-только и вышло. Солома на редкость удачной оказалась. Хорош-шо пошла! На две замочки хватило. Вот тогда и возникла мысль: «А почему бы и нет. Это же так легко — и себе, и другим. И долги отдам».

Да только... кто ж дома-то делает? Только дураки и делают. На весь район, а то и шире слывился Витя своим «кулинарным» мастерством. Из топора аль из соломы кашу варить ума не надо. А вот попробуй из тряпок, что по два-три раза прополощены, и, кажется, уже выжать нечего, выцыганить капельку-другую. Вот где мастерство! А еще как подать. Умел Витя мягко иглу ввести. Нежно так, ласково. Ни капельки не прольет. Все в вену, все в родимую.

Каждый день наполнялась комната страждущими, нищими, теми, кого через год смело уже можно будет назвать бомжами, а пока они еще числятся в своих хоромах, еще выполняют свой семейный долг, являясь сынами, дочерьми, мамами и папами. Они еще живы, еще мечтают, еще надеются. Но пройдет совсем немного, и тропы пролягут поверх их могил.

Впервые Билли нагрязнул в «приют страждущих» осенью 1992 года. Забрал за долги семейное зеркало из красного дерева, что во весь рост в темном углу Витькиной комнаты стояло. Никто не смел до него зеркало тронуть: ни обыски, ни друзья-наркоманы. Зеркало то все стороны обходили, темное оно какое-то было, другое показывало: не тебя цветущего, не тебя радостного. Никто и никогда, кроме матери, да и то, как вернулся из колонии сын, в комнату, вечно занавешенную тяжелыми портьерами, с наглухо забытыми оконными рамами, так, чтобы никакой ветерок не проник, — без спроса не входил и с зеркала пыль и паутину не снимал.

Зимой Билли Бом чаще стал наведываться, как-то уж по семейному, по-простому. Особо любил ночью. Нажмет на звонок и не отпустит, пока не спросишь, кто там, а в глазок — только корочка и видна. В квартиру не входил, вдавливался. И вот ты уже к стене прижат и дуло в грудь давит, и ведь знает, сволочь, что Витька-брат дома.

Первое время корочки пугали, как и фуражка, а потом Валерка привык, да и не мент то был. А так, обычный наркоман с пушкой. Только слегка безбашенный. Боялся его Витька. Боялся его и брат Валерка. Глаз его с большими черными зрачками боялся, словно и не глаза вовсе, а дыра бездонная. Мать за мента его принимала. Умел он с матерями обходиться. Только та возопит, как он тут же корочку под нос, и отстранит мать в соседнюю комнату. Уверенно так, поментовски. Но ментом все же не был.

Милиция в те годы иной была. Врываться — врывались. Но корочки на не размахивали. Лишнее. Били сразу. Пистолетом на цепочке, что к поясу крепилась, били по шее. Заламывали руки. Только мать, женщина все же, не трогали. Топтали все комнаты, одеяла сбрасывали. Свет зажигали — а вдруг не спишь? Вдруг притворяешься. И только убедившись, что никто их безопасности не угрожает, успокаивались. Старшего забирали, а Валерку так, для науки, на будущее, ногами. Слегка. Чуть-чуть. Умнее будет.

И Валерка умнел. В институт решил поступать. Репетитора нашел. Не он, конечно, а мать нашла. И в институт поступал, потому что так надо. Так принято. Окончил среднюю школу — значит в институт. А куда еще? Не на завод же.

Жила в их доме этажом выше учительница. Преподавала литературу и русский язык. Звали ее Анна Митрофановна. Русская. Дородная. Крепко на ногах стояла. Двух сыновей воспитала. И муж, хоть и был в разводе с ней, а сидел на привязи. Никита — ровесник Вити, Игорек — ровесник Валерки. Игорек с Валеркой в детстве много времени вместе проводили. Как начнут на кровати Игорька прыгать, так люстра в квартире Валерки ходуном ходит. Запретили им прыгать. Дружные были. Особенно в субботники. Лучшие помощники Пальча, председателя дома; и собака у него — овчарка! Даже грамоту получили и пакет конфет на двоих. Но к окончанию школы отношения изменились.

Митрофановна слишком часто стала в дверь трезвонить, милицией угрожать, по телефону названивать. Что это за запахи такие, почему опять воняет, музыка громко. Вечно чем-то была недовольна. И всегда с нею был ласков Витя. Умел быть обходительным с соседками. Придет разгневанной, только хлыста или указки не хватает, а уходит: «Ну, Витя, ты же взрослый человек. Постарайся больше так не делать». Мягко так журит. И Витя соглашается, обещает. Искренне. Пока трезв. Пока в уме.

Как-то позвала соседка сверху в гости соседку снизу с сыном младшим Новый год встречать. Салат, шампанское. Выпили, разговорились. Анна Митрофановна и водочку, и шампанское, все нипочем, а мать Валерки от одной рюмки захмелела, залепетала. Вот тогда и надошлепала более опытная в быту Анна Митрофановна, как на место старшего поставить. Встань, дескать, в проеме дверном и устрой истерику, будто довел тебя до ручки. И действительно, нет ничего страшнее истерики женской. Встанет такая Анна Митрофановна, кровь с молоком, в пролете дверном — и тайфун дитем покажется; комарик и тот не пролетит — тридцать лет как школьный учитель.

Послушалась Витькина мать. Встала комариком дохлым: сухая, тощая, серая. Такие у входа в метро стоят — старушки, милостыню просят, руки, молью изъеденные, высохшие, протягивают. Встала она в пролете у комнаты своей, мышшь пробежит — не заметит. Устроила

истерику. И взял ее Витенька, старший сыночек, под белы ручки, нежненько взял и в комнату швырнул, как полене. Предохранитель из телевизора вытаскил в наказание и дверь запер. И лежит мать в истерике, бока потирает.

Но пройдет еще лет осьмнадцать, и все переменится. И соседка, что сверху, после смерти от водки старшего своего сына станет тощей старухой, комариком, и будет она дремать и пьянеть от одной рюмки, и жаловаться на весь мир, и горевать, а соседка снизу, наоборот, оживет после смерти сына-наркомана.

Но не скоро сие сотворится, пока и мысли подобной не допускает Анна Митрофановна, еще уверенно держит семью в кулаке, еще уверенно, непререкаемо судит о людях, легко определяя алкоголичку по одной пригубленной рюмке.

* * *

Красиво горит Кошкин Дом, красиво звенит Дили-Дили Дон, спешат пожарные, стучат колеса, пылает факел, а много ли надо?

Закопченные стены ванной комнаты озаряет пламя из тазика. Потрескавшиеся ладони слегка потряхивают тазик факельный. Красиво горит ацетон, красиво переливается пламя по дну и бокам тазика для белья, лижет бока ацетоново пламя, скользит по дну, оставляя темный палевый след. Загадочно в ванной комнате, загадочно строят рожи тени, переговариваясь. И только трудовые мозолистые руки, что держат ацетоново пламя, слегка подрагивают, обжигаяще жарко им.

* * *

Нет, не так, все совсем не так. Билли-Билли Билли Бом был чистеньким и порядочным мальчиком. Он слушался мамочку, он называл мамочку мамочкой. Он носил белую рубашечку и целовал мамочку перед уходом. Он был очень послушным и очень добрым мальчиком. Дома. И только за дверью, на лестнице, спускаясь с пятого этажа, он поправит выбившийся воротничок белой рубашечки, застегнет на ходу курточку и переложит из брюк ближе к сердцу холодный ствол.

Милая-милая мамочка, Надежда Сергеевна, ты сильная и мудрая женщина, и сердце твое не камень. И слезы твои настоящие. И сыну и в сына ты веришь. И сердце твое не обманет. Но небо уже потемнело, и ветер взметелил улицы, и будешь ты, подобно матери Васьки Рыжего из дома соседнего, бегать по залу в супермаркете и рвать на себе волосы, и распахнутся полы пальто, и обнажатся колени из-под ночнушки.

И будет она обвинять случайно выжившего и проклинать случайно выжившего. И будет она выть, и будет она ласкать по головушке: «Ой, ты горе мое горькое, непутевая головушка, не послушался ты ма-

тушку, перепутал ты рубашечку, снарядился во дорогу дальнюю не в чистом и не в глаженном, а в грязно-дырявом». И лежит ее сыночек, ее Красно Солнышко, на холодном полу в супермаркете.

* * *

Жил в соседнем дворе Дима Кошкин. Однокашник Вити. Увлекался спортом, посещал секции, и пророчили ему олимпийское будущее. Только не сложилась олимпийская карьера, чего-то не хватило или, быть может, перебор в чем-то. Слишком сильный был, упертый, уверенный. Зато семья сложилась. Жена под стать ему: крепкая, башковитая, такая же, как он — упертая; поставила цель — дойдет до конца. Двух близняшек родила, мальчика и девочку. Зимой так и не различить их. Оба в теплых пальтишках, у обоих шарф под воротничком, рукавички на резинке, валенки. Как в дом войдут, смотреть приятно, боровички.

Дима трудоголиком был. День целый на заводе пропадал. Еще в восемьдесят третьем он Витю на завод устроил, на производство утюгов. Говорят, тот завод в те годы космический челнок создавал, они чем-то даже похожи: утюг и «Буран». Но речь не об этом. Витя год выдержал. А потом — умер Андропов, и он опоздал раз, два; получил трудовую и — автостопом по России.

А Дима на этих утюгах в перестройку в люди вышел. Семью и себя побаловать — святое дело. Ларек на рынке заимел, машину, пусть и подержанную, но «Вольво». Перемены и демократию принял с открытым сердцем, свободу поддержал и был ею обласкан.

Время было такое — странное. Всполохи цветные. И темное небо. День вечером казался. А по сути — бессонница предутренняя. Планы — мозг выворачивают, солнце ждешь уверенно, а день-то — поздний вечер. Нестыковочка.

Димка не сломался. Крепкий мужик, крепко на ногах стоял. Спасал он людей от нестыковки, от депрессий, от мыслей вечных, надежд наивных — от жизни спасал. Из людей серость делал, чтоб не так страдали в сером пространстве, в воздухе сером, дождливом и промозглом. И жену к делу подключил, и детей малолетних как ширму использовал.

Заработать многие хотели, да не у всех вышло. Жил себе человек. Обычный. Как все. Работал. Семью создавал. Детей рожал. Деньги получал. Планы строил. А тут бац! Свобода. Надежды всякие, мечтания. Ваучеры. Вместо одного предприятия — десяток. Вместо одного рубля — десять, сто. Получал — сто, а стал получать — тыщу, а цена «тыщи» — копейка. Раньше платил за транспорт, а теперь кондуктору под нос справку, да с печатью: «зарплату полгода не выдавали». А дети растут: ботинки жмут, руки на пол-аршина из рукавов торчат, брюки у коленок заканчиваются. Вот и раскол в семье.

Муж — он же сильный, а заработать не может. Трудится, а деньги — все ветер. Водка — радость и успокоение. Выпил, и жизнь по колено. А жене все ничо чем.

— Дети, идите есть.

— Мамочка, а ты?

— Я уже, — врет ведь. И рыщет, и находит. Из воздуха деньги находит. Из воздуха и первое, и второе, и все в одной кастрюле. Из тканей технических, из лоскутков — трусы детям и мужу, рубашки, простыни, наволочки, одеяльца. Лишнее — на продажу. Раньше книги собирали, теперь на продажу понесли. Главное, пе-ре-тер-петь, и будем как в Европе. Чуть-чуть. Малость. Все будет.

У кого ничего не было, тот мечтает о будущем. У кого все было: и отпуск всей семьей с детьми, да на самолете, да на родину, в Казахстан, да туда и обратно, — того водка лечит да спирт согревает. Сколько мужиков по небу ушло. А кого водка не взяла, того на колеснице унесло.

Небо темное, жесткое, звездное. Соль небесная сыплется-пересыплется. Холодно. Звонко. Бегают Валерка по вечернему городу. Новый год скоро. А шампанского нет, а елку не купить. В мусорке еловые лапы нашел. Не побрезговал, взял. Вот тебе и елочка. Сок с водкой — вот тебе и шампанское. Весело. Хлопушки аль выстрелы — и не различишь. Автоматная дробь не пугает, главное, дома тихо.

Дома тихо. Брат в отлучке, в двухлетней. Тихо. Только в окно стучат.

— Эй, Витька. А ну, выходи! А то в окно запусу.

Выглянешь из окна, да покажешь: нет его. Сидит.

— Тогда ты гони.

— А я не гоню.

И уйдут.

Билли Бом приходил, чего-то хотел. Димка Кошкин заглядывал, искал чего-то, что-то ему брат должен был оставить. Забрал тряпки, жидкости. Тихо дома. Хорошо! А на улице — люди. Мешочницы, кулечницы, побируши... закрыть бы глаза и не видеть. Занавесить окна, а лучше заколотить. Отключить телефон. Отрезать дверной звонок. Телевизор сделать погромче. Соседи по батарее в стену стучат. Телевизор сделать тише. А лучше выключить и в постель с головою. Не слышать. Спать. И жить — во снах: полеты, стрекозы, девки.

Глава V

1991

Девяностые годы сложились для Виктора неудачно. Разгул свободы, подобно ветру в разрушающихся постройках, больше вносил мусора, чем позволял обустроить свою жизнь. Каждый приспособили-

вался, прилаживался, отторгался, возрождался, искал, — не жил, а выживал. Поколение, родившееся в шестидесятые годы, к концу «Перестройки» созрело действовать.

Это их отцы раскачали таран, что пробил брешь в коммунистической крепости. Это отцы на своих кухнях, в полутемных коридорах бесконечных бараков и коммуналок, во дворах под открытым небом, в разговорах под водочку, в алкогольных мечтах и слезах о невозможности жить, как хочется, в воспоминаниях о прошлых победах зародили в детях, что сидели у них тут же на коленях или ползали под столом, играя в солдатики, выпитывая все эти вздохи, слезы, сожаления, — желание отомстить за обиды отцов.

Дети клялись жить лучше, чем их родители, что жили скромно, что работали на износ, что во всем себе отказывали в надежде на скорое светлое безмятежное.

А потом был Афган. Олимпиада. «Перестройка». И возникла наркота. Не было, не было, а потом бац! Появилась.

Переполненные верой в себя, в невозможность жить, как жили их родители и деды, жаждущие исправить их ошибки и вернуться к историческим корням, жить, как живет весь мир, — они, дети своих отцов, создали этот хаос свободы.

Но догадывалось ли молодое поколение, так легко свернувшее шею прежнему уставшему государству, что построить новое из тех «шариков-подшипников», «осколков», на которое разбилось-разлетелось, казалось бы, крепкое государство (а ведь изначально хотели лишь заменить голову) — окажется практически невозможно. Подобно ртути из вылетевшего при встряске на пол градусника, жители страны разлетелись с различной скоростью существования. Накапываясь друг на друга, они поглощали одних и становились жертвами других.

Миллионы простейших вместо одного, но высокоразвитого единого организма.

Стать сильным за счет других — уже не считалось преступлением. Абсолютная свобода, к которой стремился каждый, несла боль, кровь и смерть.

Но, быть может, дело не в свободе, о которой трубили глашатаи на площадях, а в желании чуть большего комфорта для себя? Не жить в бараке с дырявой крышей, не бегать через двор в туалет, не стоять в очередях за продуктами, не мучиться от вопроса: во что одеть семью?

* * *

В 1991 году, за полгода до августовских событий, Виктор вышел из тюрьмы. Возможно, очутиться ранней весной на свободе и было неким тайным знаком судьбы, но он оказался не понятным. Коротко стри-

женный на тюремный манер, с щетиной, выросшей по дороге домой, в черной кожаной куртке, позаимствованной у кого-то, с шарфом из суровой нитки, что резал шею, он искал старые связи, находя только огорчение.

В первые дни он отъедался мамиными харчами, отлеживался на отцовском диване, перекочевавшем в его комнату, и безвылазно жил в своем маленьком черно-белом телевизоре, насыщаясь забытыми фильмами.

Эти несколько дней первой недели свободы похоронили, нет, временно отложили в сторону ту главную истому, главную мысль, что не отпускала его в колонии — мечту о женщине. И чем ближе был день свободы, тем жестче казалось наказание — тысяча шестьсот шесть дней не знать бабы.

Он был в шаге от женщины, но вкусная еда после тюрьмы, мягкая постель после тюрьмы, фильмы и музыка, и никого в комнате, кроме себя — были сильнее мечты о «тысяче и одной ночи».

Эти несколько дней пребывания в роли «барина», когда мать стучится в дверь и вносит любимому Витеньке тарелочку еды, когда братец с восторженными глазками сидит на краешке кровати, соприкасаясь с жертвой непостижимо таинственной, смертельно опасной каторги, и бежит выполнять просьбу: наполнить водою кофейник или чаем кружку, — зародили уверенность в истощенном самце, что младший брат сам приведет ему «овечку» с шелковой шерсткой. Не может не привести, должен, обязан. Но проходили дни, желание росло, а его родной почти восемнадцатилетний братишка, носитель той же горячей, страстной кровушки, что и он сам, и отец, и дед, — так и не смог найти ему желанное удовольствие.

Вот и сейчас, снежно-мокрым мартом шли они, непонятые друг другом, обвеваемые пронзительным ветром, от которого не спасало ни черное пальто, больше напоминающее старую шинельку, ни шарф, еще отцовский, найденный на антресоли, ни ботинки брата. Шли они вместе, единым целым, соскучившиеся друг по другу, по братской любви к младшему и старшему, но разделенные отношением к желанному — к женщине как любовнице и другу.

Младший все стремился согреть Виктора у сестринского очага, куда зачастил и где всегда имел вкусный ужин из дольки мяса с картошкой, или — в качестве лакомства — горячие бутерброды: ломтик батона с расплавленным от жара духовки сыром. Там, у сестры, в ее доме, ему было комфортно, туда он звал и вел брата. Старший же желал иного, плотского общения, и только сейчас, подходя к перекрестку, вновь осознал обманчивость своих надежд.

Расставшись у перекрестка, Виктор ушел во дворы. Там, на детской площадке, среди подвыпившей шпаны, под звуки кассетного магнитофона он и обрел Малыша. Новая эра в жизни Виктора.

Глава VI

1978

Их путь лежал на Васильевский остров, к старому дому на тихой линии, недалеко от метро. Любимая тетушка и любимый племянник, кто кроме них мог посягнуть на посещение запретной квартиры? Только тетушка, что еще девочкой прыгала здесь по дивану, рассматривая фотографии на стенах, заставляя от ужаса краснеть старших сестер — как можно так непочтительно, столь раскрепощенно вести себя у деда; попробовала бы она так прыгать у отца — угол и ремень, а дед — позволял.

Тяжелые, старые двери. Торжественная поступь двух сердец в тишине парадной лестницы. Частые остановки: поучения, как себя держать, поправить прическу, оправить одежду. Волнение.

Еще не отбита лепнина, местами затерт сохранившийся мрамор, узоры на стенах, дубовые перила. Изредка слышится перезвон, позвякивание, дребезжание, дзиньканье; голоса.

Когда-то, в тридцать третьем, после второго ареста и тюремного срока, прадед был выселен из квартиры как враг народа, и его приютил уплотненный до двух маленьких комнат его первый наставник — бывший капитан крейсера, бывший адмирал бывших времен. В эту коммунальную квартиру и поднимались тетушка с племянником.

Они прошли в кабинет мимо спальни, где за антикварной, еще того, старого Китая, ширмой, на которой с удивительной правдоподобностью вырезаны усатые драконы, украшенной яркими, до сих пор не поблекшими цветами, скрывалось койко-место — узкий жесткий диван, набитый конским волосом.

Высушенный временем, высокий, сидел прадед с прямой спиной за элегантным, чуть ниже привычного письменным столом. Отложив рукопись, сурово смотрел. Последние годы писал он воспоминания. Писал жестко, хлестко, правдиво; не изменяя себе, не прогибаясь. Всю жизнь он отдал служению России, и всю жизнь прожил в коммуналке, и всю жизнь выше всего ставил честь.

Витя в белой рубашке, пионерском галстуке, школьной форме с трепетом осматривал кабинет. Прикасался к потертым временем книжным переплетам с инициалами еще прапрадеда; с благоговением водил пальцем по серебряной шкатулке с гербом семьи, чудом сохранившейся, когда хозяин волею долга отсутствовал, планируя боевые действия советского флота. Незримо ощупывал старое, резное дерево могучего книжного шкафа, в то время как глаза были прикованы к большому китайским вазам, что стояли недостижимо высоко на платяном шкафу, непонятно почему оказавшемся в кабинете, — и мерцали.

Полумрак квартиры, древняя мебель и суровый взгляд прадеда действовали завораживающе.

Хозяин запретной квартиры был уволен на пенсию вскоре после Победы. Говорили, что виной всему верность Его Императорскому Величеству. На одном из торжественных мероприятиях в Кремле он якобы появился в мундире царского времени.

Жил прадед уединенно. Никогда не был женат и детей не имел. К родственникам относился сдержанно-миролюбиво, но зятьям — спасая племянниц, выдал их за матросов своего корабля — руки не подавал.

В судьбе Вити прадед мог стать той ключевой фигурой, что меняет жизнь. В пятнадцать лет Виктор осиротел. Уход отца из семьи к Ленке сын оценил однозначно — предательство. Последний тормоз слетел с его души. И — понеслось. В тот момент единственным спасением могло стать адъютантство у прадеда, но неожиданная смерть девяностошестилетнего адмирала пути не изменила. Да и сомнительно, чтобы прадед согласился взять под свое крыло шалопаю правнука, а Витя за два года до того памятного посещения шалопаем стал отменным.

Глава VII

1985

Незадолго до Нового года к нам ворвался прибалт — кришнаит Латис. Вместе с ним дом наполнился восточными благовониями с примесью гашиша. Сейчас сложно вспомнить, какие из пирамидок — зеленые или темно-коричневые — содержали гашиш, но за те несколько дней своего существования в нашей квартире он извел все. Латис относился к утонченным наркоманам, предпочитая наслаждаться и философствовать, чем впадать в истерику от реальности.

Пацифист до мозга костей, он никогда не брал в руки оружие и даже дышать старался меньше, и под ноги внимательно смотрел, предпочитая не спешить, чем раздавить «возможного родственника». В наш дом он внес легкость Балтики и философские рассуждения ни о чем, ибо глубокие до тошноты научные мысли были от него далеки.

Он видел вширь и поверхностно, словно ветер, что едва касается воды, вызывая больше бликов в солнечную погоду, чем волнения. Маме он был интересен, несмотря на его псевдонаучные воззрения, ибо он бывал в Индии и обладал опытом, недоступным оседлому ученому. Мне он был интересен как инопланетянин, он говорил с прибалтийским акцентом, но когда читал наизусть стихи, акцент пропадал. Предпочитал он Галича и Высоцкого, мне тогда незнакомых, но и Ахматову с Цветаевой не забывал. Поэзию он любил.

Ему было за тридцать, у него было высшее образование, он владел хинди, два года провел в Дели, пристрастился к гашишу и сейчас вел праздное существование. Ему было холодно у нас. Он кутался в плед и ходил по коридору до маминой комнаты, там, у двери, расска-

зывал о своих приключениях. Иногда он подолгу стоял на одной ноге, пережидая, когда выползший в коридор усач уступит ему дорогу. По этой причине он избегал самого теплого помещения — кухни. Газовая духовка и четыре конфорки жарили целыми днями, обеспечивая сносное существование. По возвращении из школы именно на кухне предпочитал я делать домашнее задание: в тепле и с чем-нибудь вкусным.

В моей памяти он остался витязем в тигровой шкуре. Внешне он ничем не напоминал прибалта — даже волосы у него были темными; и не походил на худых наркоманов, он был, скорее, слегка упитан, чем худ.

Удивительно, но Латис внес в дом покой. Мама примирилась с запахами, благоволия не раздражали, а успокаивали, брат наркоту в тот период не варил, предпочитая обходиться гашишем, производными от «Солутана» и «Теофедрина», и можно было даже подумать, что Витя перебесился и благодаря Латису изменится.

Прибалт пробыл у нас чуть больше трех дней и поговаривал остаться еще на недельку, как вдруг неожиданно исчез. Удивительное затишье наступило вокруг нас в тот период. Брат особо не шумел ночами, из окон без штанов не выпрыгивал, не пугал прохожих, не катался по земле в беспричинном смехе — вел себя как приличный мальчик с длинными волосами. Весь день спал, а вечер и ночь пропал неизвестно где; стал завсегдатаем «Сайгона», доставал и слушал музыку, мне непонятную.

Влияние Латиса длилось дольше ожидаемого, — всю весну и лето Витя складывал рифмы на строчку хари-хари, хари-кришна, чем сильно раздражал окружающих. «Лучше бы он пил или общался с «Джефом», — говорили они и были в чем-то правы. Витя относился к вере кришнаитов с любопытством, как к чему-то новому в своей жизни, но свою привычную жизнь менять не хотел.

Иногда я задумываюсь, а спасла бы Хари-Кришна брата от судьбы, ему уготованной, если даже философ Латис, легко принявший чужую философию, не избежал гашиша? Или все было уже столь запутано, связано, сварено между собою, что даже появление ангела оказалось пустышкой.

Глава VIII

80-90-е

Мчится поезд по России. По великой по стране. Мимо домиков убитых, мимо брошенных полей.

Между отсидками Виктор редко выезжал на раскопки. Он бы и хотел, но время стало другим. Строительные и энергодобывающие компании уже не были обязаны оберегать культурный слой от разруше-

ния — оплачивать дорогостоящую археологическую разведку территорий. Да и не каждый начальник отряда археологов захочет взять к себе своенравного Витю.

Очень уж любил Витька свободу. Не-зави-симо-сть. Считал себя чем-то особенным, талантищем. Себя считал крутым, самым-самым. Билась энергия в нем, фонтанировала. Не мог течь струйкой, не мог усидеть на месте. Будоражили его камни, срывал он их с места, как игрушку перебрасывал: выдернет, проволочет, сколько сможет, и оставит — где душе угодно. Потому и дорогу любил безмерно. Дорога что горная река: с порогами, бочками, завихрениями, водопадами. Не течет спокойно, не подвластна порядкам, — потому и жил дорогой.

Каждую весну, когда товарняк тащит на себе экспедиционный скарб и когда УАЗик да ГАЗ-66 мирно дремлют, укачиваемые ползущим товарняком, стремился Витька «забронировать» местечко сопровождающего. Любил он неспешное это время. Любил на керогазе, на «Шмеле», да хоть на паяльной лампе картошку с тушенкой варить. А пить захочет? В чем проблема. На соседнем пути или тут же, чуть впереди-позади, цистерна. Пей. Не захлебнись. И ведь лазал. И до чертиков. И Бог миловал.

Каждую весну и каждую осень медленно ползет товарняк по огромной, бесконечной, самой разной и все ж единой стране.

Дождь ли, град. Изморозь, туманы, заморозки. Жара — холод. И все за раз, за одну поездку в один конец. Вот и сидишь под брезентом в кузовке на спальнике, в спальнике, что сыреет в дороге. Туда бы вдвоем. Да где ж ту, другую половинку найти. Ту дивчину с тугими грудями, с косой в аршин, в кулак толщиной. Нет таких под рукой, не водятся в мегаполисах, не трясутся в товарняке. Такие только в поле, на косогоре, между сопками, в деревнях, в поселковых магазинчиках; на природе. Наивные, стыдливые.

Это тебе не городская девка. Это — нация. И ведь влюбляются девки в непутевых, бескрайних, фонтанирующих. И спасать едут. За тысячи километров едут. От наркоты спасать, от чертиков, от правил всяких. А непутевые только рады. Они косы на руку накручивают, они упругие груди как тесто мнут, они девичий сок пускают. И живут, как хотят, не спасенными, и живут на пути непутевыми, знают: станций много — страна большая.

И у Витьки была такая — Аннушка. Из Ачинска. Городок небольшой по столичным меркам. А самолеты летали. До столиц. Рыжая, плотная. Взял он ее на раскопе. Был он у нее — первым. Прилетела за ним — в Питер. Спасать хотела — от мира. Уже после отсидки. Худым он был, жилисто-тощим. Чем привлек? Непутевостью. Языком. Манерами. И любил. Не уступит ни полку, ни дивизии, костями ляжет, не отдаст, защитит.

Не поехал он. Прав ли был? Избежал домашнего уюта. Скукоты семейной. Спасла бы она его? Или он все равно ушел бы из жизни

наркоманом? И можно ли назвать скучное существование с женой и детьми жизнью? Не есть ли в этом сама смерть? Не рискнул изменить путь. И прожил еще девять лет. Но можно ли эту жизнь наркоманскую назвать жизнью?

Он любил Аннушку в Ачинске, но не Аннушку в Питере. А ведь месяц его уламывала — учительницей была, только-только институт окончила. Силы, веру в себя, деньги — все на кон положила. А ныне не летают самолеты из Ачинска.

«А путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая...» Тихо работает радио. Послушно мерцают звезды. И луна такая гигантская, что луноходы и лунная железная дорога без телескопа видны. Слушает он «Свободу» и «Голос Америки». Слушает новости и вечный «Маяк». Много читает...

Глава IX. Танцы в проволоке

Безвременье

— Раз! Два! Выше ногу! Носочек тянем! Разворот! И на шпагат.

И мир впивается концами в плоть, разрывая робу.

— Разбились на пары! Мальчики в шапках, «девочки» — без! С правой ноги! И!

Танцуют все. И капли крови на снегу, и лай собачий.

— Ноги выше. Приседаем! Вниз-вверх!

Прыжок. Падение. Удар. Бросок. Падение. Подножка. Под дых.

— Поклон!

Все смеются. А кто не смеется, тому дубинками по почкам.

И так каждый день. С утра до вечера. На то она и зона.

* * *

«Милая матушка, здравствуй! Как твое здоровье? У меня все хорошо. Не обижают. Вовремя кормят. Мы много гуляем. И каждый день танцуем, с ранья и до позднего вечера... В общем так, мать, вези деньги, а то прошлый раз ты забыла; да, и вези торты, сгущенку, сладости всякие, папиросы — много, шерстяные рукавицы, носки, трусы, но главное, деньги, на деньги здесь можно купить все...»

* * *

«Дорогая матушка, у меня все хорошо, приняли на удивление пристойно, не били, не опускали, правда, койка моя находится около унитаза, но это ерунда, у других одна койка на двоих, а у меня — в личном пользовании...»

В общем так, мать, в прошлом письме я просил тебя прислать мне посылку, ну там: сгущенку пару банок, шоколад, сигареты, носки и трусы, так вот, шоколад не присылай, а то в дороге он растает и смешается с табаком, лучше привези на свидание. Свидание мне полагается, я уточнял, через полгода, а пока...»

* * *

«Лизавета, здравствуй!

Получил твое письмо и очень обрадовался. Ты спрашиваешь, разрешены ли мне свидания и что прислать, отвечаю, на этот год свидания все истрачены, но прислать можешь сгущенку — много, сигарет, а то от прошлой партии ничего не осталось, носки и черные рукавицы, а то мать прислала синие и их отобрали, черную шапку шерстяную. С матерью свяжись, передай, чтоб на свидание привезла масла. Нас тут шмонают, но можно договориться, и посылку пропустят.

О себе особо говорить нечего. С работой повезло: работаю санитаром при морге, иногда помогаю в медсанчасти. Матери скажи, чтоб деньги везла...»

* * *

В плацкартном вагоне внизу, под сидениями, сумки стоят. В них: колбасы варено-копченые и сыровяленые, сыры, сухофрукты, шоколад, конфеты, тушенка — банки четыре, сгущенка обычная и сгущенка вареная, масло сливочное — хороший кусок, сала ломоть, баночка красной икры, сигареты и сверху два торта фирменных.

И полон вагон женщин. И у каждой — сумки. Кто в первый раз, у тех сумки большие и переполненные, а кто второй-пятый, у тех маленькие. Одни женщины тихонько спят, уткнувшись в подушку, другие — без мата слова не скажут; есть общительные, есть замкнутые. А есть потерянные, а есть напуганные. И все несчастные. И только одна несчастней всех: сидит у окна, бумажку сжимает — чай забыла.

И над всеми, срывая голос, орет радио: зеленая, зеленая... словно мало тайги за окном — вечной, непроходимой, нелюдимой. Мертвой. Бескрайней зеленой стеной она стоит заслоном от неугодных, защищая одних от таких же других... и снится нам не рокот космодрома... зеленая, зеленая... Тоска.

И где-нибудь в проеме стены, на тихой станции, в глубине болот и бурелома опустеют вагоны, и растекутся потоки женщин по зонам и поселениям ради одного мига встречи, прикосновения, поцелуя, объятия с любимым сыном, дочерью, мужем, отцом, матерью.

Вот и встретились, вот и свиделись. И бежит ребенок к матери. Мимо. К сумкам. К лакомствам.

— А чай где?

— Забыла.

— Ты забыла чай? Как можно было забыть чай? Как чай можно было забыть?! Как ты могла? Как чай было можно забыть?!!

И сидит мать, сникшая под напором раздраженного, изможденно-го, исхудавшего, — ошалевшая от приема. Да и сын, не человек что ль, крик — разрядка для нервов. Родная кровь в пах кованным носком не вдарит, в карцер на холодный пол ... да и в камере не опустит. И кричит сын на мать, как минуту назад на него самого и на мать его охрана кричала.

Тает сливочное масло, и сала кусок недоеден, и торт не съели. И сын голодный, сколько б не вбил в брюхо, а все равно голодный. И мать напрасно тащила — ничего не пропустили с сыном. И только обиды. Только озлилась.

— Ты в следующий раз деньги привези.

А на зоне в кольцах проволоки колючей танцуют ээки.

Глава X

70-е

— Оте-ец!

С высоты бухта выглядела безмятежно. И только змеи срывались с противоположных скал и плыли, создавая волну.

— Оте-ец! Змеи!

Экспедиционный грузовик третьи сутки мотало по степи. Духота выворачивала наизнанку. Жара испепеляла. Затылок болел. А Енисей все так же далек. И нет конца полям кукурузы. И дурманит запах полыни. И уже равнодушен к птице, рвущей по праву чье-то тело. Маленький отряд пылит по степи. Выжженная степь туманит взор.

В отраженных лучах уходящего солнца голова к голове две гадюки столкнулись. И одна от испуга в шею вцепилась мужскую.

Еще долго отряд у костра вспоминал происшествие. Визг Елены и ее мертвую хватку за отцовскую шею. И Витю, что, не помня себя, с высоты обрыва ломанулся к воде спасать то ли Елену, то ли отца. И вот уже ночь, и пора спать, и Елена почти успокоившись, завернутая в плед и согретая изнутри из отцовской фляжки, все крепче сжимает отцовскую руку. И уже водила ушел в кабину спать, и Мишка забрался в кузов, и пора бы Вите туда же, а он сидит и подбрасывает хворост.

Хакасское солнце забыло совесть. Мстит Енисею. Ломает землю. Сгущает кровь. А археологам все нипочем. Раскопки в самом разгаре.

Три отряда, разбросанные на десятки километров друг от друга, занимались привычной работой: могилами, курганом и поселением. И

четвертый отряд — в разведке. И над всеми единый начальник — мать Вити. Каждый год с мая по октябрь она в поле — не мать и не жена, а ученый.

А маленький отряд, что в разведке, все пылит и пылит по степи от кургана к кургану. И Витя уже не рад, что связался с отрядом, пусть даже с отцом, и с милою сердцу Еленой. Любовь не первая, но сердце волнуется. И каждую ночь, вынужденно уходя спать, он жалеет, что не первым оказался в воде, и не он вынес полуобнаженное создание из пучин океана.

А Елена не рада, что ее красота увядает под пыльным ветром. И руки ее красивые запылились, и ресницы ее запылились, и тело давно требует «спа-салона», но не знает она еще о таких словах. А знала бы, то и не искала бы принца среди археологов, а искала олигархов, но не было тогда еще олигархов. И потому тратила она красоту свою безупречную на археолога, но все ж начальника, и все ж с квартирой, и пусть не Москва, но и Ленинград не глубинка.

И отец не рад, что связался с сыном. Под ногами мешается, не по возрасту. В степи не до детских шалостей.

И видила не рад, что связался, что машина давно не мылась, и что надо бы масла добавить.

Да и Мишка, хоть и ровесник Витьки, с Елены глаз не сводит.

* * *

Стоит на насыпи босоногий мальчишка: рубашка в клеточку растегнута, грудь обнажена; кожа да сухожилия; машет лопатой.

А кто сказал, что кисть — инструмент археолога?

Вот они — богатыри земляных отвалов: подростки и мужики, что лопату на штык в землю, а потом через себя и на отвал. Пока культурный слой на поверхности не окажется. И только тогда по сожженным бревнам, по скелетам ножом, детским совочком, кисточкой.

Каждую косточку, каждую фалангу, каждую бусинку сохранившуюся очистить от земли и ни в коем случае не сдвинуть, не переместить, не перевернуть. Оставить, как есть. Криво, косо, но как случаем положено, как временем убаюкано. А потом открывшееся все это запечатлеть. Чертежом, фотоаппаратом, в дневник записать. И все бережно упаковать; и вновь ножом, вновь саперной лопаткой второй слой искать, третий. До самого дна.

Глава XI

90-е

Давно не ходят автобусы к деревням. Давно заросли дороги. И нет уже дорог, есть только память, и есть карта, и есть компас. И ты идешь с рюкзаком, с флягой. Ты сокращаешь путь, уходя от дороги, и

возвращаешься к ней, когда теряешь ориентир, когда устал. Иногда вдали ты видишь пылевое облако, тебе хочется закричать, замахать руками, ты хочешь проехать с ветерком. И совсем не важно, туда ли они едут, главное — не пешком.

Ты продираешься по пояс в ковыле, тебя дурманит от полыни, над тобою смеются суслики семьями. Они смотрят тебе вслед, они стоят на задних лапах вдоль твоей дороги и смеются, показывая лапами, повернув вслед тебе головы. А ты идешь. И ты уже сам начинаешь ненавидеть себя за свою самонадеянность — пройти пешком до лагеря. И повернул бы назад, да полпути пройдено. И птицы кружат над тобою, и уже обсуждают, кому филейная часть твоя достанется. А вокруг вибрирует воздух.

И слышишь ты звуки и голоса... Отец! Змеи! И огненный шар, и дикие лисицы, и полчища комаров, и голый торс отца и ни одного комара на нем, и ты, облитый пахучей жидкостью «смерть комарам». И ты с голым торсом, и штаны на веревочке, и слепни, притянутые вкусным потом, и раскоп, и жара, и лопата. Рука меняет русло потока, и водопад стекает по ушам. И лицо в серую крапинку, и зубы белеют, ты смеешься, тебе хорошо, тебе здорово. И рядом Маринка, девочка, березовой веткой хлещет тебя от гадов, вздыхает по тебе, и от нее несет пахучей жидкостью, и платье на ней в розовый цветочек. И сочная зелень. И чай на костре уже закипает, и скоро обед. А тебя раздрает желание прижать Розовый Цветочек и слабость не показать. Засмеют другие пацаны. Пусть хлещет. Пусть видят. Меня любят, а мне пофиг.

А в субботу — баня. И на машинах в поселок. И веником и «ай, хорош-шо», и смеются. И ни одной кислой рожи, ни одной хандры, ни одного рваного вопля: «Домой! Надоело! Пошло все!» Баня. Вода. Пар. И только мысль: сюда бы Розовый Цветочек и — никого. Но и мысль стекла, отлетела под веником.

И вновь ты в кузове. И пахнет розовым мылом, и лица у всех красные. И можно сейчас в магазин. И можно тайком купить «Токай». А вечером уединиться и... а где еще ты найдешь такое темное небо, такую огромную луну и такую собеседницу, и наплевать на комаров — ты и она, и никого. Сегодня суббота, сегодня можно все.

Костер догорает. Падают звезды. В зубах хворостинка. От земли теплый дух поднимается. Запах печного хлеба. И только глаза чьи-то в траве, мерцают, пугают.

Не спит степь, шуршит, бормочет, ухает, булькает, топает. Спешат звери по своим делам, пока не так жарко, пока нет пекла. Здороваются, балакают, новости пересказывают. «Слышь, народ, — сурок с полевой мышью языком зацепился, — человек в конопляном поле лежит». Знают звери, свой или чужой. Чуют дух его. Лучше любого астролога будущее предскажут. И не тронут, а только из любопытства издали друзья позовут, лапой покажут, головой кивнут на чудака, на своего.

А чудака лежит и в ночи тень свою не видит. И нет у него «тени», и не тянет его на конопляный стебель; пока не тянет. Вот до лагеря дойдет, вот тогда и стебелек пригодится, вот тогда и тень придет. Да и не нужна она в поле. В Питере ждет она. Никуда не денется. Все в тень возвращаются.

Лагерь на берегу озера встретил Виктора сухо. Наркоманов и в поле не любят. Да и девок без Виктора кому портить есть. И вот он стоит, босоногий мальчишка, на краю лагеря — чужой, а вокруг те же поля, те же лица, чуть постаревшие за двадцать лет, и те же бесконечные курганы, раскопы, могилы, и он, никому не нужный. А когда-то давно, босоногий мальчишка и Мишка, даже Маринка, Оксанка, Гришка, Димка — были не разлей вода.

А ныне у Мишки свой отряд. И нет ему дела до друга, до босоногого Вити, до рваного, рваного Вити, изодранного за двадцать лет в клочья.

Глава XII

1996

В беспросветные часы тоски и ломки брат обвинял мать в предательстве. Если бы не она, не ее показания, не ее наивность, не ее доверчивость к следаку, не ее вечная искренность и вера в правосудие — все могло сложиться иначе.

Сын не мог простить матери первые месяцы привыкания к тюрьме. Не хотел прощать мать и за страх вновь оказаться в колонии в первый год после освобождения. Оказаться вновь там, где замкнутое пространство, где щелчки кнута надзирателя сливаются с секундами и ударами сердца; где твои шмотки, твои мысли, твое тело липкими пальцами шманают, лишая права быть самим собою, и где даже в одиночке и в карцере тебя не оставляют одного. Но в тот жаркий утренний час, когда солнце заливало зал на третьем этаже Красногвардейского районного суда, Виктор не был напуган. Валерке даже показалось, а не счастлив ли брат вдруг?

Но разве можно быть счастливым в вольере на цепи?

Но как тогда объяснить тот странный взгляд на Малыша? Преданно-щенячий.

Валерка сидел рядом с Катериной в пустом зале суда, но Виктор словно не замечал брата. Он весь подался вперед, до отказа натянув «цепь» всем телом, всем нутром желая оказаться рядом с Малышом, обнять, вылизать, радостно обляять.

Неужели, — думал Валера, сидя, спустя годы, в полутемном баре, — неужели ради любви можно взять вину на себя? Пойти на эшафот? Ему, сорокалетнему мужику, кандидату наук было непонятно, что нашел Витя в Катерине, в этой невысокой пухленькой и своенравной девчонке. Неужели чужой вещмешок с головками дикого мака стоит восемнадцати месяцев собственной жизни?

По возвращении из первой колонии Виктор изменился, и с каждым новым возвращением из тюрьмы он становился все агрессивнее и недоброжелательнее. Нет, он не был испуган, не кидался шавкой на каждого встречного, но перестал доверять. Заматеревший одичавший пес, но не шакал.

Среди родни он был экзотическим зверьком, которого пытались приучить, пока был щенком. Его любили, пока его удавалось держать на привязи, кормить с ладони, ласково трепать за шею; пока он выполнял команды и бегал на задних лапках. Но как только в нем прощнулся хищник, когда он осознал себя, возжелал свободы и скинул аркан, он оказался не нужен, не любим.

Колония и тюрьма усилили, вопреки, чувство свободы, заострили своеволие, теперь мое-твое стало общим, а значит, он имеет полное право брать. И он по праву брал. Как старший мужчина в доме он потребовал место вожака. Но внутри он оставался ребенком, и, как любой детеныш, хотел ласки, мечтал быть любим женщиной и в первую очередь матерью, а она всю себя отдавала младшему сыну. А брат — даже брат — прятал от него общее — родовое-семейное. И Виктор прощал.

Преданный отцом, матерью, братом и даже друзьями — он переставал чувствовать себя человеком на свободе и, быть может, потому с каждым разом не с сожалением уходил, а сбегал в тюрьму.

Тем жарким летом, когда плавится асфальт на Арсенальной набережной, а заваренные решетки в «Крестах» только усиливают жару, и душной ночью, когда кирпич отдает накопленный за день зной, — он томился воспоминаниями о Малыше: нежной, страстной, идеальной женщине.

Вероятно, в тот знойный месяц Малыш и встретила Гришу. Гриша не будет перелезать через забор, когда есть калитка, он не будет срыгивать маки, когда есть аптека, он не будет жертвовать собою, но он подарит ей дочь; сделает ее матерью.

Глава XIII

Безвременье

По улице ходят парами: улыбаются, хихикают, разговаривают; обнимаются и целуются. И только Валерка постоянно один. Без пары.

Пока был жив брат, Валерка кивал на возраст: молод, дескать, вот будет тридцать, тогда и баба появится. Сейчас ему сорок. Два финансовых кризиса пережил; уход жены, смену профессии, а все равно один. И ведь не алкоголик, не курит, не наркоман, на тхэквондо два года ходил, костюмы стал носить, кандидатскую защитил, а все равно счастья нет. И каждый раз после неудачного свидания, после мимолетной встречи с прекрасным, очаровательным, незабываемым молоденьким миражом в электричке, в автобусе, маршрутке, в институте —

езде — Валерка задавал себе один и тот же вопрос: почему? Почему у Виктора были Оксаны, Лизы, Марины, Анны, Людмилы, а у него... почему женщины за братом бегали, а он бегаёт сам?

90-е

Виктора женщины любили. Правда, непонятно почему. Был он неказист. Худощав. Волосы любил длинные. Сколько били его за волосы: на улице били, в школе били. В школу родителей вызывали, из пионеров выгоняли, и все равно длину отращивал. Когда повзрослел, стал на ночь сеточку натягивать, чтобы локоны не кудрявились, насильственно их выпрямлял, мочил. Слегка волнистые, длинные, до плеч, они с тряпичной полоской хиппи невольно напоминали образ с иконы.

Была в нем некая искра и легкая подпорченность: любил луну, ночное небо, «Демона» наизусть знал, с Лермонтовым себя отождествлял, верил семейным легендам о шотландских корнях, о родстве с поэтом, но никто всерьез историей рода глубоко не занимался. Мужскую силу Виктор в пустоту не разбрызгивал — хранил и в любви выкладывался без остатка.

Его красота шла все же изнутри: так светятся угли в последний миг, так фосфорный свет озаряет гнилушки на болотах. Так выглядел бы Христос после танцев в казематах — изможденный до мозга в костях, но не сломленный. И чем чаще бывал в тюремном расколе, тем червонней выходил, тем жестче сердце, тем острее черты, тем больше шансов пролезть в ушко иглы.

Женщины к нему тянулись, как жаждой томимый к кувшину с водой, после которого хоть смерть. Его кимарило, его трясло, его бросало в жар — он был желанен. И ему желанны их округлости, влажные поцелуи, искрящиеся глаза, «нежные» до боли прикосновения.

И только когда ломало, когда тело наизнанку, когда лед превращался в пар еще на подлете к телу, когда глазные яблоки вскипали, когда клетки взрывались, когда вой до хрипоты был едва слышен в потрескавшихся губах от тысяч водородных бомб, — только тогда женщина не была нужна ему; он и себе был не нужен, и никто ему не был нужен — а только коричневый налет на ложке, десяток синих горошин снотворного, белые таблетки эфедрина — только они были нужнее всего на свете. И только одна женщина, только одна за всю жизнь любовь могла бы перевесить эту чертову ложку.

Кэт — так ее звали. Малышом называл он.

Его любили одни, другие им пользовались, но спал он со всеми. Оксана была как собака, он ее бил, выгонял, а она все прощала и вновь приползала. Лиза и сама способна ударить, как кошка была гибка, худа и когтями царапала сердце. Его давно нет, а она его помнит. Подойдет к окну его комнаты и как ива колышется — под наркотой, а то по телефону ночами — все вспоминает.

Кэт было восемнадцать, когда оказалась в постели с Витькой. Светлые груди, крепкие, упругие, с яркими крупными сосками торчком взбулдыражили воображение семнадцатилетнего девственника Валерки, заглянувшего по привычке к брату; удовлетворенная девушка не стеснялась своей наготы. Она лежала на матрасе, на полу, озаренная только настенной лампой. Белоснежное пятно в захлавленной комнате. В тот период Кэт стала только одной из, но первой после долгого перерыва.

Оксана была крупной девочкой, было за что ухватиться. Познакомилась с Виктором в Туве, в экспедиции. Ее взяли художницей, а стала поварихой. После поля они продолжали общаться, но его арест и долгое отсутствие изменили ее жизнь. Она полюбила сослуживца своего отца, забеременела и, как бывает, осталась одинокой матерью.

В начале девяностых вместе с отцом много пила. Отец пил от сожаления, от горести, от падения своей профессии в глазах других. Он, уважаемый ранее, нужный всем, теперь избегал упоминать о связи с Лубянкой. Дочь же пила от разочарования, от жизни. Она стала частым гостем в постели Вити и чаще всего с «подружкой-водкой». С водкой она настолько сдружилась, что спустя несколько лет сама ее производила и разливала под разными этикетками. В середине девяностых подобный бизнес никого не удивлял.

Оксана была преданной девочкой и надежным поставщиком водки. Наркотики не употребляла, растила дочь, мешавшуюся под ногами. Все скандалы между Оксаной и Витькой происходили из-за дочери. Витек бил Оксану нещадно, до крови, до шрамов, до сломанных табуреток, он бил сознательно, с выговором за каждую затрещину, полученную дочерью от матери. Полураздетая, в крови, она вылетала в ночную пургу с текущей ярко-синей тушью, чтобы вернуться и просить прощения, умолять простить не мужа, не отца дочери, а любимого. Иногда проходила неделя-другая в тишине, а потом все повторялось. В такие промежутки в постели чаще стала бывать Кэт. Кэт вытеснила водочную Оксану. Чистенькая, кругленькая, не наркоманка, Кэт, бездетная по молодости, влюбилась в жилистого глистоподобного нарколаголика.

С Лизой все было иначе, и судьба у нее другая. Елизавета появилась в доме Виктора вечером после первой серьезной размолвки его с Кэт. В тот момент одна мысль заполняла нутро Виктора — утонуть в пиве, покончив с собою. Он взял свой извечный трехлитровый бидон со слегка отбитой эмалью, — с такими раньше за молоком ходили, — и ушел к пивному ларьку. Там, в очереди таких как он, желавших успеть хлебнуть за секунды до закрытия из кружки, они и встретились.

Елизаветин путь был долг в тот день. Утром она ушла из дома. Последние полгода покорной дочерью жила в семье. Не кололась, не бухала. Из дома не выходила. Она боялась реального мира, боялась улицы. Мир, ее окружавший, казался ей узким и тесным. То ли высокий рост, выше среднего, был тому причиной, то ли долгое затворни-

чество в интернате среди спортсменов, — кандидат в мастера спорта, между прочим, — а возможно, перестарались строгие, но любящие родители — неизвестно. Только в спорте такого страха не было — не боялась она ничего и никого, и мужчин не боялась.

Первым наставником и в постели, и в допинге стал ее тренер. И он же был первым, кто отвернулся, кто поставил на ней крест, а спустя несколько лет — отец, любимый папочка, кому она посвящала свои победы.

Допинг, наркотики расширили мир до бесконечности. Реальность оказалась не такой узкой и совершенно не страшной, и сама она уже не была дылдой, а миниатюрной и очень сексапильной девчонкой. Она поняла себе цену, когда за нее дрались, когда ее любили вопреки ее воле. Она умела постоять за себя. Могла ударить несильно, сильно, болезненно и так, чтоб отстали. Она воспринимала секс как спортивное состязание, получая удовольствие рядом с сильным противником. Но жить без наркотиков она не умела.

Дома ее не понимали. Любящие родители отбирали распорки мира, запирали в башне на засовы, приковывали к постели, насильно лечили в клиниках. И мир вновь уменьшался до ушка иглы. Сама же она каждый раз после лечения полнела, обростала мышцами на скелете, вновь бурлила кровь в венах, вновь период засухи сменялся муссонными дождями. Тело оживало. И только Лиза опять страдала: забивалась в угол кровати, зашторивала окна простынями, ибо мать давно отобрала плотные шторы, максимально приблизив «пытку светом» в комнату дочери.

В тот день Лиза ушла из дома.

Давно Лиза научилась уплывать из дома. Утекать дымком в щель фрамуги. И ни этаж, ни погода значения не имели. Когда двери на запоре, окно твой выход. Никто же не спрашивает лунатика, как ты ходил по краю крыши, никто не интересуется, почему упал пьянчужка и не разбился, так и Лизу никто не спрашивал, как она утекала из дома. И только один вопрос волновал всегда: откуда наркоту взяла.

А барыга был рядом. Он жил на площадке напротив ее квартиры. Его все знали и все любили. Он улыбался и со всеми здоровался. Его ставили в пример. Его угощали и приглашали в гости. Его мать гордилась им. Отличник в школе, подрабатывал — мыл полы в автомастерской; взял шефство над одноклассниками — находил пацанам подработку. И только Лиза его не любила. Петушком его называла. Мелкий — она не любила мелких, — он и душой мелкий. Как-то поймала его недобрый взгляд, уловила скупердяйскую нерешительность, когда тот не досчитался сущей копейки, вручая соседу батон и шкалик ржаной водки.

Такой злобный оскал за милой улыбкой. Зато с Лизы драл. А куда ей деваться?

В тот день Лиза утекла конопляным дымком — Петин «подарок».

С пустыми руками Лиза из дома не уходила. Как и любой из подобных ей тысячи тысяч тлеющих, курящихся на остановках, в притонах, вагонах, за телевизором, на улице, дома — везде — по всему миру наркоманов, она чуяла родительские заначки. Лучше любого Шерлока отыскивала припрятанное на черный день золото, шкатулки, книги, могла и материнскую дубленку продать и последней отцовской шапкой ондатровой не побрезговать.

Вечером, затемно, Лиза в темных блестящих лосинах и полушубке, едва прикрывающем бедра, встретила Витю; она стреляла сигареты у пивного ларька. Утром Лиза исчезла из дома — вечером наткнулась на Виктора.

Утром Виктор спал в объятиях Малыша. Малыш спала в объятиях Виктора. Малыш нежно прижималась округлостями и нежно звала Гришу. Как когда-то давно на сцене театра Малыш звал Карлсона: «Карлсон, Карлсон, ты где?», — и маленький Витя верил, что Карлсон был настоящим, и он обязательно вернется. Точно так же Малыш звала и Витю, а ныне она звала Гришу.

Витя не стал будить Малыша. Он узрел в объятиях Малыша Карлсона-Гришу и стал им. Руки, тело и поцелуи влажные и соленые: «Гриша я, Гриша. Спи, любимая». Малыш звала Гришу в постели Виктора, а Лиза шла по карнизу, она утекала из дома.

В разных плоскостях, в разных измерениях, в разных часовых скоростях прожили то утро Лиза, Виктор и Малыш. Для Виктора то утро длилось бесконечно: мокрый, замерший в кольцах любимой, он задохлся, не в силах пошевелиться; и только сердце, но сердце ли? гулко ухало сжимаясь: «Малыш! Малыш. Что же ты наделала».

А Лиза в тот день, как обычно, раздвигала пространство в тесном автобусе на сиденье у окна. И хотя со стороны она выглядела как цветок на морозце, полусонной, полужыбкой, и хотя со стороны она спала и что-то бормотала — заклинания ли? Но в ней самой мир: бескрайний, тягучий, жаркий, странный. И даже тело мгновение жило без времени и пространства. Или не жило? Или не существовало? И только тело не существовало во времени и пространстве.

Лиза была обычной наркоманкой. Но не истлела, как тьма других, а осталась жить. Возможно, ее спасла любовь к мужчинам. Она любила мужчин, любила доводить их до иступления, до изнеможения, до боли, и в последний момент — пережать, оборвать кайф; довести и оборвать, доводить и обрывать. Она зубами держала мужчину, любила властвовать над мужчиной, чувствовать свое превосходство, издеваться, побеждать. Чувствовать, как мужчина извивается подобно ужу: «Ну, давай, сука, ну пожалуйста». Просит, угрожает, бьет. Она любила это дело как рыбак: не ради наживы, ради удовольствия.

Наркота расширяла вселенную, раскрепощала чувства из-под власти недремлющего разума, тело желало удовольствий, где полет и оргазм — точка, растянутая в бесконечности. Сонное на поверхности тело внутри выбрасывало энергию, подобно реакции соды, гашеной

уксусом: желания кипели, проявляясь неожиданным для окружающих движением или словом. Спящий мозг заполнялся фантазиями, извергал разгоряченную массу не связанных между собою звукообразов, распыленных до отдельных слов, букв, понятными только ей самой. «Хочу, дай», — наиболее привычные окружающим слова — могли означать все что угодно, были обрывками внутреннего диалога между осколками самой себя.

С кем она разговаривала, о чем, где, как и были ли это слова — бессмысленно толковать, переспрашивать, можно предполагать, догадываться, но всегда в молоко. И только одна потребность в этом бескрайне-заполненном пространстве преобладала — еще большего сверхкайфа — сексуальной выпивки, сладкой власти, бесконечного оргазма. Но и оргазм — секс — обоюдоострый клинок, распарывающий мир и самого себя. Кровопускание — выброс из мира грез, возврат в реальность и страстное до жестокости стремление вновь натянуть, вернуться назад и захлопнуть клапан; с остервенением порвать реальность, разорвать в клочья, уничтожить потно-холодный, четкий, резко очерченный, контрастный, колющий, отточенный реальный мир, где властвует разум.

В ту ночь, когда Виктор и Лиза сошлись в постели, а Малыш любила у себя дома Гришу, Валера изнывал от желания. Виктор и Лиза боролись за власть — любви там не было. Вите требовалась только разрядка — кислота разъедала сердце; он не любил, он почти насиловал. Валера в унисон брату насиловал себя за стенкой. Лиза булькала в кайфе, подобно соде. И только Малыш любила Гришу.

Глава XIV

1993

Поздним октябрем 1993 года, в выходной день, в вечерний час два брата шли по центру Васильевского острова вместе. Они ступали очень осторожно, медленно — старший брат хромал. Нога его опухла и плохо сгибалась. Они спешили в больницу. Младший все поторапливал: «Ну, скорее, ну пойдем, опаздываем», — а старший все тормозил. Ему было больно наступать на непослушную, так неожиданно, в самый критический момент воспалившуюся ногу.

Еще летом следователь предупреждал: «Без справки — сядешь». Срок предоставления справки из больницы истекал завтра.

Братья шли по скользким мостовым, вдоль линий домов, распахнутых ржавых дворовых ворот, мимо выбитых деревянных дверей в парадных, мимо темных подворотен, где ветер завывал особо тоскливо. Они поддерживали друг друга в мелкой крупяной метели, что забивалась колюче под шарф, билась в лицо, влетала, оседая на обнаженные движениями тела, под полы черного пальто старшего брата, и под «вечную» куртку младшего.

Виктор вел себя первое время не по-взрослому естественно, радостно как-то. Несмотря на большую ногу, ему хотелось прокатиться по льду и даже — не прятал лицо от колкого снега. Он строил планы, как получит справку; как легко получит справку, даже не ложась в больницу. Уж он-то легко уговорит врача, докажет бессмысленность занимать койко-место, когда в любой подворотне он легко найдет дозу и шприц. И врач, конечно же, согласится.

Чем ближе к больнице, тем ветер крепчал, а машины и прохожие и вовсе исчезли. Братья стали чаще останавливаться, поворачиваться спиной к злему ветру, прятать руки в карманы. В какой-то момент, когда естественная потребность загнала Виктора в ближайшую арку, вой ветра стал невыносимым. Виктор выскочил из подворотни бледно-задумчивым, посеревшим.

— Ты слышал?

— Что?

Виктор промолчал и только оглянулся.

После той остановки их путь окончательно замедлился, и Валерке приходилось подгонять и подгонять брата, а сам Витя больше молчал и только изредка спрашивал:

— Ты веришь?

— Что получишь справку? Нет. Не верю. — Вскоре Валерке надоело отвечать и глотать снег.

Виктор переменялся. Теперь он понимал: в больницу лечь придется. И даже, возможно... он боялся этого — переломаться. Как же он страшился ломки! Он убеждал себя в легкости получения справки именно потому, что где-то в подкорке мозга понимал — больницы не избежать.

За три месяца, проведенных дома, Витя пытался себя настроить. И даже один раз почти дошел до больницы. Он был нетрезв, в руке болтался пустой бидон из-под пива, он в нерешительности потоптался у входа и повернул назад.

Валера уже устал. Он раздражался на медлительность брата, он раздражался на себя, что согласился его сопровождать. Он не выносил с ним ходить. Не выносил его неправильного поведения. Брат всегда был асоциален. Всегда поступал так, как хотел. В метро Витя любил сидеть на ступеньках эскалатора и пить из бидона. И Валеру насильно усаживал рядом: тянул за подол куртки. «Обойдут. Присядь. Будешь?» — и протягивал пиво.

А сколько раз Виктор вмешивался в чужой конфликт. Валерка растворился бы в толпе, а брат — честь женщины, видите ли... И еще так, по-мушкетерски, раскланивается. Шляпу снимет воображаемую, как же, женщина перед ним. Как же, джентльмен... с топором. Топор, маленький такой, для рубки мяса, Витька забирал с кухни и носил за поясом под пальто — вместо шпаги.

Валерка не понимал, где логика у брата? Другие дома — божья одуванчики, а этот — все наоборот. Вот и сейчас: выходной день, вечер, а они в больнице. Зачем? Он уступил, испугавшись слез старшего брата, как тогда, больше года назад, зимой.

Валера знал брата разным. И многие его поступки простить не мог. А недавно брат уговорил его вынести шкатулку с мамиными драгоценностями. «Лучше заложить шкатулку, чем икону», — мелькнуло в разговоре. Икона висела в комнате брата. Где он ее нашел? На какой помойке? Валера не спрашивал. Он пожертвовал тогда мамой ради брата, а ведь знал — заложенное никогда не возвращалось.

Но слезы старшего брата он видел только один раз. Настоящие слезы. Настоящий страх.

Валера гнал из памяти тот день, но забыть не мог. И куртку, в которой был сейчас, с тех пор не любил, но другой в его гардеробе не было. Год назад брата привели в наручниках. Он стоял на коленях в коридоре и умолял мать выкупить его у ментов за две-сти баксов. Деньги не маленькие, а все ж были.

Во всем, конечно, был виноват он, Валерка. Если бы ему не было жалко своей новой, только что подаренной ему теплой зимне-осенней красивой зеленой куртки с тайными карманами, теплая подкладка у которой легко отстегивалась, превращаясь в летнюю непромокайку, то все могло бы обойтись.

Брата влекли именно те самые тайные карманы. Витька так и видел себя в куртке с пузырьком наркоты в тайном кармане бесстрашно пронзающего толпу ментов, но в тот день, после Валеркиного отказа, он был в своем шинельного покроя пальто, и дрожащей тварью, скрывавшей тайное, спускался в метро, где был остановлен и обыскан.

Валера проклинал тот день, но не из-за слез брата и уж тем более не из-за куртки. Его любимая собака пострадала, когда он, Валерка, этот вечный флюгер, не зная, как поступить, вспыллил. Быть может, тот визг собачий и растопил материнское сердце...

Ветер, пронзающий город, вбивал снег в фасады домов, кружил на узких линиях Васильевского острова, забегал в раскрытые парадные, поднимался по выщербленным ступенькам мраморных пролетов, ласкал искривленные, изуродованные чужой похотью чугунные, местами отломанные решетки ограждений перил, и вылетал из битых фрамуг лестничных площадок, разбрасывая валяющийся мусор, шприцы, иглы, битые ампулы, бутылки, бумажки, спички, задевая слегка отсыревшую от времени, впитавшую запахи, штукатурку потолков и стен, оставляя после себя на одно мгновение свежий аромат молодой зимы.

— Устал. Давай отдохнем.

* * *

На косогоре гряда камней окружала стены. Был день. Серый, облачный. Внизу, где-то далеко, маячили постройки поселка, а еще дальше — лес.

Виктор размахивал руками, а после, не получив желаемого эффекта, бегал, изображая пикирующую птицу. Птицы, до этого спокойно сидевшие на развалинах, всколыхнулись; воздух наполнился галдежом.

Валера отстраненно стоял рядом. Рассмеявшись, Виктор успокоился.

— Как думаешь, что это?

Валера промолчал. Он ботинком раскачал камешек и теперь катал его по земле.

Постепенно птицы успокоились и расселись на камни, предпочитая места повыше.

Где-то далеко скрипело дерево, позвякивало железо.

Подул ветер. Откуда-то донеслась *дудочка*, по-видимому, в поселке жили дети. Виктор встрепенулся:

— Слышал?

Валера молчал. Камень из-под ноги был важнее звуков.

— Что?

— *Крысолов... зовет...*

— Ветер, — и, не задумываясь, в шутку буркнул, — *злых перемен*.

Виктор промолчал. Его чуткое ухо пыталось уловить звуки. Но тишина поглотила все, кроме камня под ногами брата и легкого, едва различимого бормотания голубей.

— Да прекрати ты, — не сдержался старший. Валерка назло брату еще немного пошумел, а потом ему и самому надоел камень, — поднялся на гряду кирпича в проем стен.

— Это церковь!

— Храм, — неслышно повторил Виктор, — Ты веришь?

Валера сбежал вниз, к брату:

— Чему?

— В Кого.

— Да ну тебя. Пойдем.

Затарабанил дождь крупными каплями по камням. Вдали, в поселке, появились огоньки. Чей-то крик сменился на плач. Птицы поднялись с верхотуры и растворились в развалинах.

— Да. Пойдем.

* * *

Ветер метелил улицы Васильевского острова. Врывался в дома, пронесился по коммуналкам, просачивался сквозь стены и дымоходы в соседние квартиры, в соседние дома — город, как решето — нет преград.

Глава XV

1997

Ты зубами, когтями вырывал ее сердце; рвал на части, кромсал. Ты любил.

Катя давно уходила, но уходила как-то не до конца, всегда с ощущением неверия, что вот он — конец, все, точка, дальше так жить нельзя. А вот сегодня ушла. Окончательно. Бесповоротно. И все-таки Виктор не верил в ее уход. Не может такого быть, чтобы Катя его бросила. А как же их ребенок? Он же отец!

Когда-то давно, в начале их любви, Виктор опасался стать отцом. Какой из него отец. Какое семя он может дать любимой? Что вырастет из этого семени? Уродец. Инвалид. Даун. И каждый раз, когда Малыш беременела... кубиком больше — и беременности конец.

Возможно в момент расставания, в стрессе, где-то там, в глубине, он понимал, кто биологический отец, но как же иногда хочется быть вопреки.

Он стоял у входной двери, заслоня плечом выход, но Катя изменилась: не умоляла отпустить, не применяла силу, не била по-бабьи руками по груди Виктора, не стремилась сделать больно каблуком, нет, она была спокойной, можно даже сказать, равнодушной, но скорее... уставшей. Да, она была равнодушно-уставшей.

В прошлые разы умучившись, она уходила на кухню, закрывала дверь без стекла и плакала на липком столе. И он, уставший охранять запертую им же дверь, подходил к Катерине, что сидела на зеленой оборванной истертой табуретке, опускался перед ней на корточки, а то и просто садился на грязный линолеум кухни, сжимал жесткими, изрезанными, огрубелыми от кислот руками нежные кисти ее рук и просил прощения, умоляя остаться. В такие минуты его любовь врезалась в мягкие руки Катерины, оставляя синяки. Ей приходилось вырываться и прощать, лишь бы не испытывать боль, не видеть его искривленного в унижении тела.

Противный ветер щипал лицо. Однотипные дома с черно-коричневыми рамами, подъезды с вывернутыми в плечах дверьми, выщербленные скамейки и морозящий надоедливый, противно-холодный дождь. «Все не так уж и плохо», — думала Катерина, впервые за столько месяцев возвращаясь домой с легким сердцем. Кошмар закончился, больше не будут донимать ночные звонки, стук в дверь, посторонние люди. Она вновь свободна.

В своей жизни Виктор любил часто, но по-настоящему, до боли в лопатках, до разрыва сердца, — только один раз. Малыш — для других она была Катериной — стала его отдушиной. Тем ангелом, кто его понимал, рядом с которым он, ожесточенный жизнью, таял. Она внешне напоминала детскую игрушку, пластмассового пупса: малыша, удерживающего спадающие штанишки. Ее мягкие, теплые, полные бедра уводили мысли Виктора от ее лица, от очков с большими линзами. Ма-

лыш была девушкой невысокой и на десять лет его младше. Мало читала, совершенно не знала западную, да и свою, впрочем, тоже, культуру, не кололась. Проводила время во дворе с приятелями: обнималась, целовалась, пробовала пиво; была из семьи, не обремененной памятью рода. Катерина изменилась благодаря Виктору. Проявился в ней его вкус: появилось желание если не быть, то казаться в глазах любимого чуть совершенней; быть ему ровней. Она стала больше читать: увлеклась Булгаковым, полюбила «Монте-Кристо», осилила Платонова; стала слушать «Джетро Талл», «Лед Зеппелин», вникать в Башлачева, Галича. Она стремилась стать *частью вселенной* Виктора, стержнем, солнцем. И даже наркотик Малыш попробовала исключительно из ревности к «сопернице», из желания понять тень.

* * *

Катерина умерла от наркоты спустя год после Виктора.

Глава XVI

29 мая 1999

Мать проснулась от крика. Нога наткнулась на холодное тело. Ее собака сдохла. Холодное, твердое тело на кровати поверх одеяла. Холодное мертвое тело, хвост прямо непокорный, судорогой вывернута шея. Твердое мертвое тело.

На следующий день Валера уехал к брату в больницу. Ближе к вечеру он позвонил домой:

— Ма, Витя умер.

— Точно? Ты не путаешь?

— Я сам его видел. В морге. Ма, я приеду...

— Не надо. Завтра приезжай. — Она повесила трубку, вышла на кухню, поставила чайник, налила чай, дошла до кровати.

Упала.

Глава XVII

Безвремье

— Ма-ам!

— Ма-ма!

— Мамочка! Мамуля!

— Мамка приехала!

— Ма!

Шумит зеленое море. Колышутся кроны.

* * *

В пустоте, где земли нет и неба, вибрирует нечто. Это нечто есть крик. Крик младенца.

* * *

Молодая семья. Первый сын.

Быт налаживается: кооператив, новый дом. Жизнь вся впереди — двадцать лет за квартиру долги отдавать.

А ребенок растет: первые ясли, поликлиника; первый подзатыльник, ремень — первые слезы, обиды. Сын к мамке бежит за защитой. Мамка утешит, прижмет, поцелует. Мамка затрещину даст, а потом поцелует; обнимет, опять поцелует.

Мамка — защита, а папа — отец.

— Ненавижу тебя, ненавижу! — Телевизор не дали смотреть. В комнате заперли... одного. А за стенкой любимый фильм — он один на все времена. И любимый актер поет. А ты в постели.

А за стенкой отец и мать братика делают тебе. А ты мал и не хочешь спать. А завтра в школу.

— Ненавижу тебя, отец! — Ты ушел от нас. А мне уже пятнадцать лет, и с девочкой я дружу. Но я хочу быть с тобой, как тогда, помнишь, на «Невском пяточке»: документы, патроны, штыки — отдавали в музей. А потом ты ушел от нас: к той такой молодой, чуть старше меня.

Мать одна поднимает двоих сыновей. Жизнь почти что прошла, а долги еще отдавать. Квартире нужен ремонт, школьную форму пора обновить.

Дети взрослеют: младший как дочь, но старший — милей.

Вот и беда. Длинные волосы, первые шрамы. В школе не понят — плохая учеба. В классе восьмом проучился два года. Школу сменили, да поздно.

— Мама, а помнишь, в седьмом классе было, новый директор у нас появился. Длинные волосы ей не по нраву. При всех — обкорнала!

Помнишь, вызвали тебя в школу, и тебя, кандидата наук, как школьника, «высекли». Помню, суп ты готовила после. Был он соленый.

— Мама, давно хотел спросить: почему ты осталась одна? Дядя Володя, дядя Сережа, дядя Валера, дядя Марат... Ведь я мог быть сыном Марата. Он увез бы нас к себе на Балканы, и все было бы иначе. Сколько мужчин любили тебя! А ты оставалась одна.

— Младший так захотел.

— Младший... а как же я?

Вот и школа прошла. ПТУ. Пиво, как взрослый, пьет открыто с друзьями. Курит с класса шестого. Новые связи. Новые интересы. Взгляды. Все не по нраву! Мелькает в «Сайгоне»: чашечка кофе, одежда, походка. Теперь — на учете. Запахи в доме...

— Помнишь, сынуля, ты клей готовил. Для гитар — утверждал. А я верила. А отцу твоему не поверила и развод подписала. И всю жизнь я любила его и ненавидела.

— А потом я сел.

— А потом ты сел. И жизнь кончилась.

* * *

Лето. Колышутся кроны. Мать на коленях беседует с сыном.

Глава XVIII

Май 1999

Он умер, истекая гноем. В больнице города-героя. Среди таких же, как и он: бомжей, старух, наркош, дедов. Лежат в палатах, в коридоре, как в эпидемию, тела. Воняют струпья, пот, моча. И только белые халаты, брезгливо отводя глаза, оказывают помощь не спеша.

Виктора лихорадило. Знобило. Он думал перекантоваться, пере­мучиться, отлежаться. Пил лекарства, водку, но допустил момент, когда за наркотой бежать уже сил не было; полоскал тряпки в раствори­теле вхолостую. Задница опухала. Боли увеличились — заноза, дере­вянное копьё, меньше сантиметра в длину, тоненькая, как человече­ский волос, в попу вошла мягко, незаметно.

Мастерство медбрата Витя изучал в первую отсидку, он тогда санитаром работал при морге. С тех пор всегда лечил себя сам. Ноги часто перемерзали, гноились, гангреной грозили. Его никогда это не пугало. Возьмет желтый тазик с отбитой на дне эмалью, в чем мать бе­лье стирает, ногу на край положит, опухшую такую, как у бомжа в пе­реходе, плотную, с грязью, въевшейся в кожу. Нож заранее заточит, обрабатает огнем и режет, рану очищает. Потом из тазика весь гной в унитаз.

С задницей, как он ни старался, как зеркала ни ставил — не по­лучалось. Вот тогда и зародилась мысль о «скорой помощи». Расклад показался верным. Бомжа в больницу не возьмут, а укол сделают, да еще и лекарства оставят. Мать денег даст, он у них и купит. Только не срось — отказалась бригада.

Операцию Вите в больнице делать не спешили. Бомж. Кому в го­лову придет, что штамп о прописке и в больнице вес имеет? А он два года без прописки дома прожил. Все тянул, думал: зачем делать, коль скоро опять на нары. А вон как вышло. На третий день в коридоре и умер.

Послесловие

2000

По улице по Садовой мимо поля Марсового, замка Инженерного, двора Гостиного и Апраксина движутся люди, в думу погруженные. Кто в лаптях, кто на телеге, в карете, сапогах, ботинках на босу ногу или в носках. С котомкой, рюкзаком, сумкой. Тележкой. Движутся люди в потоке времени.

А на перекрестке Гороховой и Садовой между рынками Апраксиным и Сенным в потоке прохожих, таких похожих, осколок страны стоит. Глаза стеклянные, войной оплавленные.

Он один, а всем мешает. Сумки его задевают, колесики по ногам, локти прохожих по бокам бьют. А он стоит в поле, обдуваемый ветром, ноги от брызг мокрые — страну-призрак защищает. А страна, она вот здесь, перед ним — с сумками, тележками, авоськами протекает от рынка к рынку.

Утром Кирилл ушел из дома. Он вновь поссорился с тетушкой — не дала денег на борьбу с империализмом. Она с утра по коридору ходила, что-то привычное лепетала, а потом на лозунги перешла: кричала о сволочи, гадине. Свою тетушку забрал Кирилл из «гестаповских» застенков, где решетки на окнах, пижамы полосатые, где кровати на природе за ограждением из колючей проволоки, где охранники в белых халатах, где шлагбаум на въезде и злые собаки. Теперь она вновь дома. А там — никого.

Дома тетушка за собой следила: ходила в платье, в лицо втирала крема, отращивала ногти и покрывала лаком, волосы стригла только у одного парикмахера и там же их красила. Носила бусы и брошь, украшала старческие руки кольцами. На ночь она убирала сокровища под подушку, уходя из дома — прятала в тайник, еще дедом сотворенный. Из дома выходила только на демонстрации.

Демонстрации она любила. Там ее давно заметили, подлаживались под ее ритм. Она легко входила в возбуждение и оглушительно кричала: «Гу-уд-бай — гу-уд-бай» — «Е-ель-цын» — подхватывала толпа. Дома она доводила соседей хождением по коридору коммуналки, лепетанием мантры, подхваченной в сумасшедшем доме, бряцанием побрякушек на теле и тыканьем пальцем в двери. «Ну, началось», — говорили соседи, скрываясь в комнатах. Но даже дверь не спасала уши от мантры «гу-уд-бай».

Кирилл тетушку любил, но ее равнодушные к империалистическому злу, несознательность в защите государства раздражали, выводили из себя; и он убегал из дома; до рубежа: до перекрестка Гороховой и Садовой.

По субботам за ним приходила тетя Клава — соседка по коммуналке. Каждый день она стояла на Сенной площади, продавая с прилавка продукты. По субботам у нее был выходной день, и она устраивала генеральную стирку — в баках на кухне кипятила белье. Шумовой — длинной скалкой мешала белье в чанах; ухватится двумя руками и мешает; раньше старик-муж помогал, да где ж теперь ему помочь, сам в помощи нуждается, в уходе. Парализовало его. Лошадей в таком состоянии пристреливают, а его и пристрелить некому. Под себя ходит. Вот и крутится тетя Клава: днями торгует, а вечером за мужем ухаживает.

К стирке Клаве не привыкать, в советские времена в прачечной работала на заводе, там содой каустической грязь выводили, средст-

вами всякими натирала, но дома предпочитала старый способ: хозяйственное мыло на терке и в бак. «Кипяток — хвори враг», — говаривала она и добавляла: «В войну спасались и ныне спасемся».

Не она одна стирки устраивала. В редкой квартире белье не кипятили, не у всех еще машины стиральные появились, да и качество не то. Вот и стоял дух постирушек на площадках, на лестничных пролетах, в подъездах. Зайдешь в такой подъезд, а там двери в квартиры нараспашку, и туман, а после полы намывают и саму площадку у двери. Порядок такой.

В конце уборки шла тетя Клава в самую гущу боевых действий, проползала под треск пулемета и выносила из-под обстрела Кирилла. Истекающий, израненный боец с колотыми, рваными ранами из последних сил охранял страну от врага. А враг шел, тек нескончаемым потоком, трещал тачанками, оглушал взрывами, колол, бил, рвал, шумел вертолетами, травил газами, ослеплял, жалил пулями, а Кирилл стоял и терпел, ждал смену караула. Ждал и надеялся.

Тетя Клава через Матрену, соседку по площадке и сменщицу на рынке, доставала для Кирилла таблетки. Без них парень мокрел: не удержиимо текло из глаз, носа, рта; буйным становился, с ума сходил. Матрена, старушка — божий одуванчик, из-под полы торговала лекарствами: порошками, таблетками. Всегда улыбчивая, маленькая, сама первая спросит: «Чего, милая, ищешь? Может, помочь?» — и всегда помогала. Не бесплатно, конечно, да кто ж сейчас бесплатно поможет? Но и барыгой не была, лишнего не набрасывала — на жизнь хватало. Жила она в коммуналке, и все ее, видимо, устраивало. Сменщицу свою, Клавку, жалела по-бабьи, знала о сыне, сгинувшем в декабре 1994-го. Сама помогла деньгами ей на дорогу в Чечню. Сама и свечку на Смоленском у Ксении Блаженной ставила, и молилась искренне.

К ней, к Матрене, со всего города страждущие приезжали. Была она не единственной, кто «лекарствами» торговал, но было в ней что-то особенное, притягивающее; бывало, ладонью сухой такой, старческой, с жесткой тонкой кожей, проведет, коснется — и все проходит. Понимала она их, что ли, скованных, порванных, изодранных; колото-рваных; с опухшими руками-обрубками, с оплавлено-закопченным застывшим отмороженным взглядом; или как к внучкам относилась — своих-то не имела. Дома что: пустота, старенький телевизор, холодная постель — всю жизнь на работе фармацевтом. Семья — да не нужна была она ей. Это потом, к старости, уже на пенсии, задумалась. Удержалась на краю. В дворники ушла. А потом о ней вспомнили, пригласили работать — торговать. Опыт. Маленькая, все они в старости маленькие, добрая старушка.

Шумит площадь в потоках людских. Больные, здоровые, немощные, беспечные, старые, молодые...

«45-я ПАРАЛЛЕЛЬ»: ЛАУРЕАТЫ В «КРЕЩАТИКЕ»

Второй международный поэтический конкурс «45-й калибр», проведённый интернет-альманахом «45-я параллель» //www.45parallel.net, собрал 124-х участников из России, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Германии, США, Израиля, Швеции и, к примеру, из... Австралии, Арабских Эмиратов, что, согласитесь, трудно спрогнозировать.

В турнире сезона 2013/2014 победил Михаил Дынкин (Москва). Королём поэтов — по версии альманаха-45 — он стал, набрав сумму баллов, недостижимую для других.

Среди призов, заявленных организаторами конкурса, был и приз главного редактора «Крещатика» — публикация подборок ряда лауреатов.

В этом номере — их стихи как участвовавшие в конкурсе, так и новые...



Михаил ДЫНКИН

/ Москва /

НЕСПЯЩИЙ

* * *

Агамемнон вернулся домой, уничтожив сто тысяч галлов.
Зовёт к себе Пенелопу, являются женихи,
читают ему стихи о демонах и валгаллах,
о том, как сияют скалы, о тех, кого душат мхи.

Агамемнон сидит, скучает, подбородок подпёр ладонью.
Вспоминает иное время, переход через Альпы, свет
над полями, заросшими белладонной...

Зря обвитый аспидами аскет,
сменив женихов, левитирует в тронном зале —
Агамемнон спит и видит во сне свиней:
это его гвардейцы пьют самогон в казарме,
цвет регулярной армии, самые звери в ней.

Алый шар, озарив дворец, катится над палестрой.
Ещё один сон — и хорош, пожалуй.
Приближается Пенелопа (а кажется — Клитемнестра),
ударяет спящего в грудь кинжалом.

* * *

1

размыкаются кольца странствий
озаряясь родным огнём
— это будет такой катарсис
что невольно утонешь в нём —

прячась в тень, напевает некто
у вольера, где спит герой
а в невидимой части спектра
наблюдающий за игрой
гуманоидных сложных кукол
в мифотворчество зритель впал
ходят сны по цветочным клумбам
пропитавшись пыльцой, и Пан
наконец-то настроил флейту
выпив с Вакхом на брудершафт
дождь берёт голубую лейку
поливает сухой ландшафт

2

размыкаются кольца странствий
гипнотический Лаокоон
помнишь, как ты ревел от страсти
с лёта врезавшись в легион
неприятельский, этой жажды
не унять, но приходит час —
в ту же реку заброшен дважды
в те же двери начнёшь стучать
узурпатор окажет милость
мертвечины швырнёт кусок
ничего здесь не изменилось:
нижний уровень, третий сорт
бочки киников пахнут потом
всё-то стоикам трын-трава...
обступили вольер илоты —
поглазеть на больного льва

Лица

слетелись лица выклевать глаза
но ты эвакуировался за
холсты тумана, выпуская корни
и щупальца, меняя цвет и форму
дрожащим самкам подавая знак
не двигаться... и первое лицо
пробив туман, вошло заподлицо
в голодный грунт, не рассчитавши угол
падения, и по незримым дугам
спикировала, взяв тебя в кольцо

клокочущая ярость остальных
и над буграми мышц твоих спинных
защёлки изогнутые клювы
и дождь через плечо три раза сплюнул
на остовы сараев дровяных
там копошились тени доходяг
и кровью на крошащихся гвоздях
расписывались вставшие из торфа
фантомы чёрных братьев Метаморфа
вплетённые в змеиный Зодиак —
твои солдаты и твои рабы...
тогда из покосившейся избы
и вышла Смерть с разинутую пастью
и ты увидел, как с Её запястий
снялись лица в родинках судьбы
всё новые и новые... туман
рассеялся, в узорах рваных ран
задравши морду в небо ледяное
ты оградились снежною стеною
но не сдержал клекочущий таран...

всё стихло, ты очнулся на столе
в реанимационном отделе-
нии сырой приземистой больницы
открыл глаза, и... полетели лица

* * *

1

закатывалось бледное, когда
из морозильной камеры могилы
звероподобный выбрался наружу —
никто не видел... только местный грач
качнувши стариковской головою
слетел с кривой берёзы от греха
да волк завыл, а может, это ветер
запутался в дрожащих и сырых

звероподобный двигался вдоль склона
поросшего колючими холма
кружились в небе белые, слепили
а в деревянных жёлтые зажглись
там вкусные раскуривали трубки
смеялись, пели, нянчили своих
детёнышей...

тогда-то он и вспомнил
костры в тумане, острый запах пота
животный страх, переходящий в смерть

и лёг на белый, и пополз на жёлтый

2

высокий вкусный вышел из ворот
поёжился, затем перекрестился
стал красным вкусным, быстро перестал
сопротивляться... выбегали злые
испуганные, кислые на цвет
с приплюснутыми мыслями на запах
в руках железки, из железок — дым...

3

— никто и шелохнуться не успел
как будто он из будущего прыгнул

— ну да, сидели, выпивали за...
да мало ли за что мы выпивали!

— что значит признавайся? это шутка?

— сидели, выпивали, говорю
травили анекдоты... за окном
всё падал белый — тут-то я и вспомнил
костры в тумане, вкусных на конях
края могилы, нестерпимый голод

Баллада о Граале

философский ли камень скатился с души
ржавый рыцарь хохочет в клубах анаши

отражаясь в трофейном Граале
щиплет кралю в портовом серале

посмотри на меня, я герой Ланцелот
истребитель драконов, воздушный пилот

штурмовик из отряда Артура
поглядит и оскалится, дура

мол, видали мы ваших и прочих других...
оплетают белёдые руки пурги

корпуса кораблей на приколе
отвернулся — обиделся что ли —

Ланцелот, отрывая Грааль от стола
протыкает запястье стрела не стрела

но какой-то предмет посторонний
размывается профиль вороний

сквозь него проступает змеиный анфас
вот тебе и история — скажешь, не фарс?

— ничего не скажу, потому как
это я развлекаюсь из лука

это я, если хочешь, воздушный пилот
истребитель фантомов, которые вот:

лжегерой и портовая краля
отойди, говорю, от Грааля

ржавый рыцарь хохочет, но только иной
ястребиные крылья сложил за спиной

победитель финального тура
штурмовик из отряда Артура

демонический праведник новой волны
он вернулся с Четвёртой Драконьей войны

без разбору своих побиваша —
никому не достанется чаша!

Обряд

родители выносят малыша
все шестеро — щетинистых, шипящих
над ними возвышается Неспящий
невидимыми крыльями шурша

раб взбалтывает запахи
пора
менять раствор в воронках погребальных

служители с токсичными грибами
застыли по периметру двора

включается сакральный аппарат
раскопанный ещё в палеолите
глянь, феромоны сыплются в числитель
а блики в знаменатель...

лиловат
первосвященник

куколки врагов
опущены в дымящееся зелье

родители, завёрнутые в землю
благодарят хтонических богов

* * *

сначала умер плюшевый медведь
да не один, а сколько их у Маши...
потом сломалась Мишина машинка
взрыв разметал солдатиков на марше
и даже жёлтый клоун на пружинках
устал ломать дешёвую комедь

ты скажешь — просто выросли ребята
а я скажу — тем хуже для ребят
студентки Маши и сержанта Миши
однажды он вернётся из стройбата
и вместе с Машей (чем не вариант?)
займёт-таки положенную нишу

пойдут детишки, ссоры и т.п.
там и развод, считай, не за горами
жизнь удалась, никто не виноват
прикован к креслу после ДТП
смолит LM по грудь в оконной раме
и вспоминает Машу и стройбат

что это было? было ли оно?
вот он в казарме пишет Маше:
— встреть
меня 6-го на Казанском, ладно?
вот за руки держась, они в кино
идут и исчезают безвозвратно
вот умирает плюшевый медведь

© Михаил Дынкин, 2013–2014 .



Виктор ВЛАДИМИРОВ

/ Долгопрудный /

КУДА-ТО Я УЕХАЛ

Кто же ты?

Так кто же ты? Кем Бог тебя ваял?
По имени давно не называют.
И, кран с утра вращая, как штурвал,
ты здесь живёшь, где дня не выживают.

Ещё подремлешь, чтобы за часок
накапало ведро воды и праны,
потом грызёшь свой каменный кусок,
которым пренебрёг строитель храма.
А гвоздь в стене нацелился в висок.
И поздно жить, и встать из мёртвых рано.

А перед сном ты думаешь, что Бог,
сюда, где спишь, забившись в свой чертог,
сойдёт опять с невозмущённой тверди,
где эти лапокрылые, как черти,
того гляди обрушат потолок.

Но утром вновь забудешь диалог,
что Вы вели о жизни и о смерти.
А помнишь зал... себя... Аиду Верди...
И музыки высоковольтный ток.

Город Зеро и никакого моря

Я ехал один. В никуда. Было так хорошо.
Куда-то я ехал. К пейзажам Твери или Крыма.
Какая-то тварь предлагала купить порошок.
И было желание её растереть — нестерпимо.

Колбаску жевали вокруг, разливали пиво.
И дружб мимолётных несли ахинею и лажу.
А я оккупировал полку, мне было легко.
Казалось, с любой огнедышащей тушеем слажу.

Проснулся от холода. Трезвый. Но было темно.
Болтало вагон, как у стайера кровь селезёнку.
И потустороннее нечто глядело в окно,
и так захотелось завить, как от страха ребёнка.

Я вспомнил, как тот говорил мне вчера под бухло,
какой-то небритый и в меру нерусский Овидий:
«На 42-м не копайся, оставь барахло —
и медленно, медленно из настоящего выйди».

И я выхожу. Машинист передёрнет матчасть.
Вагонные стёкла сольются, сомнутся, промчатся.
Стою. Я приехал. Здесь можно навек замолчать.
С платформы сойти, раствориться и не возвращаться.

Селена кривлялась беззубо: «Куда бы ни шёл...», —
и юркнула в щель торопливо строений окрестных.
А я ощутил, что последней надежды лишён,
состав исчезал, как и след этих рельсов железных.

Спасибо за то, что приехал сюда в несезон.
Есть время сполна оценить злое качество шутки:
на сколько застрял твоей милостью, славный Назон,
меж прошлым и будущим в этом глухом промежутке.

Ещё постоял на платформе, дыры новосёл,
ломаю коронки о щебень глаголов неместных.
А над головой, остывая, светил ореол,
прибывших железкой всегда отличавший от местных.

Чугунная звезда

Может статься и ты, всё поставив на звёздную карту,
не решишься: с какою звездой надежду связать.
Это звёздное небо сегодня о Боге, по Канту,
говорит даже больше, чем, может, хотело сказать.

Отыщи, как и я, в небе звёздную (видишь?) полянку,
что с соседними вместе сверкает сквозь ночи рядно,

словно жизнь демонстрирует нам золотую изнанку
или в случае крайнем лужёное оловом дно.

На предмет астрологии звёздный ландшафт изучая,
обнаружишь излучину (там же!) с прозрачной водой,
где трепещет твоя, точно рыбка, звезда золотая
над моей затонувшей, холодной, чугунной звездой.

Каньон

(с другом)

Чтоб свободы вдохнуть здесь на всю, до кишок, глубину,
я не зря прикатил сюда из зачумлённой столицы.
Я приехал на родину, а не в чужую страну,
я из прошлого ехал сюда, а не из заграницы.

Нахлобучивши крышу на брови, окошки одну
видят сразу из трёх объективов прибытия сцену.
Разгрузились. И хоть объявляй перепончатокрылым войну.
Осы — в рот норовят и кусают, собаки, как цены.

Света нет, говоришь? Но на полке фонарь и свеча,
в доме газ синеглаз — не пещера, чай, неандертальца.
Посидим. Помолчим. Ты плесни мне в стакан первача
на три скрюченных жизнью, что в кукиш не сложатся, пальца.

Хочешь душу пытай, хочешь камни с души собирай.
Млечный путь вытекает в долину из звёздного зева.
А на том берегу помидорный отгрохали рай,
только в этом раю ни Адам не замечен, ни Ева.

Над свечой — насекомый Содом, под луной — тишина.
Ночью в комнате мышь, как топограф, топочет под полом.
По каньону тумана плывёт в мезозой пелена,
и века, словно тени, стоят вдоль Днестра частоколом.

На тот берег махнуть по грибы — это всё же вопрос.
Олигарх через Днестр не кинул ещё эстакаду.
Небо — синь. За горой где-то слышится логово гроз.
Шершней, ос — что же делать нам? — потчуем ядом.

Соберутся — решат мудрецы их на съезде своём,
что хозяева прежние были понятней и ближе,
эти новые — злыдни, тандем их — не переживём.
Так что всё, многокрылые, смазывай оси и лыжи.

Утвердив свою власть, зимовать теперь будем вдвоём?
Может быть. А пока бы свободой сполна насладиться.
За рекой помидорные грядки пасёт окоём.
И пришельцам в полнеба сияют ночами теплицы.

* * *

Надо выйти из комнаты, сесть,
что тебя не помнят и здесь —
понять, на чём-то нелепом сидя,
ничего перед собой, по существу, не видя.

Надо выйти из дома. В окрестность.
Понять — тебе незнакома местность
до последнего в ней провала,
да и тебя она не знавала.

Надо выйти из города Солнца,
и вперёд — куда морда ткнётся,
точно лось в ручей или лужу,
и понять, что жизнь стала смысла уже.

Надо выйти из жизни (без паспорта)
по традиции в призме (вид транспорта),
к ней с овчинку небо, гвоздями страшая,
присобачат, солнца не обещаая.

Надо выйти без солнца и без отечества.
Отойти от стада. Отпасть от жречества.
И тогда тебя, указуя пальцами,
как последнюю суку, затравят зайцами.

Надо выйти за скобки, кавычки, грани
представителем мыслящей почему-то рвани.
Так выходит горлом стихотворение
из последних слов столпотворения.

Озеро крика

Крюки, зигзаги, линии, углы —
Бурже снующих чаек, с их природной
стремительностью вяжущих узлы
отчаянья над мёртвой зыбью водной.

И кажется, не крылья, не нужда
гоняться за куском, который бросят,
не тяга в небо, страсть, инстинкт, беда,
не сумма их, а крик тех чаек носит.

Крик, клюва выпрямляющий изгиб,
врезающий в гортань стальные свёрла,
ключиц, уключин, крыльев резкий скрип,
неустранимо рвущийся из горла.

И понимаешь: крик тот был всегда.
Но здесь его присутствия кто просит?
Где крика и движения вода,
как разум правды жизни, не выносит.

* * *

Майе Лановской

Не Ваши ли глаза в живых ресничных гнёздах,
над книгой задремав, легли на веки ниц?
И выдох наш и вдох объединяет воздух,
им дышит океан меж наших двух границ.

Заоблачен и мглист, в уме зажав сценарий,
свой выход ждёт рассвет в загашнике кулис,
но путь луча тернист, застрявши в Нарьян-Маре,
он, может быть, в обед споткнётся о Тифлис.

И выскользнув едва из дружеских объятий,
в Атлантику рванёт, чтоб, три часа спустя,
пуститься напрямик, и скоро в Цинциннати
Вы встретите его с улыбкой, но грустя.

Мы каждый новый день теперь встречаем розно,
и тупики разлук не ведают конца.
Смерть рано начинать, а жить всегда не поздно,
не покладая рук над замыслом Творца.

© Виктор Владимиров, 2009–2014.

Константин КОНДРАТЬЕВ

/ Воронеж /



...А ВАШИХ НЕТУ — БЕЗ ЧЕЛОВЕКА

Urbis et orbis

Каравай-каравай...

Отойдѣшь на полверсты за город
(вот он — светел и миролюбив:
будто спев Камыш нестройным хором,
по последней стопке осушив —
о своём задумались домишки,
подперев морщины кулаком
узловатых яблонь, и с одышкой
порошат махорочным дымком —
кисловато-железнодорожным),
Отойдѣшь за город на версту
(безымянным и пустопорожним
ручейком переступив черту,
чья незримость и необратимость
поросла высоким камышом,
позволяя вспомнить анонимность
и купаться в ряске голышом). —
Отойдѣшь за город (за оседлость,
за чертой — в миру — на полторы,
нет — на две версты — и их веселость
равнозначна правилам игры) —
И увидишь: каравай раскрышен.
Караваном — журавли в пути.
В камышах — подранок. Жребий брошен.
Остается поле перейти.

Петербургские терцины

I

Изнанка жизни больше скажет грубым
рабочим пальцам, нежели холодной
прозрачной оптике хрустальных льдинок памяти.

И лижут языки. И лесорубы
в тайге весенней — жадной и голодной —
сурово нежат свои руки в жарком пламени

тревожного костра. И конвоиры
зрачки пустые прячут, исподлобья
встречая тяжесть взгляда то ли млечного,

а то ли волчьего. И, словно лиры мира,
гудят стволы. И сыплются с них хлопья
сухого снега, лёгкого и вечного,

на чьи-то плечи, на чужие спины.
И как во сне — распахнутая площадь
простреливаемого наугад Петрополя.

Вот горностай. Вот царство Прозерпины.
Вот мыслимость попробовать на ощупь
изнанку мантии. Он так её и пробовал...

II

(19 октября 1991)

По стёртым ступеням к распущенным пьяно губам
Совсем очумелой в осеннем ненастье Невы.
И будто пикирует флейта и бьет барабан
Со dna зашифрованной насмерть 10-й главы.

В порожней бутылке сереет сырое письмо.
Её закупорим без воска и без сургуча.
А в тени дворца предстоит Провиденье само
И смотрит внимательно на воду из-за плеча.

Бессмысленны воск и свинец, и напрасно гадать,
Судьбу, как бутылку, вверяя нетрезвым волнам
Реки, на которую не снизошла благодать,
А — как и тогда — от которой поднялся болотный туман.

Нам будет о чём помолчать — словно поговорить,
По Марсову Полю бредя, как по грязной стерне.
О, он плодовит — и её он ещё покорит,
Но там — на другой — Петроградской — её стороне.

А поздний рассвет — как проспавшийся дворник, крестясь, —
Отпрянет от лика, что будто примнится сквозь муть.
И будничный день, как похмельный студент, будет всласть
Блевать, перевесясь с перил в запредельную тьму.

III

Мой благородный Петербург,
Ты совмещённый — как санузел,
Твой оглашенный демиург
Не человека — мир заузил.

Лишь — ужаснувшись пустоты,
Шась — дьяволом из готовальни!..
Вальтом — дворцовые мосты,
И в пиве царские купальни.

Лишь сон, долбивший по виску,
Пройдёт насквозь шальную бошку —
И ну накручивать тоску
Вертлявую — как козью ножку.

Лишь спяну, пыжась на респект,
*Cologn'*ом глотку прополощешь —
Углом — канал, углом — проспект,
Лекалом кафельная площадь.

Провал двора, хорал оград,
Косой фасад и перст *Колонны* —
И Петро-град, и Ленин-град,
И львы, и сфинксы — клоны, клоны...

И невской мутью дохлых ос
И срани будто бы Господней
Вся муть Истории взасос
Вползает в шлюзы преисподней.

Мой Петербург! — прощай-прости.
Блокадной ветошью закутан —
Ты где-то на своём пути...
Но тут — лишь звёзды над закутом,

Лишь затхлая овечья шерсть
Да неизбывный привкус прели.
Прощай. Светает нынче в шесть.
Прости... Мы снова не успели.

*И спяну, либо же со сна,
вдруг выбредешь: бугор, округа...
а на бугре стоит сосна —
как настоящая подруга.*

*И — не сказать: вокруг — окрест! —
всё волнами — овраги, склоны.
И буйство за один присест
дубов и лип. И — клёны, клёны...*

IV

(дополнение до катрена)

Горит квадрага
лихой тачанкой
над аркой Штаба.

Гремят *Варягом*
по полустанкам.
И воют бабы.

И вся интрига,
и все заветы
хмельного века:

бессмертна Книга.
А ваших нету —
без человека.

1 января 2000

Корабельная сосна

Шероховатость твоего ствола,
необратимость жилистых развилок...
А тут — пустая белизна стола,
тулупчик заячий — да путаница ссылок.

Не заплутаться только в небесах
и можно... Только возвратившись
домой — услышишь: Бах в густых басах
углов. И звякает, скатившись,
звезда в ведро под жёлобом. И тон
печных ходов восходит на октаву —
а выше, под стрехой, — хрустальный звон
да пенье комаров...

За нашу славу,
за наши флаги, за российский флот,
за парусов упругие полотна
над холодной зыбью ладожских болот —
страной бесплодной и душой бесплотной
заплачено...

Стакана на столе
белёсое и призрачное пламя,
перебеганье язычков в золе,
державности языческое знамя —

за всё заплачено. И ярославнин плач
доселе слышен — глухо, сквозь подушку.
Краснорубахий призрачный палач
на зуб пытается медную полушку...
Не отвести прилипшего ко лбу
клока, не отвести дурного взгляда
от треснувшей на каменном горбу
рубахи...

О, очей моих услада!
О, сладость непроглядная ночей.
О — жар подушки, тяжесть одеяла...
— Ты чей, парнишка?.. Стало быть — ничей.
Не для тебя ль я сотни лет стояла
здесь — на постылом стынущем юру,
стыдом терзаясь — и сквозя бесстыжей
смолою чрез шершавую кору,
и тешась игрищами мелкой белки рыжей —

чтоб игом в чёрных и чужих кровях
войти — и пасть в кипящие буруны...

Зима грядет. И Бог в тугих ветвях
перебирает арфовые струны.

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит...
Б. П.

С июля слухи доходили.
Пороли длинными плетьюми.
Плетнями вили. Городили — как небылицы меж детьми.
Полуденным коровьим оком
Вдруг соловели под сохой
И сыпались в бору высоком пропахшей травами трухой.

И сухойстой пережидали,
Таились, жались в камыши.
И вдруг — расплёскивали дали и слали стрелы черемши
Окрест.
...И разгорались, как Стожары.
Кривясь на окрик сторожей,
Ягнёнка крали из отары и прятали в гнездо ужей.

Ушами прядали кобылы,
Храпели с пеной на губах,
Когда плескались заводилы в глухих прибрежных бочагах.
И в свист — над заводьями, низко —
Над самым лунным черпаком —
Шальная проносилась низка, шипя и щерясь угольком.

Когда ж разбойничьим шалманом
Вставал щетинистый бугор —
Курились чобром и дурманом и продолжали разговор.
Не степенились. Сатанели.
Под утро спьяну на губах
Перешерстили в клочья ели, перетряхнули на дубах

Листву.
...И сызнава, с оглядкой,
С наивной хитростью детей —
Несвоевременной колядкой на ивах вешались. Желтей,
Прозрачней, призрачнее, проще
Всё становилось. Впопыхах
Сквозняк по оголтелой роще шнырял и внюхивался в прах.

А в пух и прах раздетый тополь,
Переливающий в металл,
Вотще топорчился и штопал, и швы следами заметал.

Всё круче, истовей кренилось
Всё. В край глубокой колеи
Телега шла. И Русь крестилась. И расцветали холуи

В грязи малиновой подкладкой,
И грызли девочки на съём
Лузгу — когда глубокой складкой чело нахмурил окоём:
Когда — кривы и златовещи —
Лучи — *(не от Твоих ль щедрот)* —
Как восхитительные клещи впились юродивому в рот!..

Но, отгоняя попрошайку,
В надежде славы и проказ,
Хмелел холоп. И сбились в шайку. И грянул в лоб царёв указ.

© Константин Кондратьев, 2000–2014.



Иван МАЛОВ

/ Оренбург /

СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ И ВЕЛОСИПЕДЫ ДЕТСТВА

Лицея светится окно

...Чернильница моя...
А. Пушкин

Он жжёт свечу. В округе каплет
С вечерних крыш — весны пора.
Плывёт чернильницы кораблик
Под белым парусом пера.

Плывёт. Плывёт. Ещё страница!
А на дворе уже темно...
Вновь будет Пушкина окно
В Лицее за полночь светиться.

Печальной осени картина

Печальной осени картина,
Душе созвучная, видна.

В подлеске пёстром паутина.
Отавы скошенной копна
Передо мной стоит, грустна:
В погоде пасмурной причина.

Поодаль ветки бересклета
Промокший ветер шевелит.
Молчат луга, в туман одеты,
И сырость воздух тяжелит.

Бегущей строкой

В ночь увозя пассажирский покой,
Свет из оконных мельканий,
Двигался поезд бегущей строкой
Темою встреч-расставаний.

В ночь уходящий мужчина

В ночь уходящий мужчина
Смотрит на спящего сына.

Медлит ступить на порог
Всех невозвратных дорог.

Не провожает жена.
Сонно-угрюма она.

«Лучше не будет!» -- сказала.
Вышел. На поезд. К вокзалу.

Горечи замкнутый круг —
«Лучше не будет!»

...А вдруг?..

Свободная тема

Игорю Шкляревскому

Половодье. Каникулы. Пашня чернеет за школой.
Я с друзьями на лодке на остров зелёной пльву.
Там зовут на поляну подснежники стайкой весёлой,
И пологий причал в молодую вдаётся траву.

И вода прибывает, и друзей прибывают восторги
И о вешних цветах, и о запахах талой земли.
И скворешня-маяк, молодой дом родной на пригорке
За кормой остаются, волнуя, теряясь вдали.

Солнце радует нас, приближается вербовый берег.
И его, омывая, всё туже и туже с утра
Затянул, будто пояс, рекою разлившийся ерик —
Огородов затопленных, птиц гомонящих пора...

День и вечер пройдут.
Словно листья в срок вербушка-дева,
Ночь распустит красу — деревенские звёзды в тиши.
На уроке словесности будет свободная тема.
Половодье. Подснежники. Радостны крылья души.

Земля окунается в негу

Сушь. Ни тучки в степной стороне.
Хоть бы влажные ветры подули!
Без дождя в знойный день в тишине
Часто никнет округа в июле.

Дождь прольёт — снова птицы поют,
И земля окунается в негу,
И укроп — огородный салют —
Торжествующе тянется к небу.

Велосипедисты детства

Вслед за солнышком вставали,
Мчались в луговой озон.
Под ногами — две педали,
Как ступени в горизонт.

Спицы быстрые вязали
Шин узорные следы.
Как звоночку подпевали
Летом птицы с высоты!

Он звенел, что мир чудесен.
Нас манили, уводя,
Километры птичьих песен,
Сельских далей и дождя.

Я дождя начало слышал
Поутру — крыльцо, легки
Первых капелек по крыше
Голубиные шаги...

Борис ХАЗАНОВ

/ Мюнхен /



OPERA MINIMA

(*Малые произведения*)

Московские древности

...Таковы, например, евреи. Они теперь остаются носителями Антихриста и, уж конечно, восторжествуют: они ломаются, они идут; всё враждебное человечеству — за них, как же им не восторжествовать на гибель миру!

Достоевский — Юлии Абаза (1880)

Москва! как много в этом звуке...

Пушкин

...В те годы великий город, пятно неправильной формы, вбирающее в себя тысячевёрстные магистрали далёких окраин, стояло на карте моей души, и до сих пор в памяти живут времена, когда казалось мне, нигде больше нельзя жить на свете, кроме Москвы.

Но всё трудней с каждым годом становилось передвигаться по городу. Сергей Миронов, профессиональный шофёр, в своё время водивший тяжёлые многоколёсные фургоны в Финляндию, не переставал удивляться незаконному уличному движению в столице. Опрокинутые колёсами вверх машины с разбитыми фарами, со смятым радиатором, похоже, стали рутиной. Чуть ли не каждый третий автомобилист, оказавшись он за границей, тотчас лишился бы водительских прав. А что поделаешь? Таков был этот город. Часами сидели мы в пробках, поглядывали на вереницы машин, запрудивших тротуары, на испуганных прохожих, прижавшихся к стенам домов, на несущиеся, изрыгая газ и смерть, по центральной полосе, а то и навстречу движению, импортные лимузины новых хозяев жизни, слышали хор несмолкающих гудков, искали глазами несчастную, намертво застрявшую в безбрежной

лавине Скорую помощь. Сколько же времени, думал я, остаётся этому Вавилону до Судного дня, когда наступит коллапс. Но коллапс, подобно концу света, постоянно откладывается

Любопытное совпадение с «Московским дневником» 1929–30 г. Вальтера Беньямина:

«Люди ходят по улице, лавируя. Это естественное следствие перенаселенности узких тротуаров. Эти тротуары придают Москве нечто от провинциального города или, вернее, характер импровизированной метрополии, роль которой не нее свалилась совершенно внезапно. Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают, — это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным...»

И всё же я отваживался показывать город друзьям, водил, уступая просьбам, Сергея и его красивую жену в только что воздвигнутый соборный храм Христа Спасителя на Волхонке — грандиозный шедевр державно-православного кича, — толковал иконы и фрески. Должно быть, это было комическое зрелище: еврейский гид просвещает в соборе невежественных христиан. Удавалось приглашать закордонных гостей, и я сопровождал чету Графенхорстов в древнерусские чертоги Третьяковки, где, к счастью, ничего не изменилось.

Моим немцам я показывал смолистые кудри Димитрия Солунского, крутолобого угодника Николая Мирликийского, худенькую, похожую на подростка Параскеву Пятницу, Нерукотворного Спаса, Устюжское Благовещенье, некогда спасённое от метеоритного камнепада, братьев-мучеников Бориса и Глеба в круглых княжеских шапках, со скорбными кофейными лицами, с флажками на копьях, бок о бок верхом на танцующих тонкошеих конях. Так брели мы из одного зала в другой, куда не явились навстречу нам, как их видел в XV столетии инок Андроникова монастыря Андрей Рублёв, те Трое, о которых я, как Блок о «Макбете», не могу говорить без волнения. В полуденный палестинский зной пришли полуюноши, полудевушки к пожилым супругам Аврааму и Сарре. Таинственных гостей усадили в тени под деревом. И вот они сидят, склонив друг к другу пышные причёски, ведут друг с другом безмолвную беседу, излучают гармонию, покой и волю, каких не бывало, не будет в нашей горемычной стране.

Последний день моего паломничества наступил; чуть было не забыл я упомянуть о том, что оказался в Москве благодаря счастливой случайности — удостоившись литературной премии. Церемония вручения награды была закончена. Обратный путь по Каширскому шоссе в аэропорт вместе с моим братом Толей, ныне покойным, проделали в такси, шофёр оказался приветливым интеллигентным человеком. Разговор шёл о том, о сём. Водитель отрекомендовался верующим православным христианином. Толковали об иконописи, о библейских сюжетах. Мой любознательный брат спросил: «А как вы относитесь к евре-

ям?» На что собеседник ответил, что евреи очень способный народ, но их, прибавил он, надо ограничивать. Мне вспомнились времена моей ушедшей жизни на родине, и было нетрудно понять, что означали эти слова. Ничего, стало быть, не изменилось.

Водитель остановил машину перед входом в аэровокзал. Мы дружески попрощались.

О дневнике

Идея вести собственный дневник осенила после чтения необыкновенно увлекших меня, уснащённых выдержками из юношеского дневника Воспоминаний Вересаева. Мне было 15 лет. Шла война, жили в посёлке районной больницы, в бараке для персонала, я ходил в школу русско-татарского села Красный Бор на Каме — два километра зимой по снежной дороге, осенью в разливах грязи, слева холмы, поросшие лесом, справа могучая река.

Поздними вечерами, когда моя мачеха дежурила в больнице, а маленький сводный брат уже спал, я сидел перед коптилкой, читал и писал; увлечения мои сменяли друг друга, менялись и жанры; с некоторых пор стали главными литературные: письма к многоюродному дяде, студенту энергетического института из эвакуации на Урале — и дневник. Осенью 44-го мы вернулись в Москву.

В июле 49 года был арестован Сёма Виленский, к этому времени я был студентом последнего курса филологического факультета, классического отделения. Я уничтожил последнюю, теперь уже написанную в Москве, дневниковую тетрадку, где чёрным по белому стояло, что в нашей стране фашизм и прочее в этом роде. Но прошло несколько месяцев, судьба Сёмы, исчезнувшего бесследно, осталась неизвестной, никто за нами, мной и моим другом Яшей, не пришёл. Наконец, в ночь на 26 октября 1949 г. крысы в фуражках с голубым околышем вторглись в квартиру моих родителей. Меня увезли на Лубянку, дома в моё отсутствие был произведён обыск. Грабители унесли все мои бумаги, в том числе письма к дяде и дневник, об исчезновении которого я не перестаю — через столько лет — жалеть.

История псевдонима

На главной странице нелегального машинописного журнала (позднее — сборника) «Евреи в СССР», изготавливаемого в количестве десяти-пятнадцати экземпляров, один из его основателей и редактор, физик Александр Воронель предупреждал будущих авторов и читателей (включая тайную полицию), что анонимных и псевдонимных материалов журнал не публикует. Дело происходило, если не ошибаюсь, во второй половине 70-х, к этому времени я был давно уже освобождён из лагеря и около двух десятилетий обретался на воле.

Вопреки объявлению, означавшему намерение вести себя хорошо, редактор согласился поместить в самиздатском журнале мою статью «Новая Россия», но счёл её слишком рискованной и присвоил автору псевдоним, который должен был звучать, в согласии с программой и наименованием всего предприятия, и по-еврейски, и по-русски. Так появился на свет Борис Хазанов. Реальный носитель этого имени, инженер, неведомый мне и никакого отношения к диссидентскому движению не имевший, уже несколько лет находился в Америке; предполагалось, что КГБ до него не дотянется. (Мир тесен, и много позже оказалось, что Б. Хазанов был родственником моей первой французской переводчицы, парижанки Элены Роллан.)

Конспирация не помогла, довольно скоро псевдоним был разоблачён. С тех пор он приклеился ко мне и украшает все мои сочинения, но литература моя стала решающим обстоятельством, побудившим в конце концов и меня покинуть отечество.

Об одном литературном герое

1

Оставляя в стороне дискуссионный вопрос о действительной или мнимой автобиографичности произведений писателя Бориса Хазанова, послуживших материалом для настоящего исследования, мы хотели бы привлечь внимание учёных коллег к особому социально-психологическому типу, который фигурирует в повестях и рассказах автора в роли главного героя либо фиктивного героя-рассказчика. Назовём его *несостоявшимся любовником*. Полагаем, что этот тип может представлять интерес для специалистов в области, с недавних пор называемой микросоциологией, иначе социологией личности — парадоксального термина. С литературоведческой точки зрения в этом персонаже можно узнать — разумеется, с известными ограничениями — потомка «лишних людей» русского XIX века, правнука Рудина. Вместе с тем есть основания считать его типичным для эпохи, которая служит Б. Хазанову квазиисторической кулисой, — относительно короткого времени позднего сталинизма, преимущественно военных и послевоенных десятилетий. Скупой намеченная биография героя, предвренная воспоминаниями детства, как правило, охватывает немецкое вторжение, эвакуацию подростка в отдалённый район страны и начинающийся пубертат, наконец, прекращение великой войны, и последующие *Lehrjahre*, — вчерашний школьник становится студентом.

2

Здесь прежде всего нужно указать на главную и необходимую для формирования указанного социопсихологического типа черту времени — тотальную несвободу личности в государстве, гордом одержанной победой. Оба аспекта этой двуликой несвободы — политическое

бесправие и репрессивная полицейская мораль. Общим знаменателем и своего рода психологической легитимацией обеих форм закабаления является страх. Позволим себе, не прибегая к обычной объяснительной аргументации — будь то фрейдизм или общепринятые теории фашистского и коммунистического тоталитаризма, — воспользоваться метафорой поля, аналогичного электромагнитному или гравитационному полям в физике.

Всенародное обожание Великого Вождя, напоминающее языческие культы первобытных племён, как и страх репрессий, наступающих каждого, кто посмел бы посягнуть на священный Портрет, центральный антропоморфный тотем, создают высоковольтное психофизическое поле, в котором вегетируют общество в целом и каждый его член. Здесь, в этом поле несвободы, растёт новое поколение, дети рабов, сюда заброшен и постепенно привыкает, уподобляясь глубоководным рыбам, не замечая чудовищное давление толщи океанских вод, молодой человек — излюбленный персонаж прозы Б. Хазанова.

Вождь, чью мифологическую таинственность надёжно укрывают неприступные башни и зубчатые стены пятисотлетней крепости, правитель, наделённый сверхчеловеческими свойствами всемогущества и всеведения, излучает страх, неотличимый от любви, и любовь, порождающую экзистенциальный страх.

Этому страху, в котором нетрудно распознать сексуальную составляющую (массовая эротика — феномен, требующий специального изучения, см. соответствующую литературу), на уровне личности противостоит, чтобы не сказать: конкурирует с ним, второе, не менее напряжённое эротическое поле, окружающее литературного героя — поле, которое излучает девушка. Постепенно из платоновской идеи объект ещё не осознанного вождения вырисовывается и принимает конкретный облик юной обожаемой женщины.

Важно отметить, возвращаясь к писателю, о котором идёт речь, что он отказывается в своих произведениях от завещанного классиками психологизма. Психология в описании действующих лиц отнесена системой символических жестов. Перед нами (в чём мы сейчас убедимся) печальное зрелище безнадежно ритуализованной, задохнувшейся эротики.

3

В 1799 году 27-летний Фридрих Шлегель, влюблённый в свободную от предрассудков Доротею Файт, позже ставшую его женой, опубликовал в Берлине в высшей степени безнравственный роман «Люцинда». Критику возмутил скандальный эпизод. Герой романа Юлиус намерен овладеть возлюбленной — наивной и беспорочной девушкой. В решающий момент, когда он почти достиг своей цели, его останавливает боязнь оскорбить её целомудрие. Но оказывается, что девушка, ожидавшая иного, в свою очередь оскорблена его нерешительностью и

в отчаянии рыдает. Всё это подозрительно напоминает ситуацию несуществившей любви героя прозы Б. Хазанова. Правда, этот горе-герой не настолько самонадеян, чтобы вознамериться предпринять прямую атаку

Вначале, убедив себя, что влюблён, он принимает головокружительно смелое решение — признаться избраннице в своих чувствах. Однако не смеет сказать об этом вслух и одной бессонной ночью сочиняет восторженное письмо. Происходит встреча; дошла ли почтовая исповедь до адресата, неизвестно. Оба стыдливо помалкивают о случившемся, но цель достигнута: теперь она *знает*. Можно предположить, что письмо взволновало девушку, не привыкшую к подобным излияниям. Язык половой любви табуирован в пуританском обществе, где вся сфера эротики находится под запретом. Герой и его возлюбленная задыхаются в безвоздушном пространстве постыдной и противозаконной тайны. Юная, видимым образом созревшая для любви женщина абсолютно недоступна. Презумпция невинности, навязанная традиционным воспитанием и социалистическим ханжеством, закрепощает её совершенно так же, как крепостная стена и вооружённая стража обороняют объётого страхом диктатора. Круг замкнулся: страх остаётся неизменной движущей силой поведения любовной пары, страх разоблачения, страх девственности перед вторжением, страх молодого человека перед женской телесностью, перед коитусом.

4

Увы! Она ждала: молчание должно было чем-то разрешиться. За письмом последуют «дела». В конце концов, традиция предписывает инициативу мужчине. Ожидается, что поклонник, не дай Бог, покажет себя агрессором — что тогда?.. Допустим, её попробуют обнять; ответит ли она на поцелуй? Но ничего не происходит. Остаётся ритуал ухаживания: её провожают домой, не осмеливаясь взять её хотя бы под руку. Они идут рядом, разговор касается нейтральных тем, в крайнем случае сводится к полунамёкам. Инициативу гасит обоюдная неловкость.

Под конец барышня протягивает обескураженному кавалеру узкую, согретую теплом женственности ладошку. Дружеское рукопожатие, символический суррогат прощального поцелуя.

Несчастье в том, что обожание наскучило. Сюжетная немощь и разочарование, в свою очередь, наступают и читателя.

Детство тридцатых

Мальчик по фамилии Казаков, по прозвищу Казак, историческая личность (я бы назвал его: несовершеннолетний Ставрогин), излучал демоническое очарование, покорял самоуверенностью, таинственно-

стью, инстинктом владычества. Одним своим появлением он вселял в душу суеверный страх и ожидание опасности. Кто он был такой? Казак прожил в нашем переулке, но где, в каком доме, никто не знал, он заходил к нам во двор неизвестно зачем, но мы-то знали — чтобы испытать свою власть, покуражиться, поиздеваться над нами. Как и нам, ему было 10–11 лет, что-то было в его лице, в хищном взгляде — он искал жертву; пожалуй, он был красив, но какой-то подлой, отталкивающей красотой; не столько силён физически, сколько ловок и отважен; демонстрировал презрение к опасности, ко всем нам и нашей трусости, по-обезьяньи взбирался вверх по пожарной лестнице, — в этом ещё не было ничего особенного, мы все это умели; но, перехватив цепкими худыми руками железную перекладину, соединявшую лестницу со стеной дома на уровне высокого второго этажа, он передвигался по ней, перебирая ладонями, не ведая страха, легко подтягивался, как на турнике, извивался и болтал ногами в пустоте, возвращался к лестнице, спускался вниз ко всеобщему облегчению и спрыгивал с победительным видом. Благодаря такому упражнению авторитет Казака возрастал неимоверно. Но этого было мало. Он мог, изловчившись, схватить свою жертву за нос и потащить за собой, уверенный, что не встретит сопротивления, неожиданно мог сбить с ног, подставив ножку, в суверенном сознании своего превосходства, наградить тебя постыдным прозвищем. После чего вдруг исчезал.

Мир отрочества, словно кривое зеркало в Аллее смеха в Парке культуры и отдыха, отражал мир взрослых. Догадывались ли мы, что наше едва проклюнувшееся будущее должно было совпасть с эпохой, чьим лозунгом было насилие, опознавательным знаком — садизм? Мы знать не знали о том, что уже стало известно взрослым, о заговоре молчания, тайне, глухой и зловещей, о которой они не смели проронить ни слова: о том, что судьбу всех и каждого в нашей самой счастливой стране решало глубоко засекреченное, разветвлённое учреждение, специально пополнявшее свои ряды садистами. Я сказал: историческая личность. Вестник будущего — вот кем он был. Так что, пожалуй, и наш друг и однокашник Юрка Казак, доживи мы все до взрослых лет, стал бы «сотрудником» в долгополой шинели, в фуражке с голубым околышем, со звёздочками на нововведённых погонах. Он был как будто создан для этого будущего. Я говорю: друг; в самом деле, Казак питал к нам особую привязанность, нуждался в нас, как проголодавшийся хищник нуждается в добыче.

Будущее растило для себя кровавую пищу. Оно готовилось для того, что произойдёт, и уже намечало себе задачу и высшую цель. Поколение мальчишек, следующее после нас, подрастало для того, чтобы погибнуть на войне. Ожидание большой войны насытило воздух эпохи. Шли тридцатые годы. Какофония века уже звучала, неслышная для нас. Уже были написаны варварски-радостные, дышащие фашистским оптимизмом *Carmina burana* Карла Орфа, уже громыхали, отбивая шаг

коваными солдатскими башмаками-калигами по Аппиевой дороге под зовы римских военных бунтов, победоносные легионы Цезаря в заключительных тактах симфонической поэмы «Пинии Рима» Отторино Респиги, написана Первая, посвящённая Октябрю, симфония юного Дмитрия Шостаковича.

Мы не чуяли трупного запаха. Не догадывались, что растём на необозримых кладбищах Гражданской войны и гигантской истребительной кампании — коллективизации сельского хозяйства. Насилие и садизм стали опознавательным знаком эпохи, подобно тому, как они правили бал в переулках нашего детства. Ходить одному здесь было опасно. Здесь бушевала фашистская революция подростков: весь район кишел малолетними палачами-истязателями, вечно чего-то ищущими, похожими на грызунов, озабоченно сопящими от непросыхающего насморка, харкающими вокруг себя комками слизи.

Школа 30-х годов была кошмаром. В каждом классе сидели на задних партах, свистели и визжали, изрыгали грязную брань, целились из рогаток и отплёвывались дети-бандиты, вечные второгодники, которых сплавляли, спасаясь от них, из школы в другую школу, а от туда ещё куда-нибудь по соседству. Грозой терроризированных педагогов был дракон по имени Семёнов, омерзительная личность, отпрыск криминальных родителей, с жёлтыми глазами, как у дикой кошки, с хлюпающим носом и мокрыми губами; но и он был не один, у него была своя клиентела — раздражители и подчинённые; вся эта нечисть сбивалась в стаи, однажды вышибли из рук портфель, когда я поднялся по лестнице, — был такой случай, — я наклонился поднять и получил удар носком ботинка в лицо, кости носа были сломаны, и кровь ручьём лила на ступеньки, кто-то отвёл меня домой, на другой день я предстал перед врачом, который вправил мне, надавив большим пальцем, скошенную набок переносицу, как потом оказалось, недостаточно, и мучительная процедура повторилась. Это была наша школа Куйбышевского района столицы, там при входе, на постаменте из фанеры, выкрашенной под мрамор, алебастровый вожь отечески обнимал сидящую у него на коленях девочку Мамлакат, которая собрала неимоверное количество хлопка. Там учительница, которой не давали войти в класс, сидела за исцёрканным мелом столиком перед классом с партами улюлюкающих выродков, прикрывая глаза ладонью, чтобы не видели, как она плачет. Такова была наша школа, цапнуть бы за то место, где пах, где на большой перемене в коридоре тебя могли, подкравшись сзади, схватить и повалить на пол, окружить и делать с тобой все, что взбредёт в голову.

Слушай, друг Сальери

Я заканчиваю свою жизнь банкротом, чему наглядным свидетельством служат тома моих произведений, не имевших успеха и не при-

нёсших мне ни тени материального благополучия. Но в нескончаемые осенние ночи, когда одолевают чёрные мысли, ворочаешься и не находишь себе места в постылой постели, перед слезящимся окном и бессонным циферблатом, — я прибегаю к единственному утешению, пробегаю глазами некогда любимых Флобера и его дорогого Ги, либо перелистываю неподражаемого Хорхе Борхеса. Чего доброго, унижаюсь до того, что отыскиваю наугад в шкафу собственные, давно забытые изделия, читаю в тщеславной надежде вернуть себе крохи самоуважения. И вот, представьте себе, начинает порой казаться, что кое-что написано не так уж плохо!

Вот, например, странноватый рассказ под названием «Опровержение “Чёрного павлина”», вещь, которая нравилась Лоре, обыкновенно не жаловавшей мои писания. По её просьбе я читал вслух эту новеллу, когда, безнадежно больная, она лежала в той самой кровати, с которой я только что поднялся.

Помнится, мне понадобилось, чтобы заставить читателя поверить в никогда не существовавшую, изобретённую мною птицу, посмотреть орнитологическую литературу о семействе фазановых, о цейлонских подвидах *Pavo cristatus* и *nigropennis*, заодно и пополнить мои скудные сведения об острове, ныне именуемом Республикой Шри-Ланка, где, разумеется, я никогда не бывал. Изнурительные поиски Чёрного павлина заканчиваются тем, что путешественник попадает в деревню, осаждённую готовыми поглотить её джунглями, на исходе дня бредёт, не ведая пути, по едва различимой впотьмах тропе. «И чёрный павлин ночи распахнул надо мною свой усыпанный звёздами хвост».

Собственно, это была история поисков несуществующего, безуспешной погони за несбыточной мечтой, в переносном смысле (согласно одному из возможных толкований) — за недоступной женщиной. И теперь, после стольких лет одиночества, мысленно повторяя совет Бомарше, преподанный пушкинским Сальери Моцарту, я ловлю ускользающий образ той, кто была для меня всем: женой, подругой, сестрой, матерью.

Tat twam asi

Маленькая кукла, высеченная из куска соли, шла по дороге и вышла к берегу моря. Она никогда не видела моря, этой сверкающей на солнце, вечно волнующейся стихии, и спросила: что это такое?

Море ей ответило; подойди ближе, и узнаешь.

Кукла приблизилась и сунула осторожно руку в воду. Вынув руку, она воскликнула:

Что это? Ты отняло у меня палец!

Но зато, отвечало море, ты кое-что узнала.

Кукла всё дальше входила в море, вода смывала с неё крупинки соли, и когда от куклы ничего не осталось, она сказала:

Теперь я знаю. Море — это я!

Tat twam asi (Это — Ты). Завет индуизма.

Вечный полдень

Из старых записей

Последняя и лучшая, как многие находят, книга стареющего Бунина — созданный в оккупированной Франции цикл ностальгических новелл «Тёмные аллеи» о любви, о юных девушках и зрелых женщинах.

В последнем, предсмертном рассказе Чехова говорится о девушке, которая гостит в усадьбе родственников. Ей скучно, она тяготится затхлым провинциальным существованием, не любит своего жениха и уезжает в столицу, к новой жизни.

Перечитывая «Стенографию конца века» Марка Харитоновы, я набрёл на то место, где сказано, что любовь — единственная, чуть ли не каждому доступная возможность приобщиться хотя бы на мгновение к высшему единству мира. Я стар, много старше Чехова, ровесник позднего Бунина. Но и теперь мне слышится в этой дневниковой записи переключка с моими стародавними мыслями о юношеской влюблённости. Впоследствии она стало темой многих моих сочинений — романов, рассказов. Как и прежде, я считаю её чрезвычайно важной для литературы.

У меня есть рассказ, где мимоходом упоминается хранимая памятью девушка-конвоир в Бутырской тюрьме. Нет, конечно, какая могла быть тут влюблённость. Но вижу её как сейчас, в туго подпоясанной шинели, в зимней солдатской шапке над узлом волос, в гремучих сапогах, с пистолетом на бедре. Она сопровождала заключённых — не удостаивая их взглядом — в тюремные прогулочные дворы, похожие на полотно Ван Гога. Вот бы узнать, что стало с этой девицей... Много лет спустя я раздвинул свой рассказ, получилось нечто вроде трактата о вечности.

Спрашивается, при чём тут приобщение к высшему единству. О чём речь? Решаюсь процитировать, слегка подправив, собственное произведение.

«Время, в какие бы метафоры его ни обрядить, поработает. Эти непрерывные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — смерть, грохот со-

става, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность. Есть переживание вечности, Вечного Настоящего. Пусть изредка, но посещает ослепительная догадка, что время — временно, и этой временности противостоит нечто пребывающее».

В романе Франсуа Мориака «Подросток былых времён» есть эпизод — возможно, воспоминание самого автора. Подросток увидел вышедшую из реки после купанья 11-летнюю девочку — «и мне стало ясно, что Бог существует».

Со своей стороны я думаю о другом почти сверхъестественном, под впечатлением мимолётной встречи, видении, которое осеняет чувством постижения платоновской идеи. Что же это было: порыв ветра, мгновенно вспыхнувшее желание обладать юной женщиной? Не думаю. Юношеская влюблённость, ещё не сознающая себя плотским влечением? Может быть — но и нечто иное: чувство вечности.

Блок:

Дали слепы, дни безгневны,
Облака плывут.
В теремах живут царевны.
Не живут — цветут.

В том-то и дело, что они живут вечно. Для них нет будущего, для них есть только одно настоящее. Я постиг этот хитроумный подвох времени, которое не уничтожает себя, как рельсы несущегося неведомо куда состава, как бегущие над крышей буквы световой рекламы, но попросту отступает, уступает место непреходящему настоящему; я это понял, когда увидел тебя всю, моя красавица, и твои губы всё ещё шевелились, как бы желая сказать: уходи, сюда нельзя, — я понял, что обрёл это утраченное, казалось бы, навсегда, сознание вечности. Ты стоишь, опустив руки, волосы упали тебе на глаза, и полдень длится без конца.

Жизнь

В былые времена, в потустороннем пристанище снов, я вставал первым. Румяный Гелиос уже нахлёстывал лошадей, стоя между двумя крутящимися колёсами своей повозки, и целился из лука. Я шёл по пустынной улице, стараясь увернуться от стрел, булочная под фирменной вывеской придворного поставщика Hofpfistererei уже была открыта, за прилавком ожидала покупателей белокурая пышнотелая продавщица, ещё дышащая ночной негой. Она знала меня, не спрашивая, тотчас упаковывала горячие булочки, полбуханки пахучего ржаного хлеба. Я вручал ей кошелек, она сама вынимала мелочь, сколько

нужно, и я плёлся с моей добычей домой. В кухне я готовил чай для Лоры, кофе для себя, разрезал и смазывал конфитюром булочки, раскладывал бутерброды. Моя жена, слегка заспанная, сияющая, как сама заря, в белом байковом халате выходила из коридора.

А бывало и так, что мы оба поднимались спозаранку, наскоро одевались и спускались в подземный гараж. Жена моя усаживалась за рулём, я рядом, и мы катили вдоль по Козима-штрассе, минуя Иоганнескирхен, по автобану в направлении Исманингена, сворачивали в узкий проезд, — всё путешествие до городского озера Ферингазее заняло пятнадцать минут.

Пустынное озеро на рассвете, гладкое и блестящее, как зеркало, под бледно-голубым безоблачным небом, стояло перед нами, слабый плеск смутил его молчание — несколько шагов по росистой траве, и я вхожу в воду. Сердитый лебедь, хозяин этих мест, неспешно выплывает из прибрежных зарослей, где, вероятно, он провёл ночь. Яркий свет, голоса незваных гостей разбудили его.

Вслед за мной, ёжась и слабо вскрикивая от прохлады, Лора опасно вступает и уже через несколько минут заплывает так далеко, что я, в тревоге, с трудом различаю её резиновую шапочку. Солнце слепит глаза. Я плыву, отстав от неё, на большом расстоянии, мимо полуострова, который здесь почему-то считается островом. Остров nudистов. Там уже появились первые энтузиасты. Я украдкой оглядываюсь туда мимоходом или, лучше сказать, мимоплавом, шурясь от блеска вод, зная заранее, что, лишившись одежды, женщины теряют себя — свою тайну и привлекательность.

Мы возвращаемся, нас ждёт роскошный завтрак. Радость жизни, которой учила меня подруга, исчезнувшая в пристанище сновидений.

Дворец

Мне снилось — и мнится, так оно и было на самом деле, — будто я нахожусь во дворце, хожу из комнаты в комнату, слышу стук своих шагов, одну за другой открываю двери, и они захлопываются за мной. В гулких залах за высокими окнами сверкает солнце, никого нет. Лишь в одной комнате поднимается со стула некто в служебной форме, вероятно, смотритель, вперяет в меня вопросительный взгляд, но я не могу объяснить, зачем я здесь, что ищу, кого потерял. Забыл, убей меня бог, ничего не помню.

Проснувшись, я смотрю на циферблат, сажусь в постели. Тотчас спохватываюсь, что ничего не ответил человеку в форме, который уже хотел меня выпроводить. Между тем близится время закрытия. Я послушно следую за смотрителем через анфиладу комнат. Мы входим в смотровой зал, здесь опять ни души. Нет ни стульев для экскурсантов, ни экрана на задней стене. Оборачиваюсь; куда делся мой вожатый? В

полутьме тлеет вполнакала люстра на потолке, тусклое освещение напоминает спальню, где, уходя, я не успел выключить ночник. Но на самом деле это, конечно, не спальня, просто чахнет лепесток огня в коптилке на столе, время военное, эвакуация, ночь, — так называлась дамба без стекла ради экономии керосина. В чёрном окошке отражено ошеломлённое лицо подростка, похожее на лицо преступника, это я, пишущий эту страницу, подойти, что ли, подкрутить фитиль?.. Не хочется вылезать из тёплой постели, а на дворе мороз, зима 1943 года, мне пятнадцать лет, и 22 дивизии врага, окруженные, оочеченевшие от холода немцы, взяты в плен под Сталинградом.

Я сижу, задумавшись, с повисшей над тетрадкой дневника вставочкой со стальным пером — тоже обиходная принадлежность тех лет, — и вспоминаю, ведь будущее время можно пережить только во сне, — вспоминаю о том, как однажды ночью мне привиделось, что я попал во дворец или музей и увидел там себя самого в сорок третьем году, и начинаю понимать, что грядущее не исчерпано, грядущее только начинается.

2012—2014

Набросок о прозе

Мало что в искусстве значит меньше, чем намерения автора.
Х.Л. Борхес

1

Ночь за ночью без сна, предоставленный самому себе, я думаю о прошлом и будущем, о первой фразе, о знаках препинания, навязчивые мысли не дают отвлечься. Сознание внутренней тщеты и внешней ненужности моей работы не отпускает. Всё спит вокруг. Понемногу светлеет за окном, золотятся облака. Я поднимаюсь.

Я отдаю себе отчёт в том, что попытки объясниться, расшифровать суть и смысл собственного произведения чаще всего ни к чему не приводят — аргентинец прав. И всё же необходимость разобраться в своих намерениях заставляет художника искать оправдание — не столько перед воображаемым читателем, сколько перед самим собой. Попытки эти, однако, не бесплодны. Вырисовывается некая приватная философия прозы. Не избежать и соображений о Времени.

2

Как-то раз я написал критический разбор своего рассказа «Прибытие» (это только пример), сюжет которого — фантастическая встреча, минуя возраст, с самим собой — восходит к новелле

«25 августа 1983 года» всё того же Хорхе Борхеса, который и сам, как известно, не отказывал себе в удовольствии комментировать собственные творения.

Некоторые из моих вещей как будто предполагают, что мы можем жить не только в трёх временах школьной грамматики, но и в некотором совокупном сверхвремени. В таком случае нам придётся признать, что для каждого из грамматических времён существует своё настоящее, своё прошлое и своё будущее, так что мы можем вспоминать и мимолётное настоящее, и ушедшее прошлое, и несбывшееся будущее. Некоторое устройство, напоминающее машину времени Уэллса, встроенное в мозг, дало бы нам такую возможность. Принимаясь за свою прозу, повествователь убеждается в том, что его воспоминания — не совсем то, о чём он собирался рассказать. Скорее это судороги сбитой с толку памяти, которая вторгается в «сюжет», теряет нить, перепрыгивает, словно мятущийся луч, с места на место, короче, пренебрегает всякой последовательностью. В итоге от нормального повествования мало что остаётся, прошлое, каким его рисует себе рассказчик, всё меньше заслуживает доверия. Минувшее уносит с собой и свое будущее. Но с той же безответственностью, с какой своенравная память распоряжается прошлым, она расправляется с будущим. Так рассказчик-баснослов вспоминает не прошлое, которого больше нет, а будущее, которого никогда не будет.

3

Прибавлю немного. Наша фантазия, вслед за памятью, освобождённой от оков, играет более важную роль в восприятии вещей, людей и событий, чем это кажется. Бытие вещей состоит в их возможностях. Мир, заряженный бесчисленными возможностями, обступает нас. Воображение удваивает, удесятеряет реальность. Фантазия извлекает из действительности её скрытые возможности, наугад переводит стрелки часов и переставляет дорожные указатели, подсказывает иной ритм происшествиям и другое направление поезду событий. Так были написаны повести «Светлояр» и «Помни о будущем». Фантазия насмехается над здравым смыслом и над читателем.

Сказанное влечёт за собой — для меня, по крайней мере — сдвиг художественного мышления. Приходится отказаться от того, что представлялось главной задачей литературы, — обуздания хаотической действительности. Художник, чьё дело — вносить порядок и гармонию в сумятицу и какофонию мира, вынужден усваивать новое мышление, которое следует назвать фасеточным или калейдоскопическим. Как прежде, он не смеет отступить в страхе перед жизнью. Но вера в лейбницианскую предустановленную гармонию вещей поколеблена. Вместо идеально стройного здания художник видит перед собой обломки, которые нужно каким-то образом склеить. В этом, по-

видимому, состоит новая задача и обновлённый смысл его работы: не потерять равновесия, взглянуть, как смотрят в разбитое зеркало, без страха и отвращения в лицо действительности. Итак, пусть эти замечания послужат извинением за все, пусть немногие, небыллицы, которыми автор нашпиговал своё произведение.

4

Помни о будущем... Вот завет, который автору следовало бы оставить молодым читателям. Мне приходилось много раз писать о юности — моей и моего поколения. Юность не страшится будущего, этой тигриной пасти, дышащей зловонием. Некогда и мы были молоды. Мы не подозревали о том, что из чащи грядущих десятилетий за нами следят жёлтые очи плотоядного будущего. *Monstrum horrendum* Вергилия, «чудище обло, озорно, стозёвно» в переводе Василия Кирилловича Тредиаковского, подстерегало нашу жизнь. Перечитывая свои писания, я нахожу, что по существу всё, что было мною сочинено, есть рассказ о прошлом, которое сожрано будущим. Останки недожёванно-го, объедки каннибальского пира — вот то, что сохранила память.

5

Проза, на мой пристрастный взгляд, должна удовлетворять двум главным требованиям. Назовём их так: красота и внутренняя дистанция.

Возможно, не я один обратил внимание на прискорбный факт: из критических статей, обзоров современной литературы и так далее исчез пароль философии искусства — красота. Внимание сосредоточено на содержании, точнее, на выглядывающих из текста актуальных общественно-политических проблемах, Качество прозы не интересует критика, который отдаёт предпочтение писателю — стилистическому инвалиду и равнодушен к редким свидетельствам абсолютного слуха в современной ему словесности.

Греческое слово *αμουσία*, «безмузие», означало чуждость искусству, — эстетическую глухоту. Безмузыкальность — черта плохой литературы.

Нечто общее роднит мастеров прозы разных эпох: особый строй повествования. Этот неслышно звучащий строй есть музыка.

Искусство прозы обнаруживает внутреннюю близость словесной музыкальной композиции. Здесь нет речи о так называемой гладкописи, равно как и о поэтической, стиховой музыкальности, легко улавливаемой, проще определяемой. Музыка прозы тоньше, нюансированней, прихотливей. Очевидно, что критик должен уметь взглянуть на явления литературы глазами человека, не чуждого другим искусствам. Ориентация в мире музыки важна для собственно литературной крити-

ки, то есть для анализа литературы как таковой, — и, похоже, не столь необходима для критики социологической. Если верно, что музыка выражает всю полноту внутренней жизни человека — то есть на свой лад осуществляет высший проект литературы, — то это значит, что прикоснуться к истокам литературного творчества, заглянуть в тёмную глубину, где сплетаются корни словесности, музыки и философии, немислимо без знакомства с историей классической музыки; невозможно понять, как устроен роман, не ведая законов и правил komponирования симфонии — музыкального аналога европейского романа.

Совершенный стиль предполагает развитый вкус, верное чувство слова, экономное использование изобразительных средств, энергию и лаконизм фразировки, основательную выучку у классиков русского языка. Ритм фразы, обдуманное распределение ударений, звуковая завершенность абзаца, смена тональностей, диалектика борьбы и взаимного преодоления главной и побочной темы, несущие конструкции, которые, как поперечные балки, проходят через всё здание, выдерживают его тяжесть, — во всём проявляет себя музыкальная природа прозы.

Музыка, говорит Шопенгауэр, есть голос глубочайшей сущности мира. Музыкальные структуры — структуры бытия. Есть основания утверждать, что сходную задачу своими средствами выполняет художественная проза.

6

Ребёнок, занятый игрой, верит, что его игрушки — живые существа, готов считать ситуацию игры реальной действительностью и в то же время отстраняться от неё: поглощённый ею, он отдаёт себе отчёт в том, что всё, что происходит, всё — понарошку: присущая детям трезвость отнюдь не лишает их способности фантазировать. Этому двойному дару соблюдать конвенцию игры и дистанцироваться от её законов, от неё самой, может позавидовать тот, кто посвятил себя высокой игре — художественной словесности. Внутренняя рефлексия, размышления писателя о себе как авторе, апелляция к собственному произведению внутри самого произведения — так что философствование в этом роде становится в свою очередь художественным приёмом и встраивается в мир романа, — авторская рефлексия, говорю я, по крайней мере, с появлением «Фальшивомонетчиков» Андре Жида стала чертой литературы минувшего и нынешнего веков.

Писатель Эдуард, персонаж и автор романа «Фальшивомонетчики», принадлежащего другому романисту, некоему А. Жиду, ведёт дневник, обсуждает собственную работу, анализирует поступки действующих лиц, с которыми, кстати, он лично знаком. Спустя несколько лет Жид сам выпустил «Дневник "Фальшивомонетчиков"». Двойная и даже тройная дистанция.

Марина МАТВЕЕВА

/ Симферополь /



КОРОЛЕВА И В КЛЕТКЕ СО ЛЬВОМ — КОРОЛЕВА!

* * *

Ты старше меня.
Ты раньше умрёшь.
Я стану невидимой миру вдовой:
Не рвать мне волос с показательным воем,
Не сметь демонстрировать чёрных одёж.

Ты круче меня.
Ты раньше умрёшь.
Есть Божий предел и для самых отважных.
Моими молитвами выживешь дважды,
А в третьё... другие пусть молятся тож!

Ты лучше меня.
Ты раньше умрёшь.
Такие нужнее в раю — для примера.
А я эпизодом приду на премьеру
Кино «Без тебя». В сердце — тоненький нож...

Ты любишь меня.

Синхрофазотрон

Неделимым еси в Демокритовы веки —
и его же устами неделим доказался.
Но недавно решили (это были не греки):
«Развались!» И распался. Ещё раз распался.

И не только, о, атом, что в моей волосинке
миллионы тебя, но и как будто воздух
соловотворный разбит на колы и осинки,
и у каждого — свой, и у каждого создан

фазо-трон. Трону... фас! (Трон — от слова «Не троньте!»)
И под каждым припрятаны крупы на зиму.
Блеском квантовой лирики лаковый зонтик
сто вторую по счёту накрыл Хиросиму.

Я пытаюсь бежать... Но из лироизвилин
не выводят и тысячи смелых попыток.
Я как маленький атом, который разбили,
расстреляв без суда моего Демокрита.

* * *

Все, кто пишет стихи, почитают сегодня стихи.
На больницу нас много таких — видно, замкнуто время.
А пространство разомкнуто — листья его, лопухи,
слишком застыт глаза наши — карие стихотворенья,
серо-синий размер, светло-чайные рифмы, ещё
эти чёрные жгучие образы старой цыганки...
Я мечтаю о жёлтом, который не жжёт, не печёт.
Я желаю зелёных, которым неведомы банки.
Я читаю стихи, мне кричат: ничего не понять,
слишком умно, нежизненно, сложно и сложно и сложно,
а у мальчика Васи, подумаешь, рифма на -ядь,
но зато так правдиво! ...Я перелистну осторожно
душу мальчика: яди его походульней моих
фаэтических образов, он и во сне их не видел.
Просто болезненно это. И ломится, ломится стих
в дверь больницы: пространство на яди и яды, и иды,
и наяды, и ямы, и ямбы, и бабы-яги
расколосось, сложилось — и, кажется, снова все шиз... нет,
все, кто пишет стихи, прочитают сегодня стихи,
в мир непишущих бросят простые и сложные жизни.

* * *

Прямо моя дороженька, насыпи наши узкие,
столбики, рельсы, мостики, косточки, эполеты...
Что же творишь ты, Боженька: где б ни явились русские,
всюду заплачут кровушкой и разведут поэтов.

Пишут они в Америке, пишут они в Австралии,
и на Венере первыми — с сайтом литературным
явятся. Цыц, еврейки, — вы-то многострадальные?
Да замолчат япошки с сердцем своим скульптурным:
сакуры, нэцке, вееры... Прудики и кувшиночки.
Прыгнула им лягушечка — это уже искусство.
Видимо, там не веруют... Видимо, там машины все.
Может, и нам не плакаться? На хакакири — чувства.
Только душа не внемлише... Братушки сингапурские,
други степей канадские знают о русском слове.

...Да чуть шатнётся Землюшка — перестреляют русские
всех своих Солнц и Гениев — разом и без условий.

* * *

Дочь капитана Блада уходит в блуд:
в Гумбольдта, в Гамлета, в гору пустыни Чанг...
Папочка рад. Он пират, и ему под суд
страшно... ну так хоть дочка не по ночам

шляется, а накручивает свой бинт
мозга — сокровища ищет на островах.
Только когда-то сказал доходяга Флинт:
«Слава проходит, а после — слова, слова...»

Будут пятёрки, дипломы и выпускной,
«Звёздочка наша!» и старых доцентов взрыд...
Хлопнется дверь, захлебнётся окно стеной...
Станет сокровище и непонятный стыд.

Папочкин «роджер» взвивается для старух
в касках (на случай студентских идей-обид).
Дочь капитана Блада — из лучших шлюх:
с Гумбольдтом, Гамлетом и Геродотом спит.

Волна

И солнца раскалённый транспортир
меня измеривает, будто угол
к кабинке-раздевалке, полной дыр,
что не упрячут ни венер, ни пугал.

А выйду — сразу ударит высота
по голове, по рёбрам — медиана,

и прыгнет ящерицей без хвоста
волна из-под небесного секстана.

Она не любит мерностей и мер,
она давно бунтует против лета,
упряма, будто ярый старовер,
статична, как мгновенье пируэта.

...Плыву, и тело будто на весу,
и зной мне заволакивает память
туманною вуалью Учан-Су,
пронизанною скальными шипами.

Он впереди — сияющий каскад —
найду его, когда доплавит слиток
над волнами пьянящий солнцепад —
и станет тело золотом облито.

...Она не знает мерностей. Она —
волна, она — неповторимость эха,
она — взъерошенная тишина,
она — всепозволяющее эго,

она — волна...

* * *

Королева и в клетке со львом — королева!
Эти руки в репьями залепленной гриве...
Да, он съест. Но едва ли селянская дева
Перед этим *об этом* с ним *заговорила*.

— Тише, лёвушка, ты всех смешнее на свете:
Ох, и царь! — без двора и без крохи в желудке.
...Видишь тонкие брови? То хлёсткие плети,
Разбивавшие спины рабов в промежутке

Меж указом на казнь и приказом на праздник,
Меж примеркой наряда и милость к нищим...
...Эти пухлые губы не манят, не дразнят —
Доманились до трона... до гона, до пищи

Льву. ...Сейчас там другая: сестра ли, кузина
Или просто наложница с детской кожей...
Но тебе-то (а ты настоящий мужчина) —
Знаю, «внутренний мир», а не кожа, дороже...

...Ты пока ещё спишь под недремлющим взглядом.
Ты пока ещё ждешь — а куда торопиться?
Знаешь: не закричу. Не захнычу пощады.
Видишь: когти точку — хочешь новую львицу?

Мне не трудно — лисою, совою, гурзою —
Самому хоть до пары эдемскому змею.
И равны мне миллениум с палеозоем.
Несъедобною только я быть не умею...

Баллада о мёртвой воде

Лабиринтами боли проходит свинцовый комочек...
Млечный Путь нависает над крашенной в серое тьмой.
Безобразие скал — словно Бога подпившего почерк,
Дописавшего эту часть мира уже в выходной.

Хрипы птиц соскребают с небес полусгнившие звёзды...
Воздух — будто стекло, а они — словно гвозди в руках
Абсолютно глухого, решившего выместить злость на
Невиновных, но слышащих... дышащих... знающих страх...

Здесь убийцам вершить свои тихие тайные страсти,
Здесь, под скалами, прятать чудовищных маний следы...
...Как ты здесь оказалось, случайное детское счастье,
Испятнавшее крылья в чернильнице мёртвой воды?

...Лабиринтами вен проползает свинцовый комочек...
Млечный путь нависает над смазанной в липкое тьмой.
Безобразие счастья — то хитрого дьявола почерк,
«Передравшего» мир, пока Бог почивал выходной.

© *Марина Матвеева, 2009–2014.*



Игорь ПАНАСЕНКО

/ Мурманская область /

ШЕСТОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

Солнце из глубины Хибин

В потёмках стынут снега. Увязла в тучах ухмылка бледной кривой луны.
Плывёт к Норвежскому морю одинокий азиатский фонарик.
Здесь не дожждаться тепла, и, как роавк, я бреду в тот край,

где не снятся сны,

Где в глухоте безвоздушной — только мысли ускользящий шарик.
Отпустит страх высоты, когда разбудит меня ожог слезы на щеке,
Когда сигнальный огонь мигнёт в глубинах антрацитово́й сажы,
И сурдокамеру ночи колокольню качнёт, и дрогнет лёд на реке,
И мой хранитель — олень огненнорогий — выход к свету укажет.

Брызгами неба, цветом морошки, санною колеёй,

Тенью расщелин, лысынами вершин

Детские сны вернуться ко мне, и летней ночной порой

Выстрелит солнце из глубины Хибин.

Храпит за пультом диспетчер, погасивший огни.

Шлагбаумы вмёрзли в лёд.

Любой вошедший за линию «колючки» не избежит ареста.

Покуда ноги идут, пока колёса стучат, пока кружит самолёт —

Я возвращаюсь домой, на тёплый Север, где навек моё место.

Пусть по стылým сугробам погоняет позёмка поезд на Сурхарбан,

Пусть ледяных мотыльков косматый рой за ним, как хвост за кометой, —

Летит по тундре олень, и тёплый солнечный свет течёт по его рогам.

Вспухает кокон зари, где зреет наше малоснежное лето.

Вспышками радуг, первой грозюю, бусинками росы

Смоет со скал мороз бесконечных зим.

Прянет листва, и трассой огней посадочной полосы

Выстрелит солнце из глубины Хибин.

Мания величия

Куда ты, дурак, ... уйдёшь...

Николай Колычев

Здесь алмазные строки легко превращают в уголь,
и не Гоголь приводит в движение умы, а Гуголь,
и в ретвитах с Фейсбука так благостно мёртвым душам,
а в реале — десятка живых не собрать на пушкинг.
Знак таланта — умение ботать легко по фене,
срифмовавший «любовь» и «морковь» — креативный гений,
из-за плитуса вырос на волос — уже вершина...
Золотую Орду не измеришь ничьим аршином.
С каждым годом привычной походы в, на и лесом,
тошнотворнее телепрограммы, желтее пресса,
риторичней загадка: какого гешефта ради
парюсь в богозабытом присоединённом штате,
чьим гербом скоро станет Милонов в костюме Геи,
где патрициев вынесло ветром, зато плебеи,
нахлобучив ведёрки, седлают чужие спины,
где с убийцами стража и с ангелом бес — едины.
Сам я тоже хорош: утопаю под дел лавиной.
Обещал короба — не осилил и половины,
да и то, что свершилось, не впрок ни себе, ни ближним.
Всё устроилось так, что при выгоде — третий лишний.
Потому и клянут меня все отцы и дети.
Я на помощь зову — откликается только ветер.
Убежать бы за графом Толстым — босиком по полю
в чистоту первозданности, в край, где покой и воля,
чтоб ни труса, ни хлипкой кровавой грязцы на траках,
ни казённых дворцов, ни чумных городских бараков,
ни придворной толпы вождедеющих сесть на царство...

Но куда уйду, если я и есть государство?

Русский вопрос

Захолустье. Провинция. «Русский вопрос»
в изложении местного Блока...

Андрей Широглазов

Город сорной травой по макушку зарос.
Запустение — знак високосного года.
Мне сознание гложет настырный вопрос:
А когда мы дождёмся второго прихода?

Ждём, как ночью полярной весенний рассвет,
То почти не надеясь, то истово веря,
Позабыв в суете и за давностью лет,
Как прихода Мессии ждала Иудея,

Как надеждами жили на счастья глоток,
Как молились о чуде — и старый, и малый, —
И какой трагифарсовый вышел итог:
Он пришёл — Иудея его не узнала.

Он о странном рассказывал в смутные дни,
Он любовь ставил выше заветных скрижалей.
И плевали в него, и кричали «Распни!»,
И распнувшим усердно хвалу возглашали.

Много позже, как будто и вправду прозрев,
Но вины не признав, лишь в притворном смущенье
Очи долу потупив и руки воздев,
Мы две тысячи лет ждём Его возвращенья,

От любви закрываясь железом дверей,
Не касаясь душой ни людей, ни событий,
Каждый сам по себе, на своём пустыре,
Вопия безнадежно: «Ну где ты, Спаситель?»

На непаханом поле бурьян в полный рост.
Под тяжёлым вопросом я горблюсь устало
И боюсь, что ответ будет краток и прост:
Он пришёл — но Россия Его не узнала.

Русский ответ

Умыкнув за кордон золотое крыльцо,
Голосят за стеклом не имущие срама.
Зомбоящик привычно плюётся грязцой,
Загружая мозги гигабайтами спама.

В пелене бодуна зеленою лицом.
От экранных персон втихаря сатанею.
Их бы сбегать куда — да и дело с концом.
Эти хари и Кришну уделать сумеют.

До нуля просадив неразменный пятак,
То ли в стельку тверёз, то ли в стёклышко датый,

Возлежу на диване и слушаю, как
Оглашает указ оглашенный глашатай.

Эпикфейлом застряв в этажах матослов,
Отсылаю вопросы не к литературе:
Что бы сделать такого, чтоб стал я таков,
Чтоб не вязнуть мне по уши в быдлогламуре?

То ли в стирку отдать истрепавшийся стяг?
То ли печень асфальтом стереть в дерипаску?
То ли джигу сплясать под музон на костях,
На повинный кочан натянув фантомаску?

Беспощаден бессмысленный русский ответ:
Срам неймущим не впрок «Оккупаев» припарки,
Как письмо, где заявленной ценности нет,
Потому что снаружи — одни дуремарки.

Завет уходящему

Прощай.
Позабудь
И не обессудь.
А письма сожги...
Как мост.
Да будет мужественен
Твой путь,
Да будет он прям
И прост.

Иосиф Бродский

Когда ржавый гвоздь прорастёт в груди,
Иссякнет свет впереди —
Сквозь пламя моста в темноту уйди —
И больше не приходи.

Всю боль, что бессчётно отдал ночам,
И всю, что сдержал внутри, —
Швырни в океан и скажи «Прощай!» —
И больше не говори.

Уходит бессильно в запой герой.
Уходит под лёд Нева.
Маяк погаси и глаза закрой —
И больше не открывай.

Не видя, как жгут за рекой огни,
Как плавится вертикаль, —
Отечества горькую гарь вдохни —
И больше не выдыхай.

Рассыпья золой, порости быльём,
Но сквозь быльё — прорости.
Прямым и простым возвратись путём —
И больше не уходи.

Шестой день творения

Слизываю с пальцев багряный сок,
Ягоды секунд раздавив в руке.
У меня в подъезде бомжатый бог
Обитает в бочке на чердаке.

Захожу к нему: «Может, чем помочь?
Или, может, мне дашь какой совет?»
Он меня ругает и гонит прочь —
Дескать, я ему заслоняю свет.

Он и впрямь горяч — на пути не стой, —
Но растратил, видно, былую прыть:
Всё никак не кончится день шестой,
Всё никак творенье не завершить.

Залетает в окна то дождь, то снег.
Горько кривит рот утомлённый бог.
Он и рад бы крикнуть «Се человек!»,
Да в задумке был небольшой подвох.

Зелена планета и голуба,
И узор прекрасен лесов и рек,
И разумных тварей вокруг — толпа...
Но не получается человек!

Только народится в каком из мест,
Чувствами богат и умом остёр —
Сразу же его волокут на крест,
В петлю, к стенке, в прорубь и на костёр.

Быть не как другие — смертельный грех.
Гладят непохожих топор и плеть.
Видимо, поэтому человек
Не укореняется на Земле.

Век идёт за веком — а всё, как встарь.
Тень зимы повешена на плетень.
Бог вздыхает тяжело, берёт фонарь
И в народ уходит — искать людей.

Попытка к бегству

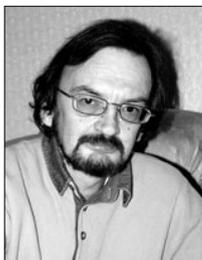
Текут громады лет
И строки восьмистиший
В чудное далеко
Истоптанной земли,
Где свет звезды полей,
Где аисты на крышах,
Где в облаке Марго
И в снеге журавли.

Зверь мчится на ловца —
Уже не отвертеться.
Нажитые рубли
Забили кляпом рот.
А скачке нет конца —
Лишь чуть прихватит сердце,
Когда мелькнёт вдали
Разбитый катафот.

Нелепый знак беды —
Фанера над Парижем.
Отметины разлук
У ветра на крыле.
И щурятся коты,
Как снайперы на крышах,
На сизую золу
Погаснувших полей.

Нет веры на земле.
Да, веры нет и выше,
Но есть — огни костров
На влажных берегах,
Марго на помеле,
Скрипач над ржавой крышей,
Зелёное перо,
Журавлик в облаках.

© Игорь Панасенко, 2011–2014.



Георгий ЯРОПОЛЬСКИЙ

/ Нальчик /

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

* * *

Мы все куём, как можем, счастье.
То снизу стук, то с потолка,
но суть одна: кругом всё чаще
звучат удары молотка.

Знаменовал моё рождение
гвоздь для верёвки бельевой.
Повсюду стук, как наваждение!
Я сплю, укрывшись с головой.

Но вряд ли здесь уместна злоба:
на этом зиждется уют.
В конце концов, и в крышку гроба
вполне законный гвоздь вобьют.

Ну а пока повесим платье
на гвоздь, изобразивший крюк.
Аукцион или распятыё? —
Бог весть, но балом правит стук,

ведь я и сам весьма прилично
с таким занятием знаком.
О, сколько вбито мною лично,
моим усердным молотком!

От лязга шлямбура дурею
и грохот музыкой зову.
Кроша кирпич электродрелью,
по-настоящему живу.

В бетон вгоняя гнутый дюбель,
я счастлив счастьем дошколят:
так нервы кариозных дупел,
зашкалив, славят шоколад!

Старая пластинка

Стансы

Алексею Королёву

1

Всё это будет продолжаться,
и нет резона раздражаться.
...А на соседской вечеринке
к двум ночи сделалось шумней:
там пары топчутся, кружатся
и гасят свет, дабы прижаться;
там рвётся песенка с пластинки,
ан век останется на ней!

2

И ты, мой милый и хороший,
со всей своей привычной ношей —
без ничего, сказать точнее, —
заменишь скоро календарь,
возможно, распростишься с кожей,
но тотчас обрастёшь такой же —
ну разве чуточку прочнее...
А всё, что прочее, — как встарь.

3

Всё будет, как бывало прежде,
пожалуй что в другой одежде
ты на работу ездить станешь
и вступишь в кооператив;
но будут песенки всё те же,
лишь, может, — тешьте себя, тешьте! —
встряхнёт какой-то новый танец,
а может, новый детектив.

4

Сгущаю краски? В самом деле:
не могут более недели

цветы в кувшине продержаться,
увянут — надобно сменить;
снесём домишки — эти, те ли —
воздвигнем домны и отели,
всё это будет продолжаться —
кого здесь славить и винить?

5

Повсюду жизнь, везде движенье,
но это только продолженье
давно творимого романа,
сюжеты же — наперечёт;
но есть ещё воображенье,
есть крови медленной броженье,
и будет время, как ни странно,
когда ты молвишь: всё течёт...

6

Ты свяжешь то, что было порознь,
и, преодолевая робость,
внушаемую снежным комом
событий, сам же подтолкнёшь
его — он увеличит скорость,
а ты, благословляя возраст,
прошедшему — местам знакомым —
рукой из поезда махнёшь.

7

Меж тем ещё одной звездю
каталог звёзд пополнят; зною,
да и морозам небывалым
не раз потерян будет счёт;
и каждой новою весною
ты будешь полон новизною;
и с солнечным лица овалом
в автобус женщина войдёт.

8

И вот тогда, как дуновенье,
тебя заморозит забвенье,
и глас, что внятен был и зычен,
иностранчичным станет вдруг.

Прервитесь, музыка и пенье!
Крича: «Остановись, мгновенье!»,
измученно-метафизичен,
ты время выпустишь из рук.

9

Когда ж часы снесёшь в починку,
вся жизнь покажется с овчинку,
какая выделки не стоит,
и ты слезу смахнёшь с лица,
припомнишь эту вечеринку,
поставишь старую пластинку, —
она, шипя, тебе простонет,
что нет исхода и конца.

* * *

Как цветы без поливки — поникли.
В землю лбом, несмотря на апломб.
Не иссякли, но фазою в цикле
уготован глобальный облом.

Наплодили бойниц и болезней
и бахвалимся: наша взяла!
Что за жизнь? Век от века железней.
Всё путем. Всё — тропкою зерна.

Ведь когда пустотелой свободы
опостылеет мутный мотив,
разомкнутся фекальные воды,
вновь кого-то из пены родив.

Прогулка

Сегодня — не то чтобы стужа,
но зябко. Ещё не до дна
промёрзшая ржавая лужа
под снегом почти не видна.

Всё в белом. Всё чисто и мило.
Но что там, под хрустнувшим льдом?
Ступили — вода проступила
чернильным бесстыжим пятном.

Опять эта лужа зияла!
Пятно разрасталось, и ты:
«Что мы натворили! — сказала. —
Лишились такой чистоты...»

Не трогай подмёрзшую лужу.
Глубин её не береги.
Пойдём. Провожу тебя к мужу.
Он, бедный, заждался, поди.

Черновик

1

Возьму белый лист
и взгляну на пустую бумагу.
Неужто опять
я тебя разыскать не сумею?
«Дорога длинна», —
говорил Одиссей Телемаку.
Ну что ж, что длинна!
Я попробую справиться с нею.

2

Вино ли виной,
что размыт твой кочующий образ?
Я — чёрная моль!
и не знаю, что можно добавить...
Но всё же сознание
не тонет, не падает в пропасть,
цепляясь за сны,
за цитаты,
за ложную память.

3

Да-да, вспоминаю:
бродил возле тихого моря,
где ты мне являлась из пены —
всегда постепенно;
в том мире, казалось,
ни счастья не знали, ни горя,
лишь Солнце сливалось с Луной —
диаграмму Венна.

4

Воскресли слова, покатались!
Свисают вкосою
вдоль белой страницы,
тесня её книзу,
как тучи!
Я снова гляжу на тебя —
на нагую, босую,
и очи всё ближе твои —
и по-прежнему жгучи!..

5

Но вот ты, босая, уходишь —
уходишь, босая,
сквозь пальцы
песок золотой
пропуская небрежно,
а дальше — пробелы,
лишь птичья взвивается стая,
в пустынной странице
отточием смазанным брезжа...

Империя тела

Вот гляжу на неё — и немею —
и впиваются ногти в ладонь.
Я не смею, не смею, не смею
подойти к ней, такой молодой.

А ведь прежде я тоже был юным,
в крупных кольцах упругих волос,
только время безжалостным гунном
по империи тела прошлось.

Постаревший, с податливым брюхом
да с подглазьями что пятаки,
соберусь ли когда-нибудь с духом,
чтоб коснуться прохладной руки?

Шевелюра моя поредела,
пульс частит, аденомой грозят...
Наподобие водораздела —
наши годы: ни шагу назад!

Пусть полжизни я к дьяволу пропил,
потешая больных простофиль,
но летучий задумчивый профиль
нежным светом мой день окропил.

Потому я всецело приемлю
то, что видится мне впереди,
то, что лягу в холодную землю,
то, что тесно в смятённой груди.

И какой ни сменял бы десяток,
выпадая в осадок почты,
с этим светом пройду я остаток
отведённого небом пути.

Зимнее время

Все земные заботы становятся мелки,
когда листья прощально дрожат —
под конец октября, когда сдвинуты стрелки,
когда сдвинуты стрелки назад.

Дополнительный час у природы похитив,
что сказать за него я смогу —
под конец октября, в пору первых бронхитов?
Под конец октября — ни гу-гу!

В этот час вне времён надо быть молчаливым,
надо быть молчаливым, как дым.
Когда видишь, как горько берёзам и ивам,
только кашель один допустим.

Здесь слова — вне игры, здесь иные законы.
Встань, застынь у ночного окна —
ты увидишь, как дрогнут платаны и клёны,
как грустят о них ель и сосна.

Лист раздольно летит над землёю, а значит,
он с землёю простился почти.
И никто не вздохнёт, и никто не оплачет,
и никто не оплатит пути.

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИСЬМА В НИКУДА¹

41

Дорогой брат!

Выбился из рабочего ритма. Забросил нашу астральную переписку почти на неделю. Дело в том, что у нас останавливался издатель из Москвы, Владимир Орлов, и он жил в «моей» келье. А «я», как моллюск, не могу без раковины. Голо «мне» без дивана «моего».

А выпустил Орлов книгу стихов Павла Громова, учителя моей жены, руководителя её диссертации. Он был филологом, доктором наук (русская поэзия, Блок, Толстой, театр) и всю жизнь писал стихи. Только после смерти их обнаружили. Современникам читал иногда (например, Лидии Гинзбург), но никогда не пытался их печатать, в отличие от нынешних остепененных поэтов. Сохранилось около пятисот стихотворений. Их передала Надежде старшая сестра покойного. Та напечатала подборку в «Звезде» с предисловием Ильи Сермана. А потом вышла огромная антология «Русские стихи 1950-2000 годов», где есть ты и «я». И вот смотрит жена эту антологию и вдруг начинает громко материться. «Я» в шоке, прибегаю к ней, что случилось? Надежда не ругается. Оказывается, в этой антологии напечатали Громова. Так что обценная лексика носила экстатический характер. А потом позвонил один из ее составителей-издателей, тот самый Орлов, и спросил, есть ли у неё ещё стихи Павла Петровича...

И вот теперь вышла книга «Прекрасное трагическое небо», презентация прошла в Союзе Театральных деятелей на Невском, где мы сидели в ресторане вчетвером (ты, Кудряков, Витька и «я») лет сорок пять тому назад.

¹ Продолжение. Начало — «Крещатик» №№ 62, 63, 64, 65.

Надежда говорила Громову: ваши книги сами себя издадут. Хорошо бы, этот даосский принцип и на тебя, брат, распространился.

По щучьему велению, по дао хотению.

Пока, брат.
Твой Емеля.

P.S. Продолжаю чтение Редько. Первый отель, который разрешили открыть в Лхасе иностранцу, принадлежал русскому. При нём до сих пор сохранился ресторан с названием «Дуня».

Пустили Дуньку в Лхасу.

12.02.2013

42

Дорогой брат!

Путешествую с Дунькой по Лхасе. И вдруг, прочтя одно пикантное место, вспомнил своё стихотворение ещё 1998 года из цикла «Осень Робинзона».

«Я» тогда работал (недолго) в охранной конторе (спал на стульях), а она располагалась на островах, поэтому с Чёрной речки ходил туда всё время пешком. Это было начало осени. Это было хорошо. Не сочинять стихи во время таких прогулок просто невозможно. Человек, который устроил туда (бывший военный), сразу ушёл в запой и «меня» быстро выперли как чужеродное тело.

А на Елагином пирует тишина.
Река в залив течёт устало.
Здесь пьян бываешь без вина.
И Летний театр кажется Поталой.

А теперь, Коля, монтажный стык, как у Эйзенштейна.

«Затем по ходу можно полюбоваться небольшим озером позади дворца Потала, называемым Лукханг. Здесь любил отдыхать шестой Далай-лама, хотя его вкусы мне и не очень понятны: Потала никогда не имела канализации, и нечистоты обитателей дворца стекали со всех его этажей как раз по задней стене здания. Как вы понимаете, отмыть ее радикально теперь невозможно даже с «Ферри»...»

И ещё одна склейка, брат.

В Летнем театре я был недавно после его реставрации. Смотрели с женой «Меру за меру» Шекспира. По стенам там ничего не текло, но туалет и гардероб расположены глубоко под землёй. Спускаешься туда по лестнице, спускаешься, как в метро. Только эскалатора нет и лифт не работает. А спектакль так себе, на тему «всё дерьмо, кроме мочи». Это в утилитарном плане, а в философском — «всё дерьмо, кроме ничего».

«Мой» мозг, брат, я давно заметило, любит работать с отрицаниями, сейчас его вдруг поразило расхожее выражение «ничего и не было». Что-то мощное, библейское вдруг зазвучало для «меня» в нём. Если не было даже ничего, то что же тогда было?

13.02.2013

43

Дорогой брат!

Догрыз редьку. Он собирается объехать 50 стран в поисках новой 6-ой расы. Т.е. плохие люди должны отсеяться, а хорошие войдут в шестую цивилизацию, которая не связана будет с настоящей.

Понимаешь?!

Вот, вы с Леной Шварц умерли ещё до конца света, может вам оттуда виднее насчет дивергенции на «нашем» шарике для космического пинг-понга. Тут, в понедельник, Россию (Челябинск) метеорит приветил, второй по размерам после Тунгусского. В пяти тысячах зданий стёкла выбил. После Тунгусского футуристы по всему миру закопошились. А что после этого будет, подсказали бы, ребята? Какая зараза на культурном фронте высыллет?

Ещё обнаружил у Редько прелестное тибетское имя. Мол, монастырём Сералунг, основанным в XI веке и перестроенным в 1980-х, управляет 70-летний монах секты Качьюпа, по имени Гунджок Кзджопа.

Нет, эту книжку я уборщице не отдам. Пусть в моей ступебиблиотеке помаринуется. Поставлю её рядом с Кастанедой и Блаватской, в астральное гетто.

А та серебряная нить, о которой я тебе, брат, уже писал (см. письмо 39), соединяющая «физическое тело каждого живого существа с его духовной частью», называется Му. То есть, у Тургенева не всё так просто в хрестоматийном рассказике. И у Чехова в «Вишнёвом саде» во втором действии — вдруг раздаётся отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный».

Теория струн.

«В этом же тантристском дацане хранится особый ритуальный нож — пурбу, принадлежавший Мабдхасиджи Даргарва. Именно этот священный нож якобы способен сам перерезать серебряную нить «му» врагам Тибета, отделяя их души от тел. Это одна из величайших святынь. Раньше в новогоднюю ночь этот пурбу, завёрнутый в шёлк, даже везли в Поталу и прикладывали к головам Далай-ламы и его высших сановников...»

Раневская говорит, услышав еврейский оркестр, «Словно где-то музыка», и «я» иногда, когда пишу тебе, тоже ощущаю это «словно где-то» всем «своим» существом. Каждый — струна, а все — арфа.

Тумбала-тумбала, тум балалайка.

Это рок играет.

Вот последняя цитата из прочтённой книги на прощание.

«Ходите в храмы и молитесь там хоть Будде, хоть Иисусу, хоть Магомету. Все они были посланниками Шамбалы, а потому подобные молитвы все равно придут к одному адресату. А можете вообще никому не молиться, сидите с закрытыми глазами и думайте о жизни, смерти, судьбе, своём предназначении... А можете и вовсе ни о чём не думать, отключите сознание, провалитесь в Пустоту, слейтесь с духовными вибрациями пространства...»

Мистическая энергетика этих намоленных мест настолько огромна, что уже само пребывание в них изменит как вашу нынешнюю жизнь, так и будущие воплощения...»

До конца моей гипер-тетради осталось 20 с половиной листов. Для «меня» эта тетрадка тоже намоленное место. Начал писать в ней ещё на Исаакиевской, а я уехало оттуда на Чёрную речку в 1994 году. Да, больше двадцати лет сюда пишу. Вибрирую вместе с верой.

«Маленькая Вера», был такой фильм. «Мне» пафос, брат, противопоказан. Скользко на котурнах.

«Я» — ментальный клоун.

Антракт.

19.02.2013

44

Дорогой брат!

Помнишь такой фильм Куросавы «Под стук трамвайных колёс»? А «Заблудившийся трамвай» твоего тёзки? Расскажу тебе про один послевоенный перформанс.

Был такой поэт-самиздатчик Борис Иванович Тайгин. Он сидел ещё при Сталине за «пластинки на рёбрах». А потом основал издательство «Бэ-Та», в котором на машинке печатал одним пальцем книжки запрещённых предшественников и в основном неиздаваемых современников, которые сам переплетал в малом количестве экземпляров. Рубцов, Горбовский, Бродский, Кузьминский и т.д. Почти три сотни изданий.

«Я» с ним познакомился через американского слависта Джеральда Янечека, а он с Тайгиным через Кузьминского.

Однажды идём мы с Джерри по Театральной площади. Мимо едет трамвай. Вдруг он резко тормозит, из кабины выскакивает водитель и бросается машинам наперерез к нам. Янечек тоже летит к нему. Они пылко обнимаются. Я стоит с раскрытым ртом и вытаращенными глазами. Оказалось, что этот парень — сын Бориса Тайгина, и он ездил по приглашению Джерри к нему в Кентукки.

Сам Борис Иванович был милейшим, тишайшим чеховским человеком, «я» бы сказал, он был самиздатским святым.

И вот недавно вышел сборник воспоминаний о нём. То, что много лет Тайгин был вагоновожатым, я знало (сын пошёл по его стопам). Но о манере вождения оно узнало только теперь из этой книги. Анатолий Домашев пишет: «Одновременно Боря трудится вагоновожатым. Ему так нравится скатываться с Поклонной горы «с ветерком», что он, разогнав свой трамвай, буквально пролетает мимо остановок, не открывая дверей, несмотря на возмущённые крики пассажиров, после чего карьеру вагоновожатого пришлось прервать...». Естественно, будущего поэта поместили в психушку. Это был конец сороковых.

А потом, после лагерей, Тайгин перепечатывает запрещённого Гумилёва на своей «Колибри». И вот из-под его пальца, как «я» представляю, выпархивают громыхающие строфы:

Шёл я по улице незнакомой
И вдруг услышал вечерний грай,
И звоны лютни, и дальние громы, —
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён.
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон. /.../

Брат, во мужик какой перформанс отгрохал во славу русской поэзии, сам, может быть, о том не подозревая! Тебе было года два, а «меня» не было вовсе.

Браво, Тайгин!

Спросишь, для чего «я» тебе об этом написал? «Сам» не знаю. Просто люблю, когда стихи прорываются в «реальность». Становятся нами, снами, вёснами, соснами... Как посмотришь с холодным вниманием вокруг, всё — стихи.

20. 02.2013

45

Дорогой брат!

Недавно приснился сон, будто «я» в сумасшедшем доме. Это какое-то громадное пространство, где спует множество людей. Я поче-

му-то занимается рисованием. Ко «мне» подходит врач. «Я», пытаюсь подлизаться, говорю, что лечу «себя сам» арт-терапией. Врач внимательно разглядывает «мои» рисунки, и лицо его суровеет, он зовет медбрата-надзирателя. Тот тоже склоняется над последним, еще не просохшим творением, берет его в руки, размазывая тушь. Дитина приходит в ярость, глядя на свои измазанные черным большие пальцы... Я, не желающее продолжения этого кошмара, катапультируется в кошмар «настоящего». Оно просыпается в бессмертной палате №6, из которой никому никогда никуда не выйти. (Четыре отрицательных частицы в одной фразе. Грамматика нейтринно.)

А вдруг, брат, все-таки еще до смерти удастся проделать дыру в палатной «реальности», как Буратино прополз носом картинку. Выйти на простор речной волны и вместо княжны утопить родное эго.

Свобо-да-да!

Вот я писало тебе, что после тунгусского начался бунт в искусстве — авангард, потом бунт социальный — революция, война. На этом исчерпался XX век. А теперь начинается, как я чувствует, бунт онтологический. Это бунт безмолвный. Он происходит в башке. Перформенсы извилин, балет ментальный, открывается не космос, а третья сигнальная система...

Это бунт одиночек, пожелавших стать не самими собой.

Ледокол парадигм.

Гм-гм. Опять в пафос вляпался.

Прости, брат прости. Я больше не будет.

«Боря».

26.02.2013

46

Дорогой Брат!

Вчера смотрел вечером по «Культуре» начало документального фильма «Великий замысел по Стивену Хокингу». Ну, этот Хокинг парализован, у него действует один палец, которым он стучит по клавиатуре компьютера, но башка физика (в силу закона давая-отними) работает более чем исправно. Если не ошибаюсь, у него и одиннадцатый палец в порядке (или 21-й?). В общем, очередной библейский триллер об образовании всего.

«Мои» любимые темы: все — стихи, все — музыка все — вибрации, Бог — поэт.

Когда в этом фильме разговор заходит о микромире и доходит до теории струн, согласно которой протоэлементы образуются в результате тех или иных ритмов, то для наглядности показывают струнный квартет. От инструментов поднимаются разноцветные переплетаю-

щиеся нити-волны вибраций. Из них-то и образуется вселенная. Но квартет может исполнять разные произведения, поэтому всяких вселенных много.

Этот безумный, безумный, безумный мир. Фильм Стэнли Крамера смотрел с классом в панорамном кинотеатре «Ленинград». А тут спустя чуть ли не пятьдесят лет такое продолжение. Дух захватывает, словно первый раз лезешь под юбку.

Не только звездам, но и безднам числа нет, Михайло Васильевич. Мыльные пузыри вселенных. Весело. Мозг, видать, какой-то наркотик вырабатывает, глядя на бесчисленные колыбельки для «себя». Интересно, какое произведение исполнялось, когда образовывалась «наша» вселенная. Может быть, какая-нибудь fuga Баха. Что-то полифоническое. Орган универсума. Я когда Себастьяна слышаю, почти физически ощущаю эту громадину шевелящегося всего.

И какое тут может быть эго?! Смешно.

Эго.

Иго.

Го-го-го.

Огой, брат!

27.02.2013

47

Дорогой брат!

Представляешь, я обрело истину. Нашел старый черный блокнот, на котором написано «Veritas». «Я» его брал в том году в Прагу. Что-то чиркал в нем, валяясь в твоём доме №13 на У. Хразе.

Вот, например, такой стишок (см. №1).

принес камушек
с могилы Кафки
на могилу А. Ника
ольшанское кладбище рядом

все — рядом

31.07.2012

Пражским записям предшествуют каракули 2005-07 годов. А на обратной стороне обложки накарябана цитата из третьего «О» Гончарова: «Это была большая глупость поставить беседку над обрывом».

Наша с тобой «беседка» (эти письма) такого же рода сооружение.

Ну, что, брат, полистаем блокнотик?!

Молчание — знак согласия.

Начали!

19.09.2005

И было написано на той маленькой баньке: «Оставь надежду всяк сюда входящий»

27.09.2005

Из телевизора. Утесов — официантке: «Деточка, это не надо кушать, это уже г-но».

30.06.2007

Вещдок — религия периода расширенного воспроизводства. Шоппинг — единственный возможный способ убедиться в существовании. Литургия рекламы. Мир — помойка Хеопса. Декарт отдыхает.

* * *

Смысл индивидуальности — в ее преодолении. Только лишившись высшей ценности «я» можно испытать чувство полета. «Наш» монгольфьер наполняется эфиром «нас нет».

* * *

Надо добиться баланса «ужаса до» и «ужаса после», тогда произойдет аннигиляция катастрофы.

2.07.2007

Неосознанный пафос современной литературы — в агонии сюжета. Старая вселенная исчезает, а в новой нет того места и времени (хронотопа), где могли бы разворачиваться литературные формулы прошлых тысячелетий.

19.07.2007

У Шекспира была возможность вопроса, а у Чехова — невозможность ответа.

Да, Николай Ильич, все слова, слова, слова...

«Я» — трепло.

А сегодня, представляешь, «я» встречаюсь с Петей Казарновским, он собирается делать доклад о твоих «Снах» в университете, хочет из классифицировать и вот спрашивает: «Кто такие Е.В. и В.К.?» Я понимает, Евгений Вензель и Виктор Кривулин, но вот кто такой А.П.? Судя по контексту, человек глубоко воцерковленный. «Я» чую, что-то было, а вспомнить не могу. Позвонил Кириллу Козыреву, а он «мне» сразу — Саша Прокофьев. Господи, какой «я» идет, ведь это все на поверхности. Тем более, сегодня — годовщина смерти Прокофьева и Сталина — шестьдесят лет. А я его сына Олега знал (Прокофьева, конечно). Поэт, скульптор, он в Англии жил. Мой Лева с его дочкой еще в допубертатном периоде пытался переписываться на английском. Как же ее звали...

Корделия!

05.03.2013

48

Дорогой брат!

Ну, вот, дожил до таких седин, что слушал в «нашем» университете, где твой родной братишка, Владимир Ильич, диплом по Бунину защищал, доклад о тебе. «Проза поэта-сновидца: Пятикнижие снов А. Ника». Там тебя с тем же Буниным, Ремизовым сопоставляют, Бретеном, а одна девица о Берроузе напомнила.

Спали-то все. И кто с кем только не спал. Но ты-то, брат, спал со смыслом, точнее, с полным его отсутствием. Со «звездой бессмыслицы» спал, с Шурой Введенским на пару. У «меня» есть афоризм: «Спи с умом». Под «умом» подразумевается наблюдатель, фиксирующий запретный опыт. Таможня мозга не дает добро на заграничную память. А ты был великим контрабандистом. «Тамань», не говоря худого слова.

Почему сон под надзором (цензурой) памяти, потому что в противном случае перед каждым во всей трагической наготе встанет вопрос о природе нашей реальности. Никакой реальности нет. Есть договоренности о понимании пятен, звуковых или визуальных, не важно.

Люди — это пакт о реальности. Зеленый — стой, красный — иди. И сколько в нас этих светофоров, о которых мы и не подозреваем. Уголовный и административный кодексы — только верхушка айсберга. Главные табу не выговариваются.

Ты, в силу врожденной аномалии, попер на красный. Ты был астралнавтом.

Доклад о тебе Петя делал 14-ого, а 11-ого исполнилось три года со дня смерти Лены Шварц. Когда «я» пришел в Троицкий собор, то открывая дверь, услышал какой-то странный, воющий звук

и с удивлением подумал, неужто авангардистов-композиторов в храм пустили. Но это была всего-навсего циркуляционная пила. Ремонт.

Отец Константин, который хорошо знал Лену уже начал панихи-ду, замахал кадиллом, когда пила вдруг завывла снова. Он прервал ритуал, повернулся к нам (Кирилл Козырев, Елена Попова и Тимур Чхеидзе из БДТ, Томас Эпстайн их Бостона, Татьяна Николаевна) и произнес: Леночка с присущим ей чувством юмора сказала бы: вот и пила меня оплакивает. Я было поражено неожиданным всплеском православно-го дзена. На фоне сгущающегося мракобесия — это перл.

Кстати, насчет перла, помнишь Дасика Перельмана? Сейчас вышла книга о его отце-пианисте — Натан Перельман «Беседы у рояля. Воспоминания. Письма». (М., 2013). «Я» ведь тридцать лет к Дасику в гости ходил. И Лева мальчиком на скрипке играл и пел Натану «Авину Малкейну» (иудейский «Отче наш»). «Мой» и Левин тексты там есть, а вот, в воспоминаниях пианиста Александра Избицера (он, кстати, блестяще пародировал своего учителя) я нашло кусочек, который его пронзил. Помнишь, оно тебе писало про «теорию струн» (см. №46)... Да, ведь, Избицер был приятелем Кипниса, они вместе выступали в Малом зале. Он обнаружил во мне сходство с известным портретом Моцарта в профиль.

«Я» — моц-арт.

Цитирую кусочек: «Для Перельмана музыка Моцарта была олицетворением самого Времени: «Есть, есть повесть печальнее на свете... Концерт Моцарта. Нотная запись здесь подобна циферблату часов. Она элементарна — она отсчитывает время: четверть — часовая стрелка, восьмая — минутная, шестнадцатая — секундная. Вот и все. Но где-то, в каждом обозначенном отрезке таятся, трепещут, ликуют и скорбят мириады не поддающихся обозначению временных частиц-молекул этой самой печальной повести на свете, и, может, в них вся суть? Маэстро, на сколько вы будете дирижировать: на раз, на два, на три, на шесть?»» («В классе рояля»).

16.03.2013

49

Дорогой брат!

Суть не в нас, она вне. Помнишь, псевдоним хеленукта Виктора Немтинова — ВНЕ. Каждый должен пройти через формулу «нас нет».

Распяты я.

«Себя» как лягушку на уроке биологии. «Себя» — заживо.

Вспороть живот себя. Сеплуку «себя». Самураи «насет».

Всем привет!

«И он впервые подумал о том, что он сам теперь — ненужный, томительный для других человек. Что им до того, что он знает и пе-

реживает что-то иное. Они не знают иного, они имеют дело только с человеком, и человек этот для них не нужен, скучен и обременителен».

Это «я», братишка, второй раз в своей жизни (первый — «Записки блудного сына») Савича цитирую («Воображаемый собеседник» Москва, 1991)

Иноземец, инородец, иностранец, иннок. Инакие мы с тобой, брат, вот в чем беда или радость.

Никакими надо стать!

Безличными местоимениями не нас.

Ненастное человечество.

Сумерки себя.

18.03.2013

50

Дорогой брат!

Царство Божие внутри «нас нет».

Прости, сам не знаю, что говорю. Тут слышал интересные вещи. Мозг, оказывается, ленится думать, потому что при интенсивном мыслительном процессе он тратит до 25% энергии, необходимой всему организму. Понимаешь, тут озарение, а другие органы лапу сосут, как медведь в берлоге.

«Не думай, Миша, не думай!»

Еще один финансист приводил пример человека, сидящего в троллейбусе, он не понимает, почему водитель поворачивает направо или налево, а идущий по тротуару сразу увидит, что водитель поворачивает вслед за проводами. Надо быть и пассажиром, и пешеходом одновременно. Как уже было сказано, одна мозга там, а другая — здесь. Еще лучше быть водителем «себя», но для того, чтобы им стать, надо включить третью сигнальную систему. А для этого надо экспериментировать на «себе».

Я — собака «я».

Вот пример в ту степь: «Он вдруг сообразил, что, конечно, все будут отрицать свои мысли, случайно подслушанные им. Да, может быть, они и сами не знают, что думают. И если начать говорить им это в лицо, они придут в ужас и еще ославят его безумным».

А рефрен-то у Савича «думай не думай» вложен в уста сумасшедшего мальчика Володи Маймистова.

Миша — «не думай», Володя — «думай не думай», Боря («я») — «читай не читай, все равно ничего не узнаешь». Вывод: чтобы узнать ничего, надо много читать.

И еще, Коля, мысля (я-то теоретизирую, а ты-то практик теперь. Прости, если что не так), может быть, в момент смерти вся оставшаяся энергия организма поступает только в мозг и мы понимаем... Н и ч е г о.

20.03.2013

51

Дорогой брат!

С утра дурочка вещает по радио: «Великий пост особенно полезен для жирной кожи».

Я продолжает медленно, гомеопатическими дозами читать Савича.

9 ч. 40м. Все. Дочитал. Вот несколько цитат на прощание. Ах, Овидий Герцович!

«Он вспомнил это и со странным равнодушием вместо испуга почувствовал, что сердце его тронула старая, знакомая скука. Ее прикосновение было очень холодным, сердце сжалось под ним, но не забилось».

* * *

«Нет права на ветер, унесшийся вдаль, на гребень волны, вскипевший белою пеной и разошедшийся в других волнах. Кто-то сцепил капли, но вот они рассыпались, — может быть, им этого вовсе не хотелось, — рассыпались и растворились, волна плеснула в песок, песок сохнет на солнце. И если одна капля испарится раньше другой, кто виноват в этом, кто может им помочь?»

* * *

«В окно видно было море. Оно все шло и шло, волны неслись, как войско, как неисчислимая армия, блестя на солнце шлемами, и казалось, что крайние — фланговые — идут так быстро, даже бегут, и передовые разбиваются одна за другой, а в это же время центр вовсе не движется, — но это только казалось так, на самом деле море шло всю огромную непостижимою своей величиной».

Да, брат, это Петр Петрович Обыденный, правда, незадолго до смерти, тоже ощутил эту всепоглощающую-всепримиряющую вибрацию ВСЕГО. Он, собственно, стал поэтом, но не успел это осознать.

Пока!

P.S. Вдруг вспомнил присказку из детства: «За пока бьют бока».

21.03.2013

52

Дорогой брат!

Вот, Коля, пенсионерские радости: телевизор стал для «меня» окном во вселенную. Этот неутомимый Морган Фримен продолжает свое путешествие через кротовую нору на канале «Культура».

Мир «нашего» детства рухнул окончательно. Вселенная приобрела приставку мульты. Число их не ограничено.

Некоторые ученые считают, что время есть. Другие, что — нет. Парменид с нами, брат, все еще.

В результате фундаментальным остается только постулат: «никогда не говори на самом деле».

Еще один теоретик считает, что физические законы могут меняться в ходе существования, после Большого взрыва были одни, а теперь — другие.

Некая ученая дама, объясняя парадоксы пространства-времени, продемонстрировала бублик.

А у «меня» есть стихотворение «Послание от бублика» (см. «Слова и рисунки» с. 56–57).

Я вообще думает, а не может ли быть так, что набор мыслимых комбинаций, допущенных в «нашем» мозгу, ограничен, поэтому картина мира, вне зависимости от наработанного опыта, никогда не будет соответствовать оригиналу. «Наш» познавательный инструмент изначально не рассчитан на ойкумену. Удел — частности. Кто-то всю жизнь изучает хобот слона, кто-то — хвост. О самом же слоне мы не узнаем никогда. Элементы элѐфанта — удел науки. Из этого лего легко собрать много чего. Но как собрать из него ничего?!

Человек, солнечный червь, на ощупь ползает в «собственных» мозгах, чтобы все выработанные понятия заключать в кавычки. «Мы» живем в закавыченном мире. Бряцаем кандалами парных знаков препинания. Каторжники «я».

Интересно, брат, все это, но безнадежно. Универсум был прав, не надо было яблочко лопать.

И лопотать не надо, «я» понимаю, но лопочу, как лапоты.

Плоть слаба. Не убирайте, маэстро, ладони со лба.

Эх, яблочко, куда ты катишься?!

28.03.2013

P.S.

Дорогой брат, ставить даты в письмах, обращенных в вечность, это нечто. Но это еще не Ничто! Ни-ни-ни. Не-не-не. Ням. Ям.

53

Дорогой брат!

Вот уже и апрель. Сегодня обещают метель. Письма что-то не пишутся. Температура тела колыхается.

Один математик «из кроличьей норы» вещал, что в основе всего лежат числа. Они — реальные, а не мы. Все эти древнегреческие тропы так никуда и не делись. Я отчасти согласно с этим пифагорейцем, ибо мне кажется, что самое страстное в человеке — абстрактное начало. Мы, по недоразумению, воспринимаем гармонию как нечто материальное. А это — совершенные формулы, «сверкающих формул вода». Всяческие золотые сечения, теоремы Ферма, и т.д. Цифровое телевидение Вселенной. Генетический штрих-код «самого себя» любимого. Если «ты» — формула, то ты бессмертен, мистер Х. Какое-нибудь там преобразование Фурье...

Господи, Коля, что это я пишет? Чего «меня» на математику повернуло?!

Температура к вечеру поднимается, вот цифры в башке и воспаляются.

Пойду ас3,14рина хлопну.

5.04.2013

54

Дорогой брат!

От Скаковского застряла у меня книжечка Ал. Амфитеатрова. Собрание сочинений. Том двадцать первый. Называется «Склоненные ивы». Я думало, что это роман, и на чтение не посягало. А потом в очередной раз оно разозлилось на книжную заваль, разрастающуюся на подоконнике, и раскрыло том.

Есть эпиграф. «...Над камнем могильным / склоняются грустные ивы...» Под ним: Гартман — Плещеев — Чайковский.

Оказалось, это не роман, а сборник театральных портретов (некрологов). Судя по предисловию, вышел он в 1913-м. Ровно век тому назад. Других дат здесь нет. Еще начертано перед оглавлением: «Бумага без примеси древесной массы».

А в электронных книгах без каких примесей будут обходиться? Какие элементарные частицы пойдут на выброс?

Так вот, есть у этого Амфитеатрова (а прожил он 76 лет и умер в Италии; «бегством плена избежал», как ты, брат, написал давно) очерк о Сухово-Кобылине. И вот что там обнаружилось.

«Я тебя не буду подвергать телесному наказанию, или пыткой пытать — это запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!» — говорит купцам Сквозник-Дмухановский. Намек этот,

как отживший свой век, современная публика пропускает мимо ушей; он проходит незамеченным, для многих непонятным. А между тем, он говорит об ужаснейшем полицейском злоупотреблении доброго старого времени, о пытке жаждою. Сухово-Кобылин имел смелость вывести на сцену весь следственный арсенал дореформенного застенка-квартала: пытка полотенцем, пытка бойлом городских, пытка темною, пытка жаждою проходят перед возмущенным зрителем в ряде быстрых, грубых картин, гениальная уже сама основная мысль автора — сделать центром комедии, в роли судебного следователя незабвенного Ивана Антоновича Расплюева. Расплюев, которому Кречинский говорил: «Гончая ты собака, Расплюев, а чутья у тебя нет!» — следователь! Расплюев, который, при полицейском опросе, оказался «без фамилии» — сам полицейский! Шулер, с тремя трепками на день, в охранителях закона у общества! И — в каких охранителях!»

Да, Коля, тут каждый восклицательный знак современен. В ГУЛАГе на этапе тоже селедкой кормили. Пытки — дело обыкновенное и теперь. Подмосковные прокуроры прикрывали игорный бизнес. А «оборотень в погонах» — это же и есть квинтэссенция «Смерти Тарелкина».

«Наша» история — бег на месте.

Премьера «Ревизора» — 1836 год.

Все всегда остается по-прежнему.

Спустя век — 37-й.

Ветер переменнет.

Нежели через двести лет будет та же селедка?

Смерть есть остановка времени, писал Введенский. Здесь тоже со временем что-то происходит. Мертвое оно какое-то. Неживое. Иди это мое эго ороговело. Куколкою стало. Когда начнется метаморфоз, скажи «мне», мозг?! Скажи «мне», Коля.

Пошло «я» спать. Спокойной вечности, брат.

Твой Ванька Жуков.

9.04.2013

55

Дорогой брат!

Чего в голову-то пришло в связи с Суховым-то с Кобылиным-то.

А может, как Зосима в «Братьях», парадигма нашего существования провоняла.

Или Россия тут, как и в космесе-балете, оказалась в числе передовиков.

У нас уже всюю смердит, а там, в «эмиратах», еще только чуть-чуть, можно с парфюмом перепутать.

Был у Хармса такой апокалиптический персонаж дядя Вонь. Сейчас это тебе не эпатажный кочан гниющей капусты под кроватью у абсурдиста. Это планета загнивает. Верхние листья сдирать надо.

Как?!?

Опять война-антисептик?

Россия, кровью умытая? Опять и опять.

Смердельный закат Европы.

Теперь каждому самому надо в башке окно ледорубом пробить. Операция анти-Троцкий. Перманентная эволюция изнутри насчет.

13.04.2013

56

Дорогой брат!

Чего делается, Николая! Не успеваю тебе что-то на тот свет сообщить, как оно на этом свете аукается. Помнишь, писал тебе про виртуальные кладбища (см. №24)? И, вот, пожалуйста, газета «Известия» (от 15.04.2013, с. 1) заметка «Загробный интернет». Последний абзац: «Еще один важный аспект сетевой «жизни после смерти» — виртуальные кладбища, позволяющие делиться воспоминаниями об усопшем и ставить на «могилы» виртуальные свечи или цветы. Это актуально для тех, кто не может часто навещать реальные могилы родственников и близких».

А потом компьютерщики сделают рай и ад, и туда за плату можно будет помещать покойников. Тот, кто усопшего ненавидел, будет любоваться им в аду, кто любил — в раю.

Сделают сеансы связи по загробному скайпу. Продолжительность разговора будет измеряться в вечностях. Стоимость — в ноуменах.

Наверняка, многие пожелают увидеть своих недругов в аду еще при жизни. Как японцы колошматят манекен шефа, так будущие подчиненные будут устраивать коллективные просмотры адских мук начальника. Это будут тайные корпоративы. Возможны разные эдемы для гетеро и гомосексуальных пар. Отдельный рай для домашних животных.

В общем, скоро, братушка, тот свет будет освоен. Наиболее дальновидные предприниматели уже, должно быть, вкладывают деньги в астрал.

Наступит аврал астрала.

Если, конечно, авария не наступит раньше.

17.04.2013

57

Дорогой брат!

Теперь насчет аварии. Уже все они талдычат, но мотор цивилизации все еще фурычит.

Вот газетка «Собеседник» от 17–23 апреля сего года. Интервью берет Дмитрий Быков у Ксении Собчак. Она вещает: «Это изменится ровно в той степени, в какой вообще изменится рациональная цивилизация. К сожалению или к счастью, она закончилась».

И еще эта дама, делающая «гламурный журнал, но серьезный», хочет осенью добраться до подножия горы Кайлас. Кружению вокруг этой тибетской вершины посвящена книга Редько, которую в предыдущих письмах я неоднократно цитировало. Дальше больше: «но понимаю я и то, что мир действительно на пороге переворота — это на ближайшие двадцать, а то и тридцать лет. В результате этого переворота закончится цивилизация потребления, рациональному мышлению будет нанесен серьезный удар».

Если уж гламурная Валаамова ослица заговорила, то «мне», наверное, лучше заткнуться. Сделай паузу, скушай «Твикс».

Все.

P.S. Что у «меня» в конце концов получилось?! Не претенциозное «Трудно быть Богом», а сакраментальное «Трудно быть Борей». Я открыло в «себе» условность. Условное сословие — мало. Его представители всегда — одиночки. Но поскольку они не матери, то для них не предусмотрено никаких преференций. Они обречены на «молчание каракулей». И здесь не закричишь караул. Ты уже не я.

Пока, брат.

Твой Твин Пикс Твикс мистер Пиквик.

22.04.2013

58

Дорогой брат

И чего это, скажешь ты, мистера Пиквика вспомнил? Я поехало...

Сначала в Финляндию (Хельсинки), затем на твою вторую родину во второй раз.

В Хельсинки я поехало, чтобы отбить полугодовой шенген, полученный через финнов. Там у художника Валеры Мишина (муж Тамары Буковской — помнишь?) была выставка в нашем «Доме науки и искусства». Я поехало в качестве сопровождающего, соблазнившись бесплатной гостиницей. Два алкоголика-живописца, бывшие с нами, сразу сказали, что этот «дом» был предназначен для шпионов еще в 50-е годы. С тех пор ничего не изменилось.

«Советские» дамы с платиновыми прическами (это когда волосы нещадно политы лаком), функционеры с постными скопческими лицами и глазами, скошенными от постоянного вранья. Лифт, для передвижения на котором в ночное время нужен спецключ. Он поднимает-

ся из бункера, чтобы тайные агенты могли сохранить свое инкогнито. Пока там жило, я вспоминаю фильм «Мёртвый сезон». Мишин рыскал по всему Хельсинки в поисках раритетного винила (джаз).

Ты, может быть, спросишь «меня» что же ты, сука, молчал, что в Прагу собираешься. Понимаешь, брат, во всем должна быть интрига. Даже в нашей с тобой загробной переписке.

Главный интриган — Бог?!

Там, в Библиотеке самиздата (Libri Prohibiti) была выставка твоих и «моих» работ. Вышел шикарный каталог. Фотографии, тексты, картинки. Все на чешском и на русском. Твоя дочь Лиза листала его на вернисаже и плакала, а внучку Сару я учил рисовать при помощи спички и обучал монотипии.

«Я» ездил с Петей Казарновским и его женой Людмилой. Петя на вернисаже говорил о тебе, Зденка и переводила, и говорила. А потом мы, втроем, давали интервью Дмитрию Волчку («Митин журнал»). Для «Свободы». Ты много лет назад был напечатан там.

На вернисаж пришел Юлиус Мюллер и много диссидентов с диссидентками. Катаржина Волкова, правая рука Гюнтерада, таскала откуда-то бесконечные кувшины с красным и белым вином. Пришло много честных пьяниц, которые мгновенно слопали пирожки с мясом и капустой, а также все булочки с корицей, изготовленные Зденкой по рецепту твоей мамы, Зои Николаевны. Об этом было сказано специально.

Гюнтерад затащил нас с Петей в свою святая святых собрания самиздата всех времен и народов. Двадцать тысяч томов.

Какая-то девица с панковской прической все время крутилась около «моих» рисунков. Потом выяснилось, что занимается комиксами. А один парень хотел купить у меня триптих (это просто три картинки повесили в одной раме) и даже собирался для этого устроиться на работу. Я просил его сделать это побыстрее, имея в виду «мои» преклонные годы. Мы со Зденкой просидели там так долго, что пришлось обратно ехать на такси. Прости.

7.05.2013

59

Дорогой брат!

Может, ты подумаешь, — чего прости-то. А это, как у Высоцкого, рефрен военной песни: «Только он не вернулся из боя». «Я» и перед тобой, и перед Кудряковым, и перед Леной чувствую «себя» виноватым...

(21.09.2014. Было начало десятого. Когда Надежда набирала эти слова, и мысленно добавляла в этот список свою сестру Анну-Ры Никонову-Таршис, умершую полгода назад в Киле, позвонил её пле-

мянник Август и сообщил, что ночью умер Сергей Сигей. Вот такой Гоголь-моголь получился. Старосветские помещики-авангардисты. Анна Александровна и Сергей Всеволодович. Ребята, простите меня тоже. Когда текст начинает писать сам себя, что остаётся от автора?)

...Это не конкретная вина, а метафизическая. «Живого» перед «неживым». Вообще, имеет ли я право теревить тебя своими письмами на тот свет. Может быть, человеческая память для перешедших в вечность — раздражающее мушиное жужжание?

Тогда безумно жаль великих. Пушкин, наверное, оглох совсем. Пытка Пушдомом.

Впрочем, на твои дела, брат, пока дрозодилы не столь падки, и речь идёт всего-навсего о более или менее полном издании твоих текстов, чтобы атолл не был гол.

Случилась со «мной» странная история в «твоём» пражском доме. На следующий день после вернисажа, Зденка пригласила Гюнте-рада с Катаржиной в гости. Ели-пили. Я пошёл в комнату, которая называется библиотекой, чтобы показать Иржи книги, привезённые для него. По дороге из очков ни с того ни с сего выпадает правое стекло. Люда долго возится с винтиком, пытаюсь вставить линзу обратно. Вечер пятницы, а в субботу и воскресенье все оптики закрыты. Запасных очков «я» не взял. А передвигаться по городу без одного «глаза» невозможно. Циклоп из «меня» никакой.

Тогда Люда принимает героическое решение и жертвует для «меня» винтик из своих солнечных очков. Гюнтеград терпеливо (чуть ли не в течение получаса) пытается его закрепить вместе со стеклом. Наконец, ему это удаётся и «моё» я из мира безымянных пятен возвращается в мир семантических узоров.

Мозг «я» снова в калейдоскопе несущегося существа.

Спасибо, Гюнтеград. Спасибо, Люда.

Спасибо, Универсум.

«Вне клетки жизни нет», гласит биологическая аксиома. «Я» вернулось в родной зоопарк. Клеточки, клеточки, клеточки мои. Ядра — чистый изумруд. Дезнашка по утрам. Люди белОк стерегут.

Всем спасибо.

P.S. На вернисаж, как «мне» потом сказали, пришёл один известный стукач. Высокий, седой, с косичкой. Диссиденты его игнорировали. А он всё ходил, ходил кругами своего ада.

08.05.2013

60

Дорогой брат!

Приехал из Праги и через несколько дней заболел (горло, кашель, сопля). Вместо того чтобы гордо трясти мудьями каталогов пе-

ред знакомыми, провалялся неделю в постели, заходясь в пароксизмах бронхита. Землетрясение тела.

Вторую весну подряд у нас, на Чёрной речке, поют соловьи. Ночью, после очередного спазма откидываешься на подушку и слышишь птиц... («В этом ужасе — весна» — прочирикало я в 2007 году). Пять лет соловьёв не было.

«Я» же все эти годы заливался трелью «не-я». И вот вчера слушал на службе телевизор (фильм «Дядюшкин сон»), «моё» эго вдруг сделало стойку, навострило уши, как охотничья собака. Сегодня полез в Достоевского.

« — Как было? Что такое было? — кричала Марья Александровна, не понимая ещё хорошенько», (т. 2, стр. 384).

Неплохой эпиграф. Для снов твоих, например.

А?!

20.05.2013

61

Дорогой брат!

Вывел Петя твоё сновидческое пятикнижие на бумагу. Я читаю два дня подряд.

Кайф.

Дело ведь не только в мастерстве, с которым ты описываешь неопишуемое, но и в том, как в этой ментальной одиссее, от сна ко сну, возрастает твоё искусство навигатора. Не только сон ворочается в твоей голове, ты сам начинаешь пытаться им управлять, вступаешь в диалог с Морфеем. Джигитовка сна. Это дорогого стоит.

Теперь сюжет, как и Царство Божие, внутри нас. Классическое шоу — борьба дьявола с Богом на арене сердца. Цирк «себя» стал новым аттракционом литературы. Твой жанр — иллюзионизм. Здесь ты достиг совершенства. «Ловкость рук, никакого мошенничества». Только в твоём случае это были не руки, а полушария. Виртуозно ими жонглируешь, брат. Этот эквilibр забываем.

Позавчера у Кудрякова был день рождения, ему бы исполнилось 67 лет. А завтра, Коля, будет два года, как ты ушёл за снами.

30.05.2013

62

Дорогой брат!

Подсунули тут мне Владимира Жаботинского книжечку, роман «Пятеро» 1936 года. Обнаружил там хорошее местечко, которое посылаю тебе в твоё неизвестно где.

«Замечательная книга. Конечно, только теперь её понимаешь как следует. Главное в ней — это вот какой вопрос: если так случилось, что делать человеку — бунтовать, звать Бога на суд чести или вытянуться по-солдатски в струнку, руки по швам или под козырёк, и гаркнуть на весь мир: рады стараться, ваше высокоблагородие! И вопрос, по-моему, тут разобран не с точки зрения справедливости или кривды, а совсем иначе с точки зрения гордости. Человеческой гордости Иова (он, конечно, произносил *Иова*), моей и вашей. Понимаете: что гордее — объявить восстание или под козырёк? Как вы думаете?»

/.../

— И вот здесь выходит так: гордее — под козырёк. Почему? Потому что ведь так: если ты бунтуешься — значит, вышла бессмыслица, вроде как проехал биндюг с навозом и раздавил ни за что ни про что улитку или таракашку; значит, всё твоё страдание — так себе случайная ерунда, и ты сам таракашка.

/.../

— Но если *Иов* нашёл в себе силу гаркнуть «рады стараться» (только это очень трудно; очень трудно) — тогда совсем другое дело. Тогда, значит, всё идёт по плану, никакого случайного биндюга не было. Всё по плану: было сотворение мира, был потоп, ну, и разрушение храма, крестовые походы, Ермак завоевал Сибирь, Бастилия и так далее, вся история, и в том числе несчастье в доме у господина *Иова*. Не биндюг, значит, а по плану; тоже нота в большой опере — не такая важная нота, как Наполеон, но тоже нота, нарочно вписанная тем же самым Верди. Значит, вовсе ты не улитка, а ты — мученик оперы, без тебя хор был бы неполный; ты персона, сотрудник этого самого Господа; отдаёшь честь под козырёк не только ему, но и себе, то есть, не всё здесь этими словами написано, но весь спор идёт именно об этом. Замечательная книга»

Но надо учесть, что всё это сказано ещё задолго до Холокоста. У Зингера «брат под козырёк» уже не получалось. Вот, пожалуйста, «Враги. История любви» (1966): «Мёртвый голубь лежал на снегу, раскинув красные лапки. «Святое создание», вот ты уже и прожил свою жизнь, — мысленно обратился к нему Герман. — Тебе повезло. — Его охватила печаль. — Зачем Ты его создал, если таков его конец? Сколько ты ещё будешь молчать, всемогущий садист?»

Мы «себя»-то не понимаем, заблудились в нейронах «я», как в джунглях. Что о Боге-то говорить. Возьму-ка «я», брат, с тебя пример и помолчу сутки в салате (на работе). Пока.

P.S. Во, Коля, дела: у тебя — Лета, а у нас лето началось.

1.06.2013

63

Дорогой брат!

«Я» почти переплыл тетрадищу «свою». Осталось две странички. Что дальше-то делать, Коля, оборвать «нашу переписку» или переплыть в нечто другое писчебумажное?!

В «салат» ко «мне» заходил Казарновский, забрал твои «Сны» с «моей» правкой (пунктуация, орфография, чехизмы).

У нас сегодня будет +30. А у тебя, на второй родине, опять наводнение. Карлов мост затопило. Пол-Европы буль-буль.

Ной, не вой!

Гоморра на марше. Человечество не устаёт решать какая дырка праведнее. Лозунг для святош: «Минету — нет!»

Бедные люди. Бедные звери.

Инстинкт размножения превыше всего. Эта махина подминает под себя всё и вся. Мы запрограммированы полностью. Надежда на Ахиллесову пятю. Она запрограммирована на смерть.

Она — другая.

Другой — это не тот, кто не такой. Другой — это никакой. Он при жизни умер.

То-то «я» с вами, умершими, не перестаю общаться. Ты, Кудряков, Лена, иногда — Дасик.

«Я» под пятой.

«Я» — пятница ваша.

«Я» — это не я.

Не-я — «я».

«Я» с Яика.

Росси — «я».

Умаялся «я», брат. Давай подумаем, что дальше делать. Сейчас бриться пойду в физическом мире, буду разбрасывать атомы щетины в ванной. В каждом электро́не — по Вселенной. Гы-гы-гы!

Спокойной ночи.

4.06.2013

Георг ТРАКЛЬ

/ 1887–1914 /

Перевод с нем. Л. Бердичевского



XX век был полон неожиданностей: взлётов и падений, находок и потерь, военных действий и мирных будней, рутины и открытий. В числе всех этих метаморфоз выдающееся место отводится экспрессионизму. Он предъявил себя, как движение против романтизма и натурализма. Именно так и позиционировали себя деятели новой немецкой культуры, прежде всего писатели и художники. В 1911 году видный теоретик нового направления Курт Хиллер писал: «Для нас важно утвердить, прежде всего, личное, собственную тематику, волю к творчеству, собственную этику». Но только в 1916 году термин экспрессионизм стал общеупотребительным, его применяли искусствоведы и критики.

Но это случилось уже после ухода из жизни двух самых ярких представителей течения, — Георга Гейма и Георга Тракля, творчество которых оказало и продолжает до сих пор оказывать огромное влияние на современную поэзию. Однако остановимся на поэзии и личности Георга Тракля. Новые переводы его стихов мы предлагаем читателям журнала.

Один из самых интересных городов Западной Европы, в котором, кажется, дыхание жизни уже более двух столетий согласовано со звуками моцартовского гения, Зальцбург, подарил миру ещё двух великих людей, — дирижёра Герберта фон Караяна и поэта Георга Тракля. Здесь, в нескольких метрах от площади Моцарта (Mozartplatz), находится небольшая Waagplatz (площадь весов). В доме №93, в семье торговца скобяными товарами Тобиаса Тракля, 3 февраля 1887 года родился сын, Георг. У него были четыре сестры. Материальное обеспечение семьи было невелико, мать часто болела, и юноша вынужден был подрабатывать на всяких подсобных работах. После окончания начальной школы начал занятия в гимназии, однако, не сдав очередных экзаменов, бросил её, решив приобрести профессию фармацевта. С 1908 года три года он изучал аптечное дело в Вене. Став военным аптекарем, он поселился в Инсбруке. Здесь познакомился с издателем журнала «Der Brenner», Людвигом фон Фикером, который опубликовал его первые стихи. В Берлине известная поэтесса Эльза Ласкер-Шулер представила его литературной элите, которая признала в нём поэта и своего соратника. Но вскоре началась первая мировая война. Тракль был призван на фронт и принял участие в битве под Гродеком, в качестве обер-лейтенанта медицинского отделения. Увиденные военные действия произвели на него настолько сильное психологическое впечатление, что он был помещен в Кракове в больницу, в психиатрическое отделение. Здесь под влиянием алкоголя, к которому пристрастился с юных лет, и действию кокаина, он, по-видимому, при передозировке наркотика и паров алкоголя, покончил жизнь самоубийством. Это случилось 3 ноября 1914 года. При жизни Тракля вышла всего одна книга его стихов. Вот и вся канва его

короткой трагической жизни. В начале своего творческого пути, прилично владея французским языком, он находился под влиянием поэзии Ш. Бодлера и А. Рембо. Очевидцы утверждают, что он был мрачен и нелюдим. Стихи его, уже более поздние, свидетельствуют о том, что у него появился свой собственный поэтический язык, свой ритм и стиль, свои сюжеты, избыточные меланхолией и воображением видений, образов, часто непонятных рядовому читателю, ибо они индивидуальны, конкретны для переживаний и мыслей самого поэта. словно он находится в объёмах сновидений, которые нашёптывают ему слова и ритмы, прозрачные пейзажи и образы в мрачных, свинцовых тонах, окутывая автора своей сетью, своим патетическим окружением и тяжёлым дыханием. Фонетика его сложна и доступна только подготовленным читателям, собственно, читателям поэзии, глубоко сочувствующим состоянию автора. Однако, круг его образов своеобразен, несмотря на болезненное ощущение, что невольно запоминается. Возникает желание возвращаться неоднократно к его стихам. Остаётся лишь сожалеть, что такой огромный талант был загублен тяжёлыми обстоятельствами войны, вторгшейся в судьбу поэта. Трагедия относят к крупнейшим немецкоязычным поэтам и, порой, ставят в один ряд с Гёте, Гейне и Рильке. Его влияние на мировую литературу XX века неоспоримо. К переводам стихов Георга Трагеля, мы прилагаем два стихотворения, посвящённых ему, поэтами разных поколений. Первое принадлежит перу его современницы, Эльзе Ласкер-Шулер (Else Lasker-Schuler, 1869–1945), другое — поэту следующего поколения, Иоханнесу Бобровски (Johannes Bobrowski, 1917–1965).

Л. Бердичевский, Берлин, октябрь, 2014

НОЧНОЕ СМИРЕНИЕ

Монахиня! Прими меня в темницу кельи.
 Прохладой дышат голубые горы,
 Роса сочится, словно кровь из горла.
 На небе крест в мерцанье звёзд, как зелье.

Пурпурный рот разрушил стон своей ложью.
 Игры теченье задохнулось смехом.
 В руинах дома возмутилось эхо,
 В последнем звоне колокола, дрожью.

Луна на облаке! Взгляни-ка, силуэтом
 Плоды с деревьев падают ночами.
 Могилой комната плывёт над нами.
 Надгробный холм, мечтой, оставлен где-то.

ВОРОНЫ

По тёмным углам притаились вороны.
 Как пятна их чёрные тени,
 К спине прилепились оленьей,
 И дремлют, уткнувшись в сосновые кроны.

Они не считаются здесь с тишиною,
Покой отнимают у поля,
Как бабы, клянущие долю,
Дерутся и ссорятся между собою.

Но вот, мертвечины почувствовав запах,
Взлетают и мчатся мгновенно.
Добычу найдут непременно,
И клювами рвут и несут её в лапах.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Карлу Рёкку

Коричнево. Подобие пятну
У стен, затронутых осенней стужей.
Мужчина с женщиною рядом тужат
В холодной комнате, идя ко сну.

Играют дети. Тени пелена
Коричневым пластом упала в лужу.
Проходят люди и в глазах их ужас.
Церковным звоном жизнь напряжена.

Для одиночества открыт кабак.
Табачный дым под сводами, как мрак,
Лишь тишина ещё едва ласкает.

И личное, вдруг память всколыхнёт,
И пьяницы в раскаянье, но вот
Уж птицы вольные собрались в стаю.

АМИНЬ

Заполнена комната запахом тленья.
Тени жёлтых обоев бегут в зеркалах.
Руки, цвета слоновой кости, печальны.

В мёртвых пальцах коричневый жемчуг.
И в тишине
Открылись капли голубых, ангельских глаз.

Вечер голубоват.
Отмирания время. Тень Азраила
Затемняет собою крошечный сад.
Аминь.

ВЕЧЕРНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К СЕРДЦУ

Крик летучих мышей, оглушающий вечер.
Ворон скачет по лугу.
Шелестит красный клён.
Путник видит кабак — путь туда обеспечен, —
Там вино молодое и орех недурён.

Под хмельком хорошо прогуляться по лесу.
Сквозь листву уловить колокольную боль, —
Это только всего лишь церковная месса.
А роса на лице? Какова её роль.

МАЛЕНЬКИЙ КОНЦЕРТ

Вот потрясение: солнышко смело
Ладони пробило солнечным светом, —
Сказка, и только. И сердце при этом
Скачет. Но надо заняться бы делом.

В полдень волнуется жёлтое поле.
Пенье сверчков не услышишь почти ты.
Шумы лесов вроде напрочь закрыты.
Косы на поле, как птицы на воле.

Воды обильно покрыты гниением.
Тишь разрушается звуком гитары.
Дышат всюду поражённые пары.
Замерли рыбы. Ветров дуновенье.

Воздух колеблется духом Дедала.
Запах молочный приносит орешник.
С криками, крысы несутся, поспешно.
Скрипке учителя время настало.

А в кабаке, на линиях обоях,
Светят, едва уцелевшие, краски.
Сорваны всюду приличия маски.
В общем скандале ссорятся двое.

НОЧНОЙ РОМАНС

Под сводом звёздного шатра
Гуляет путник-полуночник.
Малыш в испуге прячет очи.
Луна, как серая дыра.

За зарешённым окном
Девица льёт обильно слёзы.
Влюблённые нырнули в грёзы
Восторженно, — в пруду немом.

Убийца бледный пьёт вино.
Больных охватывает ужас.
Монашка молится, но тужит.
Припав к распятию давно.

Спросонья мать поёт для всех.
Ребёнок на оконной раме,
В печь смотрит умными глазами,
И сдавленно бормочет смех.

В подвале от коптилки свет.
Мертвец рукой малюет что-то.
Молчанье разрушает шёпот.
Все, вроде, спят, и страха нет.

ТЛЕН

Звонят колокола над миром к ночи,
И силуэты птичьих стай видны с земли,
Что в небе покружив, скрываются вдали,
Как пилигримы, вытянувшись в строчку.

Я им завидую. О них мечтаю.
И вечером, идя сквозь сумеречный сад,
Я сил не нахожу, чтоб оторвать свой взгляд,
И бега времени не замечаю...

Как ток, по мне прошло, дыханье тлена.
И жалобы скворца, застрявшего в ветвях.
Вот виноград набрал в цветении размах,
И смертный страх стихает постепенно.

Прильнувши к полусгнившему колодцу,
Там розы лепесток о брёвна трётся.

ЛЕТО

По вечерам смолкает счёт
лесной кукушки.
Склонились злаки до земли
и маки тоже.

Бедою чёрною гроза
летит с пригорка.
И звук весёлого сверчка
стихает в поле.

Каштанов кроны в высоте
мертвы, как будто.
По маршу лестницы плывёт
шуршанье платья.

Едва-едва накал свечи
в квартирном мраке.
Сейчас серебряной рукой
его погасят.

В беззвучной ночи тишина.

ЗИМА

Холодом сковано белое поле.
Стужа коснулась пространства небес.
Даже охотники бросили лес.
Но над прудом галки носятся вволю.

Звон колокольчика где-то далёко.
В кронах ночлег обрела тишина.
Пó небу серая бродит луна.
В избах огни светят слабо и блёкло.

Зверь издыхает у края опушки.
Кровью он залит, совсем изнемог.
Слышен призывный охотничий рог.
Вóроны кровью пьяны на пирушке.

МУЗЫКА

В САДУ МИРАБЕЛЬ

Фонтан поёт, и белых облаков,
На синем небе разгулялась стая.
И окунаясь в праздность вечеров,
Гуляют люди, скуку коротая.

Уж белый мрамор стал совсем седым,
Вдаль острым клином улетают птицы.

И мёртвый Фавн увидит: словно дым
Исчезла тень, чтоб в тишине укрыться.
С деревьев старых падает листва,
Влетая в окна со всего размаха.
А на стенах, как капли волшебства,
Танцуют блики призраками страха.

Вот, Белый гость переступил порог,
К нему собака бросилась навстречу.
Погасла лампа. Подведён итог.
И звук сонаты обозначил вечер.

* * *

В окружении женщин подтянуто горд,
но улыбка крива, как гримаса.
А тревожными днями ты полностью стёрт, —
это видит засохшая астра.

Словно тело твоё, — золотой виноград
на холме наливается, зреет.
Косы в поле патетикой ритма звенят.
Пруд зеркальный блестит озорнее.

И по красным, разлапистым листьям кустов
капли росные катят забавно.
Дева чёрная, как от тяжёлых оков,
задохнулась в объятиях мавра.

ВДАЛИ

Собрали урожай зерна и винограда,
И деревушка спит в осенней тишине.
Стук молота о наковальню, как награда,
Приносит ветер смех, что плещется в окне.

Ребёнку белому охапкой дарят астры,
Что распускаются душисто у оград.
И с тем, что все мертвы, давно уже согласны.
Лучами в темноте взорвался старый сад.

В пруду всего одна лишь золотая рыбка.
На всё тарашится со страхом чей-то взгляд.
Окóн коснулся ветер, изысканный и гибкий,
Он предлагает звук на свой, органнй, лад.

Мерцание звезды мечту смешало с тайной,
 И вдаль глядят глаза, — там тучи все в гряде.
 И в серой скорби мать, в тоске необычайной,
 И темень утонула в чёрной резеде.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СКОРБЬ

Часы перед заходом били пять,
 И ужас у людей застыл во взгляде.
 Деревьев голых шум остался сзади.
 Лик смерти у окón устал стоять.

Возможно ль время нам остановить?
 Ночных видений проплывают лица.
 На пристани монашек вереницы,
 В такт пароходам убавляют прыть.

Вдруг слышится мышей летучих крик.
 Гробы сбивают тут же, на полянке.
 В развилине лежат людей останки.
 Тень сумасшедшего явила лик.

В осеннем небе стынет синий луч.
 Во сне влюблённые сплелись телами.
 На звёздах ангелы плывут ночами.
 Впотьмах виски людей белее туч.

ГРОДЕК

Нынче вечер окрашен в цвета вечернего лёса.
 Ежедневно с вершины разносится вспышками злато,
 При озёрной голубизне и ненасытности солнца,
 С жадностью катит вперёд торопливая ночь.
 Солдат, умирающий горько и дико, издал
 Вопль, что идёт из его окровавленной глотки.
 Только где-то вдали мирно пасётся стадо.
 За облаком красным Бог наблюдает сердце.
 Яркая кровь заката разлита по лунной прохладе.
 Провалены улицы в чёрную бездну пространства.
 Звёздная ночь плавно ныряет в золото веток.
 Ветер шагает тенями по молчаливой роще,
 Приветствуя души героев чёрным своим итогом.
 Звуки трубы влились в осени жёлтую флейту.
 О, гордость печали! Тебя на алтарь бы железный!
 Горячее пламя души насыщено властной болью.

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Лейпциг /



Э.Л. ВОЙНИЧ И ОСОБЫЙ ТИП ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

К 150-летию со дня рождения Этель Лилиан Войнич

Творчество английской писательницы Этель Лилиан Войнич (1864–1960) заслуживает, несомненно, внимания не только читателей, но и литературоведов и историков литературы, поскольку главный её вклад в литературу остался не только не исследованным, но даже и незамеченным. И этот вклад, прежде всего, не в стилистических или сюжетных особенностях её литературного творчества (хотя у автора есть и узнаваемый индивидуальный стиль, и интересные сюжетные повороты), но в героях особого типа, введённых в литературу Э.Л.Войнич. Именно это является её главным открытием, даже откровением: во всех пяти её психологических романах действуют герои особого типа, связанные между собой духовным родством.

Ныне существует странный «заговор молчания» вокруг личности и творчества Э.Л.Войнич. В англоязычном мире она фактически забыта. Среди пишущих на русском языке наблюдается та же тенденция. В мае 2014 года исполнилось 150 лет со дня рождения Э.Л.Войнич, но даже эта юбилейная дата лишь слегка всколыхнула архивную пыль вокруг её имени. Думается, причина такого отношения кроется как в поднятых в её романах «неудобных» и «немодных» в наше время темах, так и в непонимании сути её вклада в историю литературы.

И всё-таки такое молчание сложно объяснить только этими соображениями, учитывая и поразительный успех первого литературного произведения Э.Л.Войнич, и её происхождение, яркие моменты необычной и не до конца исследованной биографии. Ведь всё это даёт богатый материал как для биографических работ, так и для экранизаций о жизненном пути и творчестве этой разносторонне талантливой и незаурядной личности. Между тем единственным настоящим биографом Э.Л.Войнич была Евгения Таратута (1912–2005), советский литературовед, которая заново открыла этого автора для русскоязычного читателя. Когда после ГУЛАГ'а и реабилитации она в 1954 году, при поддержке К.И.Чуков-

ского, стала заниматься творчеством и биографией Войнич, даже он не мог вспомнить о Войнич ничего, кроме ошибочной информации, что её муж был сербом; многие даже не знали, что автор «Овода» — женщина, какой она национальности, не говоря уж о том, что почти никто не сомневался, что автора уже давно нет в живых, ведь это утверждала непререкаемая партийная газета «Правда». Именно Евгении Таратута удалось найти в справочнике «Who is who?» («Кто есть кто?») адрес престарелой и всеми забытой писательницы, которая тогда жила в Нью-Йорке со своей компаньонкой, секретарём и другом Анной Нилл. После этого Войнич получила номер журнала «Огонёк» со статьёй своего биографа о ней и её первом романе (а до этого она ничего не знала о судьбе «Овода» и даже думала, что он ни разу не переиздавался после 1917 года). В 1955 году скромную квартиру, где жила Войнич, посетила делегация официальных советских журналистов и писателей, возглавляемая Б.Н.Полевым¹ (и потом последовали другие подобные визиты советских гостей и нескончаемые письма, пересылаемые из консульства). Есть шокирующие сведения, что при встрече Войнич хотела передать в Россию через Полевого свой архив (рукопись «Овода», письма к ней Степняка-Кравчинского и Бернарда Шоу, документы по революционному движению в России, редкие фотографии начала XX века), но он не принял этот драгоценный дар, и после смерти писательницы архив был утрачен². Евгения Таратута, благодаря которой была обнаружена автор «Овода» и которую Войнич лично пригласила в гости, так и не увидела «своего» автора: она была «невъездной» и могла только послать Войнич многочисленные вопросы, ответы на которые были важны для создания достоверной биографии писательницы, и успела получить бесценную информацию.

Э.Л.Войнич завещала развеять свой прах над Нью-Йорком, где жила последние сорок лет своей жизни. Многие события её биографии, в том числе и период после переезда с мужем в Нью-Йорк в 1920 году³, так и останутся, вероятно, «белыми пятнами». Но и та информация, которая известна достоверно или предположительно, — бесценный материал для исследователей.

Талант и своеобразие творчества Войнич были на рубеже XIX и XX столетий общепризнаны не только в Англии и США, переводы её первых романов на русский и другие европейские языки появились вскоре после их публикации на английском. «Овод» — первый роман Э.Л.Войнич сразу же стал настоящим бестселлером. В начале 1897 года он был опубликован в Нью-Йорке, а осенью того же года — в Лондоне. Успех книги был так велик, что только в Лондоне за первые

¹ Б.Н.Полевой (1908—1981) — советский писатель.

² Информация из материала к 140-летию со дня рождения Э.Л.Войнич, подготовленного Е.А. Нестеровой, сотрудницей Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета..

³ Причиной переезда был букинистический бизнес Михаила Войнич, который он решил вести в США.

4 года вышло 8 изданий, а до 1920 года — 18 изданий. Первым переводом на иностранный язык был перевод на русский, опубликованный уже в 1898 году (хотя и с цензурными купюрами). Затем вскоре последовали переводы на множество других языков. Два следующих романа Войнич — «Джек Реймонд» (1901) и «Оливия Лэтам» (1904) также сразу получили широкую читательскую аудиторию. По поводу «Оливии Лэтам» муж писательницы Михаил Войнич писал С.А.Венгеру ¹11 июля 1904 г.: «Лилия Григорьевна ² только что выпустила новый роман. Успех громадный...»

Для большинства русскоязычных читателей имя Этель Лилиан Войнич ассоциируется, как правило, только с её самым известным литературным произведением, романом «Овод», ставшим очень популярным уже в Российской империи в начале XX столетия. После 1917 года «Овод» был переведен на 20 языков народов Советского Союза и неоднократно выходил большими тиражами. Существует также четыре советские экранизации «Овода» (в 1928-м, 1955-м, 1980-м и в 1987-м годах, последняя — под названием «Риварес»).

Не будет преувеличением сказать, что все или почти все жители нашей находившейся за «железным занавесом» страны читали и даже перечитывали эту книгу (долго ничего не зная об авторе) и восхищались её героем, который был для всех, прежде всего, революционером, боровшимся за свободу своей родины, хотя, по сути, он показан автором и как личность с изломанной и трагической судьбой.

Этель Лилиан Буль родилась в Ирландии и была младшей дочерью известного английского математика, самоучки Джорджа Буля и Мэри Буль, в девичестве Эверест (дочери ректора колледжа). В историю науки и культуры вошли обе эти фамилии: в честь отца Э.Л.Войнич, основоположника математической символической логики, назван раздел математики — «булева алгебра», в честь двоюродного деда писательницы и дяди её матери, географа Джорджа Эвереста, впервые начавшего изучение Гималаев, названа самая высокая вершина мира — Эверест (Джомолунгма). Биография Э.Л.Войнич, особенно значительный «русский след» в её личной, общественной и литературной жизни, достаточно подробно изучена её биографом Евгенией Таратута, поэтому в этом тексте биографическим моментам как таковым будет уделено минимальное внимание. Представляется более важным хотя бы коротко затронуть малоизвестные или вовсе не изученные вопросы и проблемы, связанные с личностью Войнич и её творчеством.

Интересно, что в биографии Э.Л.Войнич существуют не просто «белые пятна», но и «конспирологические», сенсационные версии, связанные с её именем прямо или косвенно. Одна такая версия широко обсуждалась на Би-би-си и в западной печати, когда в 1967 году, уже после

¹ С.А.Венгер (1855–1920) — литературовед, библиограф, историк литературы.

² Так *по-русски* называли Э.Л.Войнич в кругах революционной и либеральной российской интеллигенции.

смерти писательницы, в Великобритании была опубликована книга Робина Брюса Локкарта «Мастер шпионажа»¹, посвященная жизнеописанию легендарного английского разведчика Сиднея Рейли.

Овод — интернациональный образ, и многие искали и находили в нём черты реальных прототипов. Вот что по этому поводу пишет биограф Войнич Евгения Таратута: «Войнич признавалась в письмах, которые она писала мне, что прототипами её героя были итальянские и русские революционеры [...] такие как Джузеппе Мадзини, основатель подпольной революционной организации «Молодая Италия», и многие русские, с которыми она была знакома лично [...] Выдающейся и яркой фигурой, оказывавшей наибольшее влияние на Войнич в то время, был С.М. Степняк-Кравчинский»². В письме к Б.Н.Полевому из Нью-Йорка, от 14 января 1957 г., Войнич так отвечает на вопрос о прототипе Овода: «Вы спрашиваете у меня, существовал ли в жизни реальный прототип Артура. У людей, лишённых творческого воображения, часто возникают вопросы подобного рода. Но я не понимаю, как может спрашивать меня об этом *писатель-романист*. Разумеется, образы в романе не всегда имеют прототипами реально существующих людей; не являются ли они своего рода результатом сложного процесса, происходящего в авторском воображении под влиянием таких факторов, как 1) личный опыт автора, 2) опыт тех людей, с которыми писатель или писательница встречается и 3) большая начитанность (что справедливо и в моём случае)». Но в том же письме Войнич далее поясняет: «Происхождение образа Артура связано с моим давним интересом к Мадзини³ и с портретом неизвестного юноши в чёрном, находящимся в Лувре, который я впервые увидела в 1885 г. То, что в романе заметно отраженное влияние России и Польши, как указывает госпожа Таратута в своём предисловии к новому русскому изданию "Овода", естественно и понятно. Где, кроме Восточной Европы и среды русских и польских эмигрантов в Лондоне и в Западной Европе я могла бы непосредственно познакомиться с условиями, которые в той или иной степени существовали в Италии в ранний период жизни Мадзини?»

Однако если Мадзини и Степняк-Кравчинский могли быть в какой-то мере прототипами образа Овода-революционера, то Сидней Рейли, один из главных, наряду с Робертом Локкартом, прототипов Джеймса Бонда, сам претендовал на роль прототипа как юного Артура, так и Ривареса в период его пребывания в Южной Америке. Возможно ли, чтобы один и тот же реальный человек был прототипом таких разных литературных персонажей, как супершпион Джеймс Бонд (агент 007) Яна Флеминга и герой двух романов Э.Л.Войнич: «Овод» и «Прерванная дружба»?

В книге воспоминаний Евгении Таратута есть приложение под названием «Запоздалая эпитафия», где Т.К.Бреус, при участии автора

¹ Robin Bruce Lockhart. Ace of Spices, 1967.

² С.М.Степняк-Кравчинский (1851–1895) — революционер-народник, писатель, политэмигрант.

³ Джузеппе Мадзини (1805–1872) — итальянский революционер, политик, писатель.

воспоминаний, рассуждает на тему упомянутой в книге Локкарта информации, что Рейли считал себя прототипом героя романа «Овод» и не сердился на автора за опубликование историй из его жизни. Из биографии Рейли выясняется, что действительно существует странное сходство в ключевых событиях жизни реального молодого человека — Сигизмунда Розенблюма (будущего Сиднея Рейли) и литературного персонажа Артура Бертонса — Феликса Ривареса (будущего Овода). Трудно определённо сказать, что правда и что вымысел в изложенной в книге Локкарта истории о совместном путешествии в 1895 году и близких отношениях молодого Розенблюма и Э.Л.Войнич, — не об этом речь, особенно учитывая, что Сидней Рейли был известным мистификатором и оставил различные варианты своей биографии. По разным источникам, он родился в 1873-м или 1874 году, а погиб или в 1925-м при переходе советской границы, или же, что вероятнее, был расстрелян чекистами в тюрьме в 1927 году. Он редко работал за деньги или по заданию, а в основном преследовал свои цели и даже поставил условие, что не будет вредить своей родине — России. При этом он был ярким антикоммунистом и неоднократно после октября 1917 года пытался организовывать заговоры с целью свержения большевистского правительства. По одной из версий он родился в Одессе, воспитывался в богатой дворянской русско-польской семье, был, как и его мать, католиком, получил блестящее образование, метко стрелял, играючи учил иностранные языки. Он в юности подружился с врачом, спасшим когда-то его мать, венским доктором Розенблюмом, и уехал в Вену изучать медицину, посещал там кружок интеллектуалов-марксистов, из-за болезни матери вернулся в Одессу и сразу был арестован, по недоразумению, как курьер, после недолгой отсидки в тюрьме, на похоронах матери, случайно узнал, что он незаконнорожденный и его настоящим отцом был доктор Розенблюм. После этого, в шоке от предательства матери, не простив обмана, он порвал с родными (фамилия его семьи так и осталась неизвестной), написал две записки — одну, с проклятием, Розенблюму, другую сестре — чтобы его искали подо льдом Одесского порта, обменял свою дорогую одежду на потрёпанную, на корабле бежал в Южную Америку, где более трёх лет жил в основном в Бразилии, бедствовал и с трудом выжил, затем в 1895 году, в совершенстве владея португальским и будучи полиглотом, устроился поваром в английскую экспедицию, прибывшую с целью исследования джунглей в верховьях Амазонки. Экспедиция потерпела неудачу из-за агрессивности аборигенов, сбегавших носильщиков и лихорадки, которая свалила всех трёх офицеров — участников экспедиции. Когда проводник и оставшиеся носильщики вздумали убить больных англичан, Розенблюму удалось предугадать их действия, в результате он спас участников экспедиции и вывел их из джунглей. По дороге, будучи чрезвычайно обаятельным человеком и поведав часть своей драматической и авантюрной биографии, он полностью завоевал доверие и симпатию англичан. В благодарность за их спасение руководитель экспедиции по-

дарил Розенблюму чек на полторы тысячи фунтов стерлингов, пригласил отправиться вместе с ним в Англию и помог получить британский паспорт, а позднее завербовал в разведку.

Поразительные совпадения биографии молодого Рейли с описанными эпизодами в жизни молодого Овода сам Рейли объяснял тем, что лично рассказал Э.Л.Войнич, как близкому человеку, эту информацию, которую она потом использовала в своём литературном творчестве. Вне зависимости от того, насколько правдива история о недолгих близких отношениях будущего разведчика и молодой писательницы (Эндрю Кук, биограф Рейли и историк спецслужб, оспорил эту легенду), очевидно, что Войнич знала подробности о приключениях Розенблюма в Южной Америке (а возможно, и историю его бегства из дому) и была с ним лично знакома. Хотя и маловероятно, что Войнич смогла использовать сведения о судьбе Розенблюма уже в первом своём романе, однако, в принципе, это возможно. Она закончила писать роман во второй половине 1895 года и могла уже тогда познакомиться с молодым Розенблюмом, который как раз в 1895 году приехал в Англию, узнать что-то из его биографии и ещё до публикации «Овода» внести изменения в рукопись. Ведь уже в «Оводе» упоминается южноамериканская экспедиция Дюпре, где Риварес был переводчиком, упоминается и член этой экспедиции Мартель (один из главных героев «Прерванной дружбы»). Но вероятнее всего, конечно, что совпадения в «Оводе» с биографией Рейли — это странное, почти мистическое совпадение вымысла и реальности. Однако описание жизни Овода в Южной Америке в романе «Прерванная дружба» уже трудно, почти невозможно объяснить просто совпадениями. Так что, скорее всего, уже после публикации «Овода» Войнич узнала о жизни Розенблюма в Южной Америке и во многом построила на этих фактах сюжет романа «Прерванная дружба», опубликованного в Лондоне в 1910 году.

Э.Л.Войнич была также переводчиком на английский произведений русской литературы (знала русский язык почти в совершенстве, учителями её были Степняк-Кравчинский и его жена), переводила также с украинского, польского и французского языков. Переводы её высоко оценивались специалистами. Ещё до выхода своего первого романа она в 1895 году издала книгу переводов русских писателей «*The Humour of Russia*» («Юмор России»). Она переводила целый ряд произведений Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Успенского, Гаршина. В 1911 году были изданы в её переводе с украинского «*Six Lyrics from Ruthenian of Taras Shevchenko*» («Шесть лирических поэм Тараса Шевченко»). В 1931 году вышел в свет её перевод с польского и французского писем композитора Фредерика Шопена.

Вторую половину своей жизни Войнич посвятила в основном музыке. У неё уже в пятилетнем возрасте проявилась музыкальная одарённость, в юности она три года училась в Берлинской консерватории, которую окончила по классу фортепиано, но из-за болезни руки не смогла стать профессиональной пианисткой. Уже в зрелом возрасте она начала композиторскую деятельность и несколько десятилетий писала серьёз-

ную музыку. В числе её музыкальных сочинений оратория «Вавилон» (для смешанного хора, соло, квартета и полного состава оркестра), кантата «Подводный город» (для баритона, смешанного хора и оркестра), на слова Хомякова, а также кантата «Эпитафия в форме баллады» (для мужского хора и оркестра). Эти сочинения Войнич считала главными, передала их через консульство композитору Д.Б. Кабалеvскому для ознакомления и обменялась с ним по этому поводу письмами (которые пока не опубликованы). Вот что сообщает Войнич в письме к Б.Н.Полевому из Нью-Йорка от 5 июня 1956 г.: «Насчет "Вавилона" я хотела бы добавить, что если я создала что-нибудь оправдывающее моё существование, то это — "Вавилон". Конечно, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я оцениваю его по достоинству». Такая вот самооценка. И далее: «Так как "Вавилон" посвящён падению царизма (Вавилон — царизм), я посылаю также заметки о происхождении оратории. ... У меня есть ещё три больших сочинения для хора и оркестра... и ещё много более мелких вещей. Конечно, я прекрасно понимаю, что большинство моих вещей исполнять не легко, для этого требуется искусный хор и оркестр». Э.Л.Войнич настолько высоко ценила своё музыкальное творчество, что в этом же письме даже высказала мнение, что всё её «литературное творчество было лишь подготовкой к музыкальному». Тем более печально, что, судя по всему, ни одно её музыкальное сочинение, в том числе то, которое, как она считала, могло служить оправданием её жизни, так до сего дня ни разу не исполнялось. Более того, появилась информация, что ноты её главного музыкального сочинения «Вавилон» (а возможно, и других произведений) где-то затерялись. И в этом трагедия Э.Л.Войнич как композитора, чьи произведения, вопреки её надеждам, так и не стали доступны слушателям.

В 80-летнем возрасте, после 35-летнего перерыва, Войнич написала и издала свой последний роман «Сними обувь твою». В авторском предисловии к этому роману Э.Л.Войнич пишет: «Хотя "Сними обувь твою" и представляет собой вполне законченный роман, на самом деле он должен был бы открывать семейную хронику, охватывающую историю четырех поколений. Но серия этих романов — спутник всей моей жизни рождалась не в хронологическом порядке. „Овод“, действие которого происходит в Италии во время политических и идеологических конфликтов, приведших к революции 1848 года, был написан ¹ в 1897 году, когда я еще почти ничего не знала о предках его главного героя, наполовину итальянца. „Прерванная дружба“ (1910 год) рассказывает об одном эпизоде из жизни того же героя. В 1911 году я оставила литературу и стала писать музыку. [...] И вот после двух попыток показать духовную и эмоциональную жизнь вымышленного человека, после двадцати лет, отданных музыке, я в конце концов снова взялась за перо, чтобы проследить некоторые черты этого никогда не существовавшего характера в его предках. Этот обратный ход мысли удивляет меня

¹ На самом деле написан в 1895-м, а опубликован в 1897 г.

больше, чем кого-либо. Если бы меня спросили, почему я решила на склоне лет заняться давно умершими английскими предками итальянского бунтаря, которые были для него в лучшем случае лишь ничего не значащими именами, моим единственным ответом было бы, что я не могла иначе и знаю об этом не больше, чем о других сторонах процесса появления на свет детей человеческого воображения. Многие читатели во многих странах интересовались, почему Овод при тех или иных обстоятельствах думал, чувствовал и поступал именно так, а не иначе. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что некоторые противоречия, которые удивляли или — совершенно справедливо — раздражали их, были просто моими ошибками — промахами и неточностями незрелого мышления, ошибочного видения или недостаточного умения молодого автора, едва справлявшегося со слишком трудной первой книгой. Однако многие из них и сейчас кажутся мне неотъемлемыми от всего духовного склада этого человека — такого, каким он мне представлялся».

Революционный пафос и антиклерикальная направленность, собственные роману «Овод», «немодны» и «неудобны» в наши дни, но именно этим, как и ярким, многоплановым образом главного героя, и определялся повышенный интерес к этой книге либеральных и революционно настроенных слоёв общества в странах Западной Европы и в России на рубеже позапрошлого и прошлого столетий. В Англии, где гораздо лучше, чем в Российской империи, было уже тогда с правами человека, наблюдался в то время большой интерес к вопросам социальной справедливости, и поэтому такая на редкость чуткая и совестливая натура, какой была юная Э.Л.Буль, стремилась глубже разобраться, что же происходит в далёкой самодержавной России, и помочь чем возможно. Именно этим (после знакомства с русскими и польскими политэмигрантами, их рассказов о положении дел в России и изучения русского языка и культуры) и была вызвана её продлившаяся более двух лет поездка в Россию (в 1887–1889 гг.). Сначала она в Петербурге подружилась с находившимися под надзором «неблагонадёжными» людьми, потом носила передачи в тюрьму, работала гувернанткой в знатной семье, преподавая детям музыку и английский язык, не только для заработка, но и чтобы лучше постигнуть жизнь и психологию русского общества, уже перед отъездом на родину принимала участие в стихийной демонстрации во время похорон М.Е.Салтыкова-Щедрина в мае 1889 года в Петербурге. После возвращения из России она вынуждена была лечиться от нервного истощения, но в 1895 году вновь предприняла опасную поездку во Львов, где помогала с отправкой нелегальной литературы. В архивных материалах питерской охранки сохранилась запись о том, что английская подданная Э.Л.Буль была замечена в сношениях с неблагонамеренными и подозрительными личностями.

В Лондоне, у Степняка-Кравчинского, она в октябре 1890 года познакомилась с бежавшим из Сибири польским революционером Михаилом Войничем (1865–1930), который рассказал, что видел её в Варшаве через окошко камеры в цитадели, где он сидел полтора года перед от-

правкой в Сибирь. По воспоминаниям Э.Л.Войнич, только что с трудом нашедший дом Степняка и переодевшийся в чистую одежду молодой человек спросил её по-русски, не была ли она в Варшаве на пасху 1887 года, и после её утвердительного ответа, что она была там по дороге в Петербург, он снова спросил: «Вы стояли в сквере и глядели на цитадель?», и она снова ответила: «Да». Конечно же, это было воспринято будущим автором «Овода» не как случайное совпадение, но как знак судьбы, новый политэмигрант сразу предстал ей в романтическом ореоле борца и мученика. В 1892 году Этель Лириан Буль и Михаил Вильфрид Войнич поженились. Правда, довольно скоро Войнич разочаровалась в своём муже, который в эмиграции стал законопослушным гражданином и уже виделся ей не героем, но лишь обывателем, занявшимся торговлей антикварными книгами. Правда, он известен не только как муж писательницы, но и как открыватель так называемой «рукописи Войнич» — таинственного манускрипта, написанного на неизвестном языке, который до сих пор не удалось расшифровать. Сама писательница много времени проводила, пытаясь разгадать этот язык или шифр, но не преуспела в этом, как и другие исследователи. Ныне рукопись хранится в Йельском университете.

Не только как творец присутствует автор во всех пяти романах, но отдаёт персонажам некоторые черты своего характера (в чём-то она и Джемма в «Оводе», и Беатриса в романе «Сними обувь твою», и Маргарита в «Прерванной дружбе») или даже часть своей биографии, как в двух автобиографических романах: «Джек Реймонд» и особенно «Оливия Лэтам». Да, автор — это и Джек (не зажившая до конца жизни психологическая травма, нанесённая в детстве), и Оливия («русская тема», любовь и нервное истощение после возвращения из России). Следует также отметить, что Джемме из «Овода» автор отдаёт не только черты своего характера, но, как и Оливии, часть биографии (самоотверженная помощь борцам за свободу и конспиративная работа, которой Войнич несколько лет занималась в период своей молодости). Интересная деталь: обе они — и героиня «Овода» Джемма, и сама Э.Л.Войнич — англичанки, но принимали участие в борьбе за свободу Италии и России, стран, которые стали для них близкими по судьбе, при этом Джемма вышла замуж за соратника-итальянца, а Этель Лириан Буль — за русский подданного, польского революционера Войнича.

В сюжетных линиях всех пяти романов есть повторяющиеся детали, которые слегка варьируются и во многом также являются автобиографическими. Так, Беатриса и Уолтер в последнем романе не только родственные души, но и брат и сестра, как Джек и Молли в «Джеке Реймонде» и Рене с Маргаритой в «Прерванной дружбе». Такие «парные» герои — или брат с сестрой, или отец с дочерью — Оливия и её отец в «Оливии Лэтам», или отец с детьми — Рене, Маргарита и их отец, учёный-египтолог в «Прерванной дружбе», Беатриса, Уолтер и их уже покойный отец в «Сними обувь твою». Сама Войнич не знала своего отца, который умер, когда ей было всего полгода от роду, и, возможно, поэтому именно отцы её особых героев так близки им, они неоднократно

ностальгически вспоминают своих отцов. Исключением является горячо и нежно любимая мать Артура (Овода), умершая ещё до начала повествования, и отчасти его духовник (и отец) Монтанелли, а также фигура Елены Мирской в «Джеке Реймонде». Между ней и её приемным сыном Джеком фактически устанавливаются такие же доверительные отношения, как между Беатрисой и её приемным сыном Артуром в последнем романе Войнич. Интересно, что Джек — англичанин, а Елена и её гениальный родной сын Тео — поляки, а Артур, сын корнуэльского рыбака — простого происхождения, не принадлежит к дворянскому сословию, к которому относится семья Беатрисы. Автор показывает, что принадлежность героев к особому типу — редкий дар. В одной и той же семье присутствуют персонажи иногда диаметрально противоположные: недалёкие, грубые, даже отвратительные люди могут быть близкими родственниками героев особого типа. Есть и немногочисленные «промежуточные» персонажи — не такие чувствительные и тонкие натуры, как «особые» герои, но способные на сочувствие и даже прозрение. Это, например, доктор Маршан в «Прерванной дружбе» и Повис, слуга Уолтера Риверса, в романе «Сними обувь твою».

Ещё один повторяющийся мотив в нескольких романах — смерть ребёнка. Как известно, у самой Войнич не было детей, но её, очевидно, волновала травмирующая ситуация, связанная с потерей ребенка, умершего от болезни или несчастного случая. Так, в «Оводе» говорится, что Джемма потеряла маленького сына. В «Джеке Реймонде» тоже умирает маленький мальчик, связанный близкими родственными узами со всеми героями особого типа в этом романе. И в «Оливии Лэтам» умирает маленький мальчик, старший брат героини. В последнем романе «Сними обувь твою» бешеный бык убивает на глазах Беатрисы её маленького сына, тоже героя особого типа.

В наиболее автобиографическом романе «Оливия Лэтам» Оливия влюблена сначала в русского революционера Владимира, больного чахоткой, а после его гибели в тюрьме и своего выздоровления после страшного нервного истощения постепенно понимает, что любит и его товарища, польского революционера Карола, который тоже тяжело болен. Внешность Карола очень напоминает внешность Степняка-Кравчинского, Войнич только меняет местами национальности Карола и Владимира (прототипом которого в какой-то мере был её муж Михаил Войнич, тоже больной чахоткой польский революционер, но который не умер в тюрьме, а бежал из Сибири и вылечился от чахотки). Влюблённая безответно в трагически погибшего Степняка-Кравчинского, писательница в литературном произведении осуществляет то, что невозможно было в жизни: роман «Оливия Лэтам» кончается тем, что Карол и Оливия признаются друг другу в своих чувствах и собираются дальше идти по жизни вместе. Карол, кстати, наделяется особой прозорливостью: он как будто читает мысли и чувства других людей, и их души для него — открытая книга (в той или иной степени этой способностью обладают и другие герои особого типа).

Введя в литературу героев особого типа, Войнич показала реальность таких личностей, обозначила эту особую породу в человечестве, не зависящую ни от кровного родства, ни от сословия, ни даже от уровня образования (как это показано на примере Артура, сына корнуэльского рыбака из последнего романа Войнич). Помимо сюжетных линий, существует сквозная линия всех пяти романов Э.Л.Войнич — это герои особого типа, которые могли бы, кажется, путешествовать во времени и пространстве, по крайней мере, внутри всех пяти романов Войнич, потому что они узнают друг друга с полуслова, с полувзгляда, принадлежат к одной духовной семье.

Кто же они, эти литературные герои особого типа?

В первом романе «Овод» — это Овод и Джемма. Овод (он же Артур, он же Риварес) — борец за свободу Италии, революционер. Джемма — подруга детства и юности Артура и в дальнейшем — соратница Ривареса-Овода.

Во втором романе «Джек Реймонд» это Джек и Елена Мирская, сестра Джека Молли и отчасти — сын Елены Теодор (Тео). Джек — в начале романа подросток-сорвиголова, затем самоотверженный врач, не имеющий личной жизни и целиком преданный работе и своим близким — сестре и её сыну, приемной матери Елене и своему младшему другу Тео. Елена — вдова польского революционера. Молли — влюблённая женщина и мать внебрачного ребёнка. Тео — гениальный музыкант с инфантильным мировосприятием. В этом романе автор как бы разделяет на две личности показанный в «Оводе» и в «Прерванной дружбе» образ Артура — Ривареса, который страдал и был травмирован физически и душевно (как Джек Реймонд) и в то же время имел особую харизму, обладал чарующим, магнетическим влиянием на окружающих (как Тео Мирский).

В третьем романе «Оливия Лэтам» это сама Оливия — человек долга, медсестра и сиделка, полюбившая сначала русского, а потом польского революционера, отчасти её отец, а также оба её избранника — Владимир Дамаров и Карол Славинский. Здесь интересен характер Оливии, показанный в развитии: после испытаний она начинает лучше понимать и чувствовать «тонкие материи» и становится настоящей героиней особого типа.

В четвёртом романе «Прерванная дружба» это снова Овод (Феликс Риварес), Рене де Мартель (Мартель) и его сестра Маргарита. Риварес в этом романе показан прежде всего как страдающий, искалеченный и физически, и душевно персонаж, и в силу травмированности своей психики несправедливый и не всегда адекватный к любящим его людям. Рене — учёный, член экспедиции в Южную Америку, любящий брат и преданный друг. Маргарита — девушка-инвалид, чувства которой умерли раньше её физической смерти из-за несчастной любви. Здесь даже отчётливее, чем в «Оводе», показано особое воздействие Ривареса на окружающих, его опасное обаяние.

В последнем, пятом романе «Сними обувь твою» это главная героиня — Беатриса Телфорд, её брат Уолтер Риверс и два мальчика — третий сын Беатрисы Бобби и Артур Пенвин, ставший её приёмным сыном (бедный корнуэльский мальчик, сын рыбака, спасшего старших сыновей Беатрисы).

Всем без исключения героям особого типа (хотя некоторые из них в чем-то несправедливы и даже эгоцентричны из-за своей травмированности), присущи между тем, помимо тонкости восприятия, повышенной психологической ранимости и сверхчувствительности, дара эмпатии, такие общие черты, как аскетизм, превалирование не материальных, а идейных, духовных интересов, способность на жертвы не только ради своих близких, друзей и соратников, но и ради свободы, освобождения от всякого угнетения. Восстановление поправленного достоинства и отдельной личности, и целой страны, своей и даже чужой, — вот главная цель всех героев особого типа.

Эти черты характера, которыми Э.Л.Войнич наделила своих любимых «особых» героев, были присущи, конечно, и самому автору. Всю жизнь, с юных лет, Войнич, в подражание Джузеппе Мадзини, носила простое чёрное платье в знак скорби по печальному состоянию мира. Её бескорыстие было столь безусловно, что она отдавала все собранные ею для политэмигрантов средства, при этом с трудом зарабатывая на жизнь уроками, иногда даже голодая; отказалась она и от гонораров за поставленный в Нью-Йорке спектакль по «Оводу» лишь потому, что он показался ей примитивным, сделанном не на должном уровне, хотя публика была в восторге. Любопытно, что помогал ей сделать из романа пьесу и консультировал по вопросу гонораров сам Бернард Шоу. И ещё можно отметить, что бескомпромиссность Войнич во всём, что касалось её произведений, сохранялась у неё на протяжении всей жизни, и она открыто заявила, что советский фильм «Овод» (который ей показали в её нью-йоркской квартире) ей не понравился (как когда-то американский спектакль по «Оводу»).

В каждом романе Войнич есть эти герои особого типа — тонкие натуры, с ранимой, сверхчувствительной психикой, чувствующие и понимающие других без лишних слов, им достаточно намёка, интонации, даже просто взгляда. Но это не идеальные «положительные» персонажи, а живые люди, со своими особенностями и недостатками. Такие персонажи, обычно так точно понимающие чувства и побуждения окружающих, иногда, из-за травмированности своей психики, как будто имеют некую «слепую зону», связанную с их травмой, и тогда могут неточно оценивать ситуацию, принимать свою версию за истину, быть несправедливыми. В последнем, пятом романе «Сними обувь твою» Беатриса неверно понимает случайно услышанный разговор матери и отчима и несправедливо в душе обвиняет мать в том, что она знала о попытке насилия над дочерью. Овод — Риварес в «Прерванной дружбе» неверно воспринимает слова Маргариты и считает, что Рене его предал, потому что уже не верит до конца даже близким людям и внутренне готов поверить в предательство,

которое в его юные годы сломало ему жизнь, но которого на этот раз не было, и рвёт с ними отношения, обрекая их обоих на непонимание этой страшной ситуации и душевные страдания до конца их жизни.

Травмированные в чем-то персонажи — фактически все взрослые герои особого типа: Артур — Риварес — Овод (предательство, страдания в Южной Америке), Беатриса (попытка насилия со стороны отчима, в результате чего возникшее стойкое отвращение к половым отношениям, в которых она видит поведение свифтовских йеху), её брат Уолтер (сломавший свою судьбу из-за жалости и сочувствия к гувернантке), Маргарита (физическая инвалидность, но главное — отвергнутая Феликсом в оскорбительной форме любовь, в результате чего в ней умерли все её эмоции и чувства, даже к любимому брату), Рене (незаживающая душевная травма от непонимания, почему Феликс разрушил их дружбу, да еще в такой грубой форме), Джек Реймонд (жертва несправедливого обвинения и своего дяди-садиста), его сестра Молли (выгнанная дядей из дому, но сохранившая тайну своей любви и не назвавшая даже брату имя любимого, отца своего ребёнка), Елена (несущая груз лишений и душевных страданий из-за гибели мужа-революционера и груз выбора судьбы для сына), Оливия (чуть не погибшая от потрясения и нервного истощения после страшных испытаний, выпавших на ее долю в России, где в застенках погиб её жених), Владимир (больной чахоткой, отказавшийся ради борьбы от своего художественного призвания), Карол (несущий в душе груз тайной влюблённости и знание о своей неизлечимой болезни).

Среди героев особого типа есть трое юных персонажей, но только один из них — подросток Джек переживает такие страшные и физические, и, главное, душевные травмы, что хочет утопиться в пруду (несправедливое обвинение и гордое нежелание оправдываться и что-либо объяснять, изошрённые издевательства и пытки, которым подверг его родной дядя). Это тоже из биографии автора: когда десятилетнюю Лили Буль дядя обвинил в краже сахара и запер на несколько дней в чулане, а потом хотел ввести ей некое химическое вещество (в качестве «детектора лжи»), девочка, которой не в чем было признаваться, твёрдо заявила, что утопится в пруду. Сначала хочет утопиться и юный Артур Бёртон, внезапно, в один день, переживший целый ряд шокирующих и травмирующих психику моментов. И Джек Реймонд собрался было топить в пруду, и Беатриса думала о самоубийстве. Характер Оливии, правда, не во всём похож на характер автора, но часть биографии героини, связанная с интересом к русским и польским политэмигрантам, поездка в Россию, даже нюансы её любви к двум революционерам — по сути автобиографичны.

Войнич пережила несколько сильнейших стрессов, приведших к длительным периодам нервного истощения: в детстве, после несправедливого обвинения в краже и заключения в чулане (эта доведённая до предела ситуация показана в «Джеке Реймонде»), затем после поездки в Россию, где наблюдала и сама испытывала поругание человеческого достоинства и во время работы гувернанткой в аристократическом се-

мействе Веневитиновых, и когда носила в Петербурге передачи политзаключенному Василию Караулову и её бессмысленно гоняли по этажам и кабинетам (она воспроизвела это подробно и очень эмоционально в «Оливии Лэтам»). Третье нервное истощение случилось у неё после трагической гибели её старшего друга, соратника и наставника, к которому она была неравнодушна, Сергея Степняка-Кравчинского, политэмигранта, переводчика и писателя, принимавшего участие в освободительных восстаниях в Герцеговине, а также в Италии, «ходившего в народ», затем вставшего на путь террора (от которого как от метода борьбы впоследствии отказался), автора книги «Подпольная Россия», которую читала Войнич перед поездкой в Россию и о которой дали положительные отзывы многие известные писатели: И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой, а также Э.Золя, М.Твен и другие. Яркая, незаурядная личность Степняка привлекала будущую писательницу, она беззаветно помогала ему в работе, и его страшная, нелепая и совсем «негероическая» гибель (его сбил поезд) в декабре 1895 года, когда ему было всего 44 года, стала её личной трагедией. Степняк-Кравчинский был уверен, что Войнич сможет писать хорошую прозу, и интересовался, как продвигается работа над её первым романом, но он так и не смог его прочесть, потому что погиб накануне её возвращения из Италии с готовой рукописью романа.

Через всё литературное (и композиторское, о чём рассказано выше) творчество Войнич проходит «русская» тема. В «Оводе» синьора Грассини, хозяйка светского салона, восклицает: «А вот и обворожительный русский князь! Вы с ним не встречались? Говорят, это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь». «Она порхнула, щебеча, к господину с бычьей шеей, тяжёлой челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре её жалобные причитания о "нашем несчастном отечестве" ...замерли вдали». В «Джеке Реймонде» два героя особого типа — российские подданные, эмигранты-поляки Елена Мирская и её сын Тео. В «Оливии Лэтам» «русской» теме посвящена значительная часть романа. В своём последнем, вроде бы типично английском романе «Сними обувь твою» автор вновь касается «русской» темы, когда Уолтер Риверс рассказывает, как унижали человеческое достоинство своей гувернантки-англичанки русские дворяне: «В соседнем доме жил русский князь, что-то вроде дипломатического тайного агента. Там было полно шпионов и авантюристов. Всё из-за Крыма. Он привез с собою жену и детей в качестве ширмы, а Фанни была у них гувернанткой. С нею обращались просто чудовищно. Детям позволяли с ней так разговаривать... Я думаю, нужно своими глазами увидеть русских дворян, чтобы понять, что это такое. Может быть, дело в том, что они привыкли к крепостным». Это, несомненно, тоже автобиографический момент, ведь сама Лили Буль в России была недолгое время гувернанткой в знатной дворянской семье и сохранила тяжёлые впечатления об этом периоде.

Кроме вышеперечисленных мотивов в творчестве Войнич важным «нравом» повествования является антиклерикализм. Это тоже часть её

биографии, которую автор делегирует своим главным особым героям — прежде всего Оводу, но и его прабабушке Беатрисе. Внутренний трагизм автора и её героев отчасти или даже прежде всего связан с потерей веры в Бога из-за того, что Бог «не услышал» молитвы и потому немедленно не исполнил прошение, допускал несправедливости и жестокости и не сразу карал виновных. Если многие герои Войнич потеряли веру по этим причинам в юношеском возрасте, то сама автор отказалась от веры ещё в десятилетнем возрасте, когда Бог «не услышал» её молитвы и не освободил немедленно из чулана и из-под власти жестокого и при этом фанатично верующего дяди. Она поклялась тогда же, что если её горячая детская молитва не будет услышана, она никогда больше не будет молиться, — и сдержала слово. Такой был у неё характер. Богоборчество ярче всего выражено в первом романе «Овод» у главного героя, который разочаровался в вере из-за предательства и обмана конкретных священнослужителей. Он, в начале романа такой романтически настроенный и в то же время религиозный юноша, разбивает молотком Распятие и меняет в своём сознании все плюсы на минусы. Вмиг истина превращается в ложь, и гармоничная душа, настроенная на самопожертвование, как и Христос, в которого он горячо верил, становится травмированной, а психика навсегда искалеченной. Конечно, именно юности больше всего свойственен максимализм и жажда самопожертвования ради идеи, потом у многих это настроение меняется, и они приходят вновь к вере уже на новом, более зрелом этапе. Такова, например, эволюция А.С.Пушкина, от богоборчества и революционных порывов — к «взрослой» вере. Не все, однако, проходят этот возвратный путь, как видно на примере Э.Л.Войнич и её особых героев.

Интересно, что при таком неоднократно декларируемом антиклерикализме герои Войнич остаются людьми христианской культуры, они прекрасно знают Священное Писание, часто цитирует Библию, некоторые эпиграфы к романам — тоже оттуда. Вот эпиграф к «Оводу», который можно по-разному интерпретировать: «Оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин?» (*Евангелие* от Марка, 1 : 24), это слова одержимого нечистым духом, обращенные к Христу. Эпиграф к «Джеку Реймонду» о винограднике тоже из Библии, из книги пророка Исайи. В этом же романе приведена цитата из Второзакония (27 : 19): «"Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!" И весь народ скажет: "аминь"!» В романе «Сними обувь твою» эпиграф из поэмы Джона Мильтона "Потерянный рай" (сюжет о пребывании Адама и Евы в раю): «...Итуриэль своим копьём / Легко коснулся, ибо никакая ложь / Не сохранит свой облик перед ним, / Но против воли станет правдой вновь». Таким Итуриэлем видит Беатриса мальчика Артура, сына рыбака, самого чистого душой героя особого типа, мистически одарённого и глубоко верующего. О нём, дедушке Овода с материнской стороны, Войнич хотела написать отдельный роман. Он сочинял мистические стихи и перешёл в католичество, чем определил вероисповедание своей дочери (матери Овода) и будущего внука, тоже Артура.

Эта тема затрагивается и в написанном по-русски письме Э.Л.Войнич Н.М.Минскому¹ из Лондона, от 25.7.1897 г., о самом первом, американском издании «Овода»: «... из Америки, где книга вышла в прошлом месяце и где она, по-видимому, уже имеет успех, я получила рецензии. Несколько из них хотя очень хвалят с литературной точки зрения, но поднимают крик о “возмутительном” и “ужасающем” характере романа. Одна большая газета предостерегает читателей, что страницы его “наполнены кощунством и богохульством”. Вам... он делает *диаметрально противоположное* впечатление — религиозной тенденции. Знаете, это очень интересно. Мне очень хотелось бы услышать мнение Зинаиды Афанасьевны². Попросите её быть так любезною прочесть роман и высказать своё мнение об этом пункте».

Следует подчеркнуть важную мысль: не может быть серьёзной *внеисторической* критики, не учитывающей реалии и настроения, психологический фон того момента, когда было написано то или иное произведение, а также особенности биографии автора, творца своих литературных героев. Сейчас идёт повсеместный возврат к вере, но не всегда это настоящая вера, в основном — обрядоверие, и всяческие суеверия и предрассудки расцветают с новой силой. И разве эта массовая религиозность спасает от ненависти, от крови, которая повсеместно льётся в том числе и по религиозным мотивам?

Чтобы глубже осознать необходимость исторического подхода к литературной критике, представляется уместным привести здесь два коротких отрывка из классической русской литературы — на тему революционных порывов, которые были так востребованы, и не только в России, в то время, когда Войнич писала свои романы (тем более что ей, изучавшей и переводившей русскую литературу, эти тексты были, конечно же, известны). Кажется даже, по созвучию мыслей и чувств, что это говорят «особые» герои Войнич.

Так, юный А.С.Пушкин (вероятно, в 1818 г.) пишет в послании к Чаадаеву: «Пока свободою горим, / Пока сердца для чести живы, / Мой друг, отчизне посвятим / Души прекрасные порывы! [...] Россия вспрянет ото сна, / И на обломках самовластья / Напишут наши имена!».

В 1978 году уже немолодой, 60-летний И.С.Тургенев в стихотворении в прозе «Порог» пишет о русской девушке-революционерке: «— О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает? — Знаю, — отвечает девушка. — Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть? — Знаю. — Отчуждение полное, одиночество? — Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары. — Не только от врагов — но и от родных, от друзей? — Да... и от них. — Хорошо. Ты готова на жерт-

¹ Н.М.Минский (настоящая фамилия Виленкин, 1855–1937), русский поэт.

² З.А.Венгерова (1867–1941), прозаик, литературный критик, переводчица, сделавшая первый перевод «Овода» на русский язык в 1898 г., жена поэта Н.М.Минского, сестра С.А.Венгерова.

ву? — Да. [...] — Войди! — Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею. — Дура! — проскрежетал кто-то сзади. — Святая! — принеслось откуда-то в ответ».

И ещё несколько цитат из полутора десятков опубликованных по-русски писем Э.Л.Войнич (как рубежа XIX–XX столетий, так и последних лет её жизни), в которых читателю приоткрывается её личность.

Из письма Ирэне Гейл (её приятельнице по берлинской консерватории) из Лондона, от 23 февраля 1887 г., накануне поездки в Россию: «... я хочу написать вам из Санкт-Петербурга. [...] моя новая жизнь начнётся по-настоящему через несколько недель. К пасхе, вероятно, я уже вырвусь из лондонских туманов, физических и нравственных... [...] наш прямой долг — идти своим путём и строить свою собственную жизнь (или исправлять её). [...] Не могу передать вам, с какой добротой отнеслись ко мне русские. После трёх лет общения с берлинцами это было подобно солнечному лучу после тумана».

В письме Л.Б.Гольденбергу¹ из Лондона от 20.9.1892 г. Э.Л.Войнич (уже сменившая фамилию после замужества) пишет по-русски сначала с доброй, а затем и с горькой иронией: «... русские товарищи вообще милостиво ко мне относятся и не обижаются, что “аглицкая ведьма” (как меня мужики величали в России) вздумала похитить несчастного нигилиста. Впрочем, этот нигилист, кажется, не очень дурно себя чувствует под моим началом... Как Вы думаете — не должен ли Батюшка Царь меня искренне благодарить... Небось, со злой англичанкой женою, мясо для виселицы не пропадёт даром от чахотки!»

Из письма М.И.Павлыку² из Лондона от 3.9.1995 г., также написанного по-русски: «Как бы я хотела, чтобы Вы могли несколько времени с нами провести теперь! [...] жизнь иногда бывает так тяжела между врагами да завистниками, что, кажется, год жизни мы бы отдали, чтобы хоть изредка увидеть лицо искреннего друга. Ах, не сладко иногда живётся на белом свете. [...] В денежном отношении нам очень и очень плохо, и мы теперь не только из личного заработка ничего на дело уделить не можем, но сами оглядываемся, как бы с голоду не помирать. [...] Конечно, всё это — временное затруднение... не первый раз голодаем, и всё-таки до сих пор не погибли; не страшно. Меня гораздо больше беспокоит плохое здоровье моего мужа; он до того малокровен и страдает таким нервным расстройством, что я за него очень тревожна». Здесь же Войнич пишет, имея в виду завершающий период работы над своим первым романом «Овод»: «В Италии я положительно ничего видеть не успела; целый божий день сидела в разных архивах и библиотеках или же в своей комнате за писанием. Однообразность жизни прерывалась только землетрясениями, которые доводили население до такого состояния панического ужаса, что прямо странно было смотреть на людей. Устала я порядочно... а книга, кажется, недурно выходит».

¹ Л.Б.Гольденберг (ок.1846–1916) — ученик Д.И.Менделеева, политэмигрант.

² М.И.Павлык (1853–1915) — украинский писатель и общественный деятель, политэмигрант.

В письме Н.М.Минскому из Лондона от 27.6.1897 г. Войнич пишет по-русски: «Американское издание моего романа уже вышло в Нью-Йорке. [...] Очень сожалею о том, что не могу вычеркнуть во всех экземплярах этот ужасный переплёт, но таков вкус американской широкой публики, а издатели думают о её вкусе, а не вкусе каких-нибудь авторов!... Английское издание, понятно, будет более по-человечески». В письме этому же адресату, из Лондона от 25.7.1897 г., по-русски: «Я заметила, что в библиографическом отделе одного номера «Русской мысли» критик, разбирая какое-то приложение к «Миру божьему», употребляет выражение: "юные читатели". Разве это издание для подростков? Я думаю, едва ли бы им поздоровилось от такой пищи, как "Овод"!». Так что, как видно, Войнич не могла тогда даже предположить, что несколько поколений подростков будут плакать, читая её «Овода».

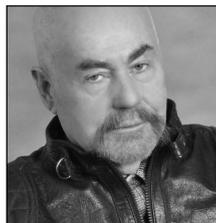
А вот голос Войнич почти через 60 лет после вышеприведённых отрывков из ранних писем. Из письма Борису Полевому из Нью-Йорка от 29 марта 1956 г.: «...уверяю вас, я очень рада, что после столь долгой разлуки, в глубокой старости, вновь слышу русские голоса. [...] Я не понимаю, чем объясняется такое отношение ко мне, и всегда мысленно повторяю: Domine, non sum digna¹. [...] Я должна извиниться, что не сразу ответила на ваше первое письмо. Дело в том, что я хотела написать вам длинное письмо по-русски, но для этого у меня до сих пор не нашлось времени...» В письме Евгении Таратута из Нью-Йорка от 11 мая 1956 г. Войнич пишет: «Сегодня мне исполнилось 92 года. [...] Позвольте верить вас, что я глубоко тронута вашим отношением ко мне; так же как и отношением столь многих других русских. Я так мало сделала, чтобы заслужить это. Мой дорогой друг Анна Нилл и я хотим, чтоб вы приехали сюда и мы могли бы познакомиться с вами лично.». В письме Б.Н.Полевому из Нью-Йорка от 5 июня 1956 г.: «...меня подавляет чувство ответственности, в особенности перед молодёжью вашей страны. [...] Что бы вы чувствовали, если бы тысячи юных и неискушённых людей поставили вас на столь высокий пьедестал, которого вы считаете себя совершенно недостойным? Я могу им только сказать: "Не совершайте в вашей жизни ошибок, которые совершила я"».

Хочется надеяться, что литературное творчество Э.Л.Войнич наконец-то снова обратит на себя внимание и будет подробно изучено. У этого текста другая, более скромная цель — напомнить о незаурядной личности автора и обозначить то новое, что Войнич внесла в литературу, в свои психологические романы, в каждом из которых действуют герои особого типа. Названное, обозначенное начинает осознаваться и распознаваться в реальности, а не только в литературе. Можно сказать, что во всех пяти романах Войнич показаны вариации героев особого типа, глубинное родство которых восходит к сотворившей их личности.

¹ Господи, я не достойна (лат.)

Александр НАВРОЦКИЙ

/ Варшава /



ЦЕЦИЛИЯ

Святая Цецилия, дева трав засохших,
лёт вольных птиц, запах моря и хлеба,
бедами будишь в эфебах мужчин,
одна, как алтарь в разодранном небе.

Сон мой бессонный, хоралы души
на июльской меже, куда так спешишь?
В святость стремишься сбежать от любви
иль серость жизни тебя всполошила?

Песчаная тишь пеленает шаги,
жаждешь любви, но Богу поручена.
Он в пекло при жизни ввергнет тебя,
подарит кольцо из терновых колючек.

Когда содрогнешься, не станет заслоной,
не источит из камня крови,
путь не украсит, не сменит доли,
лишь лик твой замкнет в икону.

Святая Цецилия, к руинам храма
пришла ты за правдой — стрекохут цикады...
И глядя на плющ на мраморе старом,
читаешь молитвы — засохшим травам?

ИЗОЛЬДА

Я вся — одно лишь желание,
я жду своего Тристана,
король, бледнея от ревности,
рыцарей прочь прогоняет рьяно.

Скрываю в сердце тайны тернистые,
губы напитка любовного жаждут,
волосы в небе мои рассыпались,
устремилась навстречу желанному.

Люблю. Может, себя? Может, его?
Кого предаю? Короля или любимого?
Я ведь женщина-приключение,
каждую ночь неповторимая.

Я — Изольда, и покорная, и властная,
за любовь мне короны не жалко,
но навеки я — королева:
для Тристана, для себя и для Марка.

МАРИЯ

Мария, несущая тебя на крыле моей жизни
над вершиной, которая
снится звезде, если человек
не доверяет своему сердцу.

Страхиваю Марию. Смотрю. Цепляется
судорожно за перья, вырванные из крыла.
Падает, как обычная женщина,
а в женщине прекрасней всего — тело.

Море на миг на камни присело
как миф пред кровавым свершеньем,
воронье прилетело, чтоб рядом с Марией
врасти в землю.

ВЛЮБЛЕННЫЕ

Прошу, не мешайте влюбленным:
страстным душам и смерть не страшна,
цветущий луг им расстелет весна,
обнимет рассвет окрыленный.

О дальних дорогах щебечут им птицы,
ручьи и потоки пьют в их честь море...
О стройных телах вещают зарницы,
рисую на небе золотые узоры.

Прошу, не мешайте влюбленным,
пока их старость не ранит смертельно,
они, как роскошный занавес,
скрывают мрачную сцену.

БАРБАРЕ

За семью горами, за семью морями
ты, как дорога ночная снегами.
В Родобах — ты мне Эвридика,
в Джамии — ты строки сур Корана,
в Болгарии — плат сребротканый
и мои крылья над горами.
В ночи — беседа рос со звездами,
весной — аллея меж березами.
Барбара — серна у водопада,
гроздь винограда, вино золотое.
Барбара — луч на гранях камней,
яркий свет дня, не тронутый тенью.
Барбара — женщина и ребенок,
гордая тайна спокойного моря,
когда луч рассвета с сумраком спорит...

Перевод с польск. Веры Виногоровой



Людмила УЛИЦКАЯ

/ Москва /

ПРАВО НА КАТАРСИС

Автор этого романа¹, Абрам Гроссман, профессиональный генетик, чья карьера начиналась в России, а потом продолжалась в Израиле и в Америке. Литература для него — любимое хобби. Впрочем, дарования автора весьма многосторонни, свой досуг он много лет делит между литературными опытами и ремеслом художника. Однако, что бы он ни делал, перед ним всегда стоят задачи философские, касающиеся самых глубинных основ осознания и существования человека.

В романе «Катарсис» он исследует древнюю тему сосуществования в одной личности добра и зла. Почему при огромном разнообразии в одной и том же человеке самых противоположных дарований и стремлений в одних случаях побеждают задатки гуманные, в других — низменные. Каким образом в одном человеке уживается любовь и ненависть, нежность и садизм? Что именно делает нас такими, каковы мы есть? Что помогает человеку подниматься над предрассудками времени, над тяжелым давлением, которое порой оказывает окружение? Несет ли человек хоть какую-то долю ответственности за то, с каким результатом приходит он к финишу, который неизбежно ожидает каждого живущего?

Все эти вопросы очень древние, их возраст почти равен возрасту самого вида *Homo sapiens*, и ответы на этот вопрос у каждого времени свои. Роман А. Гроссмана продолжает вечный разговор на эту тему, которая, в сущности, неисчерпаема. Сочетание научного подхода к жизни и интереса к духовным проблемам пребывания человека на земле, чувство истории, глубокое сочувствие к человеку и природный оптимизм автора в полной мере отражены в этом повествовании.

¹ Абрам Гроссман «Катарсис» СПб. «Алетейя» 2015 г.

Александр ЛЮСЫЙ

/ Москва /



ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДЕЛА

Цветкова Л. Поздняя любовь. — СПб.: Алетейя, 2014. — 142 с.

Цветкова Л. Черный квадрат Серегина. — СПб.: Алетейя, 2014. — 104 с.

Правду говорят, что в текущем состоянии человечества нет большей заботы, чем проблема взаимопонимания, или, если хотите, коммуникации. Проза Людмилы Цветковой одно из последних сильных слов на эту тему, последних в разных смыслах, поскольку ее герои, по определению Валерии Новодворской, оказавшейся на сегодня самым проникновенным критиком, «до жути рядовые», составляют ряд своего рода экзистенциального предела.

В реальности этот предел приобретает все новые измерения, но Цветкова ограничивается в своих художественных исследованиях советским, переходящим в постсоветский, хронотопом, уникальностью коммуникации в коммуналке, уподобляясь тем самым художнику Илье Кабакову, каким он предстал поначалу в своей малой форме. В питерском издательстве «Алетейя» вышли два перекликающихся между собой сборника прозы писательницы, составляя своего рода малый «декамерон» локальных пограничных ситуаций двух типов героев, окликающих друг друга, как пограничник и нарушитель границы. Первый из этих типов — «обычные» люди в разнообразных житейских ситуациях, второй — люди «творческих» профессий, как правило, на излёте биографии. Впрочем, это лишь одна из возможностей их классификации. Все они — герои, а скорее подвижники предела.

В рассказе «Отец и мальчик» из «Поздней любви» сын упорно не отвечает на письма отца, покинувшего семью ради нового увлечения, который не подозревает, что адресат каждый день бывает у его дома, пробегая пространство пустыря перед ним в тревожных ночных снах, прежде чем однажды навестить его в реальности. Но взаимопонимания не возникает: «Вот вырастешь и поймешь». Аналогичным образом в рассказе «Детство Маши» девочка проделывает щель в одеяле, чтобы

подглядывать за своими близкими, прямой контакт с которыми делается все более и более невозможным. Особенно после визита в дом сочинителя сказок, неловко разбившего любимую машину чашку. Вот так превращение сказки в быль, вот тебе и Аркадий Гайдар в творчестве и в жизни: «Маша плакала, отец смотрел на нее горящими от ненависти глазами. И после ухода сказочника, смущенного происшедшим, достал из буфета любимый мамин сервиз с мелкими розочками и весь перебил об пол, чашку за чашкой. Отец бил посуду, а все молчали: и мама, и бабушка, и бабушка. Про Машу будто забыли. И она продолжала тихо доплакивать уже в темной комнате, уткнувшись в родной дедушкин верстак; и было уже не понятно ей самой — то ли себя жалко, то ли чашку, а может быть, и самого сказочника».

А вот старый художник из рассказа «Музыка вселенной», он прожил жизнь, полную разочарований, главным из которых стала невозможность поделиться с кем-либо постоянно слышимой им музыкой вселенной. «Дочь обманула его ожидания. Из трепетного существа, стоящего в юности на краю бездны между явью и сном, между безумием и надеждой, она превратилась в скучную земную женщину, озабоченную практической жизнью и ее скудными радостями. А еще строила из себя богомолку, ходила в церковь, ставила там свечи... Он не верил в набожность дочери, проклюнувшуюся к сорока годам и совпавшую с лицемерной, как ему виделось, набожностью большинства». Но он неустанно продолжает пробиваться своими раздражающими парадоксами и шутками к музыкальному сверхслуху близких. За окном в это время гремит солнечной красотой тревожная московская осень 1999 года, наполненная взрывами жилых домов, что вынуждает его при этом трезво констатировать: «Не плачь, это Апокалипсис! Надо пережить, надо перечувствовать».

«Творческий человек, — размышляет писатель из рассказа “Гусеница-шелкопряд”, — в сущности, обречен на почти механическую жизнь. Он тклет свою нескончаемую нить вымысла, и терпеливое ей служение можно сравнить только с бессмысленными усилиями шелкопрядной гусеницы, которая, куда бы вы ее ни засунули, все равно тклет кокон». А еще он, ощущая себя предметом раздела между двумя своими женами, пребывает в сомнениях, ехать ли ему на похороны своей первой жены, и, в конечном счете, принимает решение ехать. «Еще помру здесь, — засовывал он в чемодан свои и Танины вещи. — Тащи тогда гроб через всю страну. Нет, в нашем возрасте лучше сидеть на месте...».

Рассказ «Как умирала Саша» — своего рода «Матрёнин двор» нашего времени. Или матрёнин кулич. В предсмертных воспоминаниях всплывает самая яркая картина: «— Нет Бога! — сказал убежденно Саша-муж и погрозил ей пальцем. Но Саша не верила и продолжала истово месить кулич. Это была красивая, радостная работа. Саша сбивала яйца, нарезала цукаты, клеила из красной бумаги розочки и го-

товила сахарно-яичную смесь, чтобы полить головку куличика гладким и белым слоем. Разноцветный мак шел меж ее рук и все сыпался и сыпался — то на головку кулича, то на ее испачканные в сладком пальцы, как радостный весенний дождь».

В рассказе «Девушка по фамилии Крушкайтис» описывается случайная встреча не совпавших во времени и пространстве людей, немолодого мужчины и девушки, «заблудившегося дитя». Пожалуй, они оба основательно заблудились в своих несовпадениях, как в ползнакомых городах. Они очень приблизительно опознают состояния друг друга, поспешно соглашаясь на ошибочные мнения собеседника и пытаясь убедить его в своих предвзятостях.

«...Дома как такового нет. Хотя ведь и у вас нет? Даже при жене не было? Да?

— Да, — соврал он, потому что у него с тех пор, как он двадцать лет назад женился, дом был. Уютный, прочный. Дом, где все было вымерено и размечено именно для того, чтобы был дом. У них были воскресные прогулки, кино, посещение местной филармонии; были дни, когда в доме, вернее в стенах квартиры, собирались люди необходимые, и дни, когда собирались люди, ими любимые. Все было у них правильно. Все как надо. Но жена казалась ему теперь старой, толстой и некрасивой. Он даже стыдился ее немного. Но об этом, к счастью, никто не знал, кроме него...

— Да, дома не было, даже когда жена еще не ушла, — постарался он уточнить и узаконить перед девушкой свою ложь».

Этот странный опыт балансировки правды и лжи, реальности и вымысла, следовало бы развить в киносценарий, как и некоторые другие рассказы сборников. «Из всех искусств для нас важнейшим является...». Звеном такой связи стал посвященный сценаристу и писателю Фридриху Горенштейну («сам себе Моисей») рассказ «Одинокий гений моей юности». Проза Людмилы Цветковой — опыт слова уже налившегося надеждами и ядами XXI-го века.



Александр БЕЛЫЙ

/ Москва /

ПИСАТЕЛЬ И НИТИ

Александр Блок предлагал считать поэтом сочинителя, у которого на сто стихотворений есть одно хорошее. Я и начну с хорошего, с рассказа «Девушка по фамилии Крушкайтис». Живо читается, захватывает нетривиальностью сюжета (столь редкой у этого автора), неожиданной воронкой чувств, ввергающих героя в безумное желание уехать с только что встреченной девушкой в Питер или Сызрань, или какой-нибудь Сыктывкар, но сейчас, тут же, ибо на данный момент она для него все — воплощение его бессознательной мечты о любви (к нему, а не вообще), глубоко спрятанной потребности в сумбурной, но «своей» женщине.

Подобное чувство переживается всеми мужьями в 40–45 лет, когда дети уже большие, уходят в свою сферу (или среду), не обязательно порывая с родителями, но, тем не менее, поневоле «освобождая» их от себя. Вот эта свобода на новом витке жизни и есть проблема. Проблема потому, что мужчина (как и женщина) еще, как говорят, «в соку», а в жене (хорошей, ибо с ней вся жизнь связана) нет (или кажется, что нет) новизны, окрыляющих чувств; мужчина (как и женщина) открыт встрече, открыт радости (в частности, и надеждам получить то, чего ему жизнь недодала). Дело не в том, что один хорош, а другой плох — это трагедия, следствие моногамии. Магомет потому и разрешил многоженство, а Гессе в «Степном волке» писал о «любви втроем», заставляющей отрешиться от эгоизма в любви. Но Цветковой не до тонкостей, трагичности она не признает. Драма возможной ею упрощается — компрометацией одной из сторон. В рассказе «Отец и мальчик» новая жена — чужая и ненавистная: «все было грязно, уныло и запущено в этой квартире, которой правила чужая и злая женщина». Для отца она хорошая. Да и почему бы ей не быть хорошей? При сочувствии читателя обеим сторонам безвыходность трагедии чувствовалась бы острее и требовала бы от писателя мужества и какого-то собственного суждения. Нетривиального, ибо тривиальных много, их читатель и сам знает.

Зачем в рассказе «Девушка по фамилии Крушкайтис», где главное — во вспышке взаимоприятия двух людей, нужно было развенчать героя как пошлого бюрократа, забывшего свою пассию? Не верится, ибо мужчина таких встреч не забывает, как тонувший не забывает глотка свежего воздуха; ручаюсь, что он втайне надеется на нежданную встречу, хотя она и бессмысленна, и невозможна.

Соскальзывание в тривиальность — не случайность. Как не случайно и то, что в рассказах Л.Цветковой нет одаренных людей. Бывают, но только в юности, студентами, а потом данного им таланта не оправдывают. Талант — это что-то губительное для окружающих, семьи, в частности (даже цветы в доме гения не приживаются). Вольная или невольная переключка с гумилевскими строками («У меня не живут цветы... Поживут, поживут и завянут») в рассказе не подложена под кожу героя. Он всего лишь слушает музыку сфер, чем портит жизнь и жене, и дочери. Он пошел, как и все другие, пораженные рассудочностью, меркантильностью и расчетливостью.

Ким Савич («Поздняя любовь») — мастер, но молодежь не ценит мастера, много лет снимающего одну и ту же картину. Уж на что талантлив был Руслан («Весенний день в Апрелевке»), но так за всю жизнь ничего и не сделал, женился на глупышке и ничего более не придумал, как напиваться. Л.Цветковой легко расставлять оценки действиям таких героев: они ниже автора. Их можно жалеть, как умирающую старуху, или умирающую собаку. Обе истории изложены в одном и том же сентиментальном ключе. Между человеком и собакой нет разницы. Кстати уж, если автор знает, что видели та и другая, то пересказ мыслей собаки о своем прошлом был бы гораздо интереснее видений старухи, пораженной инсультом. Талант обесценен, как обесценено и дело писателя, сведенное к гусенице-шелкопряду. Писатель просто выпускает из себя что-то подобное нити. Окружающим это не нужно, а он их и не видит, они ему не нужны. Для кого он пишет? О чем он пишет или может писать, если с людьми ему не интересно, а о его собственных проблемах не повествуется, поскольку автору это тоже не интересно. Способность взлететь над пошлостью в писателе трудно предположить. Проговорился бы, если б была! Писатель, кажется, полагает, что современность — это безыскусный рассказ о том, что есть, т.е. откровенный реализм или, точнее, бытописание, не требующее ни писательской хитрости (собственного стиля, проекций на предшественников, соотносённости с русской или европейской традицией), ни философской и социологической осведомленности. Разматывать его «нити» нет никакого желания.

*Доктор филологических наук, профессор
Александр Белый*



Петр КАЗАРНОВСКИЙ

/ Санкт-Петербург /

О ЛЮБВИ К РИФМОВАНИЮ

*о книге Ал. Князева «Избранные стихотворения моей жизни»
(Санкт-Петербург, 2013)*

Вероятно, у многих должно вызвать интерес творчество человека, всю жизнь пишущего стихи и никогда не выпускающего их дальше узкого круга своих близких, друзей. В таком скрытном отношении к собственной лире есть известное целомудрие. Такая тайна — наверно, участь многих, но немногие отваживаются наконец выпустить соловья на волю, обнародовав часть своего наследия. Передо мной как раз пример такого долгого замалчивания автором творчества — книга Ал. Князева «Избранные стихотворения моей жизни»: примечательно, что не «мои стихотворения жизни», а именно так, как продумал автор, словно настраивая читателя на то, что *его жизнь* (несмотря на генитив в названии) является главным и определяющим все темы его стихов.

Также название, при всей его претенциозности, содержит основную задачу, осуществляемую стихотворцем на пространстве всей книги: здесь присутствуют тексты от первой половины 1960-х до 2013 г., когда, собственно, этот томик в 280 страниц увидел свет. Всего здесь представлено более 150 стихотворений разных жанров, подчас неожиданных и даже претендующих на экзотичность (рубаи), и 4 небольшие поэмы. Все помещенные здесь произведения выполнены в силлаботонике с довольно широким спектром инструментровки. Если же следить за генезисом стихотворений Князева за почти 50 лет, то просматривается явная тенденция к «замедлению» ритма и удлинению стихотворной строки.

Расположил свои произведения автор довольно причудливым образом: в книге 13 разделов, заголовки которых находятся в алфавитном порядке: Акrostихи, Андиджанский цикл, Басни и притчи, Любовная лирика, Мои рубаи, Подражания, Посвящения, Поэмы, Романсы, гимны и песни, Сонеты, Стихотворные экзерсисы, Териокские мотивы,

Эпиграммы. Каждый из этих разделов, где стихи также образуют алфавитный порядок, дополнен несколькими опусами, не подпадающими, как правило, под жанровое определение. Интересен графический принцип, проводимый автором на протяжении почти всей книги, хотя и не всегда, не до конца последовательно, законченно: точка как знак конца синтаксической конструкции в заключение строфы в основном не ставится (вопросительные и восклицательные знаки этому принципу не подлежат); таким образом автор достигает некоей слитности — по крайней мере, для глаза — своих текстов, и традиционное разделение на строфы, где оно есть, выглядит как бы смягченным.

Если и дальше отмечать формальные элементы в книге Князева, то стоит отдельно остановиться на рифме, акростихах и строфике, а также на особой трансформации, которой подвергнута устойчивая форма сонета. Так (начнем с последнего), в акростихе из семи строк «DAGOMYS» сквозит половинка старинной формы; кроме того, здесь автор воспользовался принципом ограничения, включив в текст слова с литерами «Г» и «Д» (жаль только, что принцип этот, не раз повторенный в книге, проведен не до конца):

Девятый день подряд играет
Адреналин в моей груди
Греховной подлостью пугает,
О, добрый друг, вперед гляди!
Меня гордыня угнетает,
Угроза неподдельно тает,
Сгорая грозно впереди...

(Я специально выделил курсивом слова, противоречащие ограничительному принципу.) Не будем искать здесь требуемых от сонета «тезы», «антитезы», «синтеза»...

Другой пример самоограничения — центонное стихотворение «Синтетический романс»; взяв строку длиной в пятистопный анапест, автор вынужден был восполнять слоговые лакуны от себя, но общее впечатление многоцветия и требующей отыскания следов эклектического набора интриги сохранились (привожу выборочно):

Помню утро туманное серой порою, седою,
Больше нету любви, отцвели хризантемы в саду...
Увядают последние листья в саду дяди Вани...
Постели-ка мне степь и меня на заре не буди,
Ты не сыпь мне, пожалуйста, соль на открытую рану,
Просто кончилось лето, и юный октябрь впереди
Отвори мне калитку...

К чести автора, его рифмы — знак вдумывания в стихотворную вязь: склонность к точным рифмам приводит к нахождению созвучия весьма далеких друг от друга слов.

Из строф, представленных в книге стихов, отметим те, которые составляют полуфантастическую поэму «Любовь и месть»: семистишие с четырьмя перекрестными рифмами, ни с чем не зарифмованной строкой и парно зарифмованным двустишем; трехстопный хорей. Приведу одну такую строфу, в которой автор игриво и немного жеманно извиняется перед читателем:

Я ж, мой друг, обеспокоен
И признать готов вполне:
Мой рассказ неладно скроен
И нежизненен вдвойне.
Что ж, покаюсь, много смысла
Не принес я для тебя,
Рифму тонкую любя

Перейдем теперь к темам стихов Князева. К неизвестным прежде стихам легче всего, наверное, подступаться, находя в них антитезы или/и, одновременно, явные сближения — то, что должно быть дорого их автору. Здесь это — Петербург с его северным климатом и Средняя Азия с ее жарой. Так, явный, нескрываемый пиетет перед Омаром Хайямом имеет восточное происхождение. В большой «Балладе о наважде-нии», где белым стихом повествуется о происшествии в пустыне, когда несколькими путникам, ожидавшим автобуса, из репродуктора, «поражающего своим сиротством», раздались звуки Моцарта, дана сама атмосфера вдумчивого странничества — совсем в духе дервишей и суфиев. Но Князеву удастся сосредоточиться не только на особенностях того или иного края, но и найти их общность: говоря о замерзших узбеках, окружающих его, автор заканчивает:

Вот так же и я, холодами сражен,
И день мой не ярок, а скуден,
Как будто весь мир для меня погружен
Во мрак моих северных буден.

Эта разобщенность — внешняя и внутренняя, нормальная и парадоксально-аномальная — проходит, кажется, через сердце автора.

Антитетичное выразилось и в неброском стихотворении «Мимолетное»:

В схватке с временем летящим,
Лишь отдышишься едва,
Убеждаешься все чаще —
Каждый день идет за два!

И в попытке выживания,
Сияясь ужас превозмочь,
Ясно видишь пониманье:
Ночь всегда идет за ночь! —

Вот так неожиданно ритм жизни установлен в привычном противопоставлении дня и ночи.

Другими — и, может быть, наиболее важными — для Князева оказываются полюса детства и старости, соединенными памятью. Хотя некоторые выводы, делаемые автором из опыта прожитых лет, могут показаться прагматичными, сам мотив памяти является в этих стихах очень важным. Но среди всех выводов особое внимание заслуживают те, которые отмечены мастерской афористичностью; вот пример: «Мы до конца уже поражены / Бациллой постиженья расстояний», и такие нередки здесь.

Немало в книге и стихов, так или иначе связанных с природой — ее автор любит ровно, без экстаза, без особого вчувствования в нее; скорее, это любование. Таковы Териокские стихи, а вещь под названием «Отшельник» своим сюжетом напоминает Гамсуновского Пана, но без свойственной норвежцу метафизичности. Вообще многие стихи в книге тяготеют к тому, чтобы представлять зарифмованным рассказом с элементами рассуждения. Но автор в них готов оказаться и сдержанно лиричным, и шутивным, и ироничным, и горько саркастичным, и способным на гражданский пафос — в основном негодования... Часто склонный к подведению итогов жизни (к слову, эпиграфом к стихотворению «Моя жизнь» служит русская поговорка «Поживи подольше, так увидишь побольше!»), Ал. Князев, обращаясь, думается, прежде всего к себе, выглядит бодрым и оптимистичным:

Во всем искусным быть,
Дерзать, и до могилы
Влюбляться и любить,
Превозмогая силы

Любовь к рифмованию большинством изживается к 20 годам, но некоторые до конца жизни проносят тайную страсть к отыскиванию мелодии единого звучания слов — без знаков препинания, без слово-разделов, без пауз.

ноябрь 2014



Александр ФЕДЕНКО

/ Москва /

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ МЕРТВЫХ ЛЮДЕЙ (рассказы)

На бульваре

Высокий человек по фамилии Скороходов ступал по бульвару начищенными ботинками. С достоинством. Туда-сюда.

И вдруг, мимоходом, совершенно непроизвольно, зацепился обо что-то случайное и даже эпизодическое. Или об кого-то. А, может быть, и вовсе этот кто-то сам зацепил высокого господина. Пойди теперь разбери.

Зацепившись, господин Скороходов не заметил этой неожиданной и новой сопряженности с миром и, шагнув вперед, почти оторвал то, чем зацепился. Да так и пошел дальше. Стало быть, зашагал уже не вполне целый собой.

Он позже уж заметил, когда неудобно стало ходить, что это надорванное как-то хворо волочится по дороге вслед за ним.

И оказалось, что зацепился он не абы чем. А своим человеческим достоинством.

Определенное недоумение завладело Скороходовым. Он пытался идти дальше. Но неприятное ненужное неудобство сказывалось на его движениях, на походке, делая каждый шаг неполноценным, уродливым.

Господин Скороходов попытался исподволь дооторвать то, что волочилось. Но ничего не вышло. Так он и гулял по бульвару в растерянности и неокончателности своего положения.

К счастью, пробежавшие мальчишки наступили на волочившуюся амбицию, Скороходов пошел дальше, а она благополучно осталась.

Теперь ходить туда-сюда стало приятнее. Скороходов ощутил легкость, душевный подъем и страсть к прекрасному. Захотелось выпить.

Столь воодушевленный, он не сразу заметил, как опять оказался на том же месте. Бродячая собака уныло рвала на куски обрывки человеческого достоинства. Уже изрядно пыльные и потерявшие всякую привлекательность.

— Жри, сука, — сказал Скороходов.

— Что упало — то пропало, — ответила не то собака, то не то кто-то другой.

Бульвар стал отвратителен.

Скороходов свернул в переулок, оказавшийся глухим тупиком. Пройти его насквозь оказалось невозможно. Темнело и холодало. Вернуться назад Скороходов не решился.

Засветилось несколько окон. Зажглась вывеска «Трактир». Стала заметна луна в узком обрывке неба.

Высокий человек в начищенных ботинках постоял на остывающей земле, обхватил себя за плечи и, зажмурив глаза от слепящего света луны, трактирной вывески и чужих окон, отчаянно закричал.

Вымышленная история

Писатель Белкин написал рассказ. Смешной, веселый, даже анекдотический. Фельетон, можно сказать. Хотя и со смертельным концом.

В пасквиле Белкина великосветский банкет заканчивается свиная оргией, в которой самому главному персонажу сносит голову. Этот персонаж, будучи изрядно нетрезв, путает лифт с космической ракетой, ползет к нему изо всех сил, двери закрываются, и голова уезжает на последний этаж. А тело остается.

Рассказ напечатали в сомнительной газетенке. А на следующий день Белкина арестовали. Суд признал его виновным в убийстве вымышленного персонажа с особой жестокостью.

Слишком уж этот самый главный персонаж оказался похож на другого, достаточно живого, тоже не второстепенного.

Белкин жуть как обрадовался. И даже признал себя виновным, хотя его никто и не спрашивал.

В тюрьму он пронес карандаш и клочок бумаги. Лег на нары и что-то накарябал. Судья и прокурор, ужинавшие в сей момент в «Пушкине», сразу же испытали заворот кишок. Спасти их никто не успел. Так и похоронили с нарушенным внутренним устройством.

Белкину запретили писать и на всякий случай решили ампутировать руки. Он лежал связанный на операционном столе и, впитывая наркоз, вслух рассказывал хирургу какую-то колкую иносказательную историю. Смерть хирурга была ужасной. Два килограмма скальпелей вынули из его тела. Самоубийство.

Стало непонятно, что делать с Белкиным. Никто не хотел связываться. Позвали послушных военных, велели расстрелять. Белкину завязали глаза, но все пули слепо попали в командующего расстрелом.

Белкин все дни пролеживал на нарах, губы его беззвучно шевелились, словно он что-то рассказывал сам себе. Время от времени страшный смех взрывал пространство камеры, рискуя разнести стены.

Нашлась одна умная сволочь, которая придумала иезуитский план. Со всей страны собрали книжки Белкина. Сложили в кучу. Полили бензином. Зажгли.

В тюремной камере нашли обугленное тело. От сгоревшего лица остался лишь улыбающийся оскал зубов.

Но события, разумного объяснения которым не находилось, продолжились.

Многие пытались найти потерянные рукописи Белкина, чтобы узнать его замысел. Искали черновики. Безуспешно.

Закончилось все неожиданно и тихо. В лифте на последнем этаже нашли голову. Ту самую. Без тела. Закопали и забыли. Жизнь наладилась. Страх ушел. Вымышленное отступило.

Стой...

— Тише едешь — дальше будешь, — прошептал Иван Каземирович, испуганно вглядываясь в пустоту впереди. — А то этак и расширяться можно. На скорости-то.

Он с детства любил ходить быстро и даже бежать. Лишь иногда он останавливался, вынимал из праздничного торта новую свечку, светил ею, вдруг оглядываясь назад и всматриваясь в прыгающие по развалинам отблески огня. Но свечка сгорала, а оглянувшийся назад Иван Каземирович тут же старел еще на год и обновлял жажду жизни рюмкой водки. Для храбрости.

И сбавлял скорость. Бежать становилось страшнее. Что там? А если?..

— От себя не убежишь, — бросал он вслед проносившемуся мальчонке и выставлял подножку.

Мальчонка ловко увертывался и даже не оглядывался.

По ночам, лежа в кровати, Иван Каземирович слышал позади себя шаги. Оборачивался и упирался в полосатость матраса. Просыпался, вставал и шел дальше. Вечером возвращался в остывшее за день ложе.

Идти становилось труднее. Бестолковее.

— Тише едешь — дальше будешь, — бормотал он вслед уходящим вперед.

Уходящие вперед старались не замечать его и его брзжания.

Шаги по ночам становились громче. Полосатость матраса, отблески свечей и водка — чаще и тусклее.

Однажды он услышал Их днем. Кто-то устало догонял его.

— Стой, — слышалось в шагах.

Иван Каземирович остановился. Шаги замедлились, приблизились, смолкли. Он услышал сбившееся взволнованное дыхание. Почувствовал затылком. Нежные руки закрыли ладонями его глаза. Стало темно.

— Угадай кто.

Иван Каземирович улыбнулся.

— Я думал, ты будешь ждать меня впереди.

— Еле догнала тебя. Так боялась отстать. Думала, умру без тебя.

Ошибся

Иннокентий Корнеевич Котенкин женился на Зоечке. Женился очень удачно для своих лет. Зоечка была молода, красива, в меру умна и — главное — всегда ходила с достоинством, держа Котенкина под локоток. Все заметили это самое ее достоинство, с которым она ходит. И даже глаз клали на ее достоинство, но глаз скатывался по Зоечке и падал вниз.

А вскоре случилась и другая радость — Иннокентия Корнеевича пригласили на банкет. Вместе с Зоечкой. И они пришли, сели, стали кушать, пить сухое и полусухое, любоваться окружающей жизнью. И вот, когда Котенкин любовался окружающей жизнью, он заметил, что усатый мужчина напротив тоже любит окружающую жизнь. Но не всей, а избирательно — одной только Зоечкой.

Котенкин подсыпал яду в бокал усатого. Но ошибся. Бокал оказался не усатого, а безусого. И безусый сразу помер. Его вынесли на улицу, на холод. И банкет продолжился.

Котенкин сохранил спокойствие духа, достал пистолет и выстрелил. Но ошибся, потому что попал в другого усатого. Не в того, который избирательно любовался. Другого усатого вынесли на улицу. Ведь мертвым банкет не интересен.

Котенкин не огорчился своим неудачам и, вооружившись опасной бритвой, начал выслеживать усатого. И выследил, на пути в уборную, и убил. Довольный вернулся за стол и там только понял, что ошибся. Усатый сидел на своем месте и продолжал любоваться. А Котенкин даже не заметил, носил ли убитый усы или нет.

Тут Зюечка сказала, что уходит, потому что Иннокентий Корнеевич совсем не уделяет ей внимания и, наверное, даже не любит. Она встала и ушла. А усатый продолжал коситься. И тут Котенкин обрадовался, потому что понял — как же он ошибся: усатый имел косо-глазие и весь вечер любовался вовсе не Зюечкой, а окружающей жизнью.

Иннокентий Корнеевич пошел искать Зюечку, но она уже уехала. В чувствах.

А на следующий день один случайный прохожий увидел, как Зюечка идет по улице с каким-то усатым. И случайный прохожий подумал неприлично сказать что про нее. Но понял, что ошибся. Ведь Зюечка всегда ходила с достоинством, а эта барышня шла вовсе без него.

— Это не Зюечка, — сказал он. — Это совсем другая женщина.

Неблагодарность

Горит! Определенно, горит. С детства люблю запах дыма. Мистически действует он на меня. Пробирает душу до самого дна, до исподнего. Хватает за это исподнее и выворачивает наружу.

А букет знакомый. Доминирует дерево. Или бумага? Нет, точно дерево. Сосна.

И фруктовые нотки. Скорее даже овощные. Что-то из корнеплодов. Картофель. Белорусский, прошлогодний. Проросший.

Морковь. Вот морковная нотка пролетела... и ушла. Следом — свекольная.

Ясно — овощной ящик горит. Соседский.

Вышел в коридор. Уже совсем хорошо горит. Стучу соседу. Не открывает.

У него ящик горит, а его нет. Головоляп.

Это что же, самому придется?.. Собственноручно?.. Тушить за него?

Он завалил коридор своей картошкой, поджег, а мне — туши?

Мда... Наглый у нас контингент обитает.

Принес полведра воды. Плеснул. Ну и запашок теперь.

Отчего же оно загорелось? Не огонь же небесный снизошел. Окурочек лежит. Он покурил, бросил и ушел. А мне — туши. Хамство.

Неделю назад просил у него сигарету — сказал не курит. Жмот и лгун.

Я, кстати, такие же курю. Странно, полчаса назад выходил покурить — никого не видел.

.

Уже вечер, а этого пентюха все нет. Спасал его имущество, вдыхал отвратительные зловония. Здоровье свое испохабил. А этот жлоб даже не думает явиться и засвидетельствовать свою благодарность.

.

Бутылка вина. Мог я такое вообразить? Он явился, я ему все живописал, как боролся с огнем, задыхался, весь в ожогах. Скромно рассказал, не стал даже говорить, что из-за его окурка чуть все имущество прахом не пошло. Он долго извинялся, благодарил и принес бутылку вина. Я чуть всего не лишился, а он — бутылку вина?

Он меня алкоголиком считает? Да и вино то кислое. Ладно бы водки принес. А то вино... Выпил я бутылку и даже удовольствия не получил.

.

До чего все-таки люди неблагодарны. Мало того, что пришлось вчера свою водку после его вина пить, с утра еще и голова болит после этой кислятины.

Человек просто не понимает, чем он мне обязан. Надо помочь человеку обрести понимание. Поднять его на свои этические вершины. А не опускаться до его аморальных низин.

Дам ему еще один шанс. Сегодня же и дам. Решено.

.

Идет. А я продрог ждать его. Окончательно и безвозвратно лишусь здоровья. Только мое благородство и не позволяет мне смалодушничать и отступить.

Рядом уже. Совсем рядом.

Лишь бы меня не заметил. Рисковать своим честным именем приходится.

Шапку — долой, и сразу по голове. Более удобного ничего не нашел, поэтому бутылкой. Той самой, из под вина. Больно поди? Тут уж он сам выбирал. Некого винить. Лежит без сознания — значит, и не больно.

.

Эй... Очнись... Неужто зашиб?.. Нет, живой. Глаз дергается — живой. Мертвый бы не дергался.

.

Почти догнал того мерзавца.

Вижу — лежит соседка мой родненький, а над ним душегуб склонился. Шапку снял, пальтишко снял, с полуживого. Кошелечек вынул.

Я кричать — он бежать — я за ним. Одежу побросал. И утек он от меня. Спортсмен, небось. Быстро бежал. Точно спортсмен.

Вы, граждане, засвидетельствуйте, что я его спас от верной гибели. Пришиб бы тот его и без вещей оставил. А если бы и не пришиб — на морозе сам в беспамятстве околел бы вмиг. Без пальто то. Да и я рисковал, получается. Он ведь и меня мог... Пристукнул бы, если б моя решительность его не напугала.

А кошелечек-то он унес... Поживился... Лиходей.

.

Не нравится мне его взгляд. Нет благодарности и чувства признательности в глазах. Сухо прошептал спасибо. Сослался на головную боль. Симулянт.

А жена его и вовсе с подозрением меня оглядела. Ничего не сказала.

Сам хам, и жену такую же нашел.

Неужели он ничего ей не рассказал? Обо всем, что я для него сделал.

И еще сделаю...

.

Я все понял. На него супруга плохо действует. Не позволяет ему расти над собой. Все мои усилия рушит и низвергает...

.

Зачем так кричать? Давай-ка об стеночку головой. Вот так... Лежи, отдыхай. Тут на черной лестнице тихо, спокойно. Не потревожит никто. Очнешься — спасибо скажешь.

За такое по гроб жизни благодарят — спас от насильника. Не догнал его, но помешал обесчестить.

А она хороша. Очень хороша.

Душевно лежит. Пальтишко распахнулось. Юбочночка съехала. Ох, как душевно.

А если он успел... непоправимое?..

Мог ведь успеть? Мог.

Я мог не подоспеть вовремя? Тоже мог.

А за что же при таком несчастье меня благодарить?

За жизнь! Жизни лишить не дал... Это поважнее... предрассудков.

Шарфик на шею надо накинуть. Задушить, подлец, хотел. Бог свидетель, задушить хотел.

До чего нежная шея. И такая небесная радость — вся целиком — этому пентюху.

Нельзя так, нельзя так неблагодарно и высокомерно было со мной. Зря они так.

Я только свое возьму. Только свое.

Она и не заметит...

Вот так... Вот так...

Боже! Как же больно! Что это?

Невыносимо острый холод! Пронзил меня почти насквозь. Я чувствую, как он шевелится во мне. Разрушает мое нутро.

Это он?! Откуда он взялся? Безумные глаза! Сам дьявол смотрит на меня.

Нож! Как больно!

Боже! Не дай ему убить меня, пошли спасение!

Еще! Еще один удар. Лед и стекло крошатся внутри. Он убивает меня. Спаси!

Как Сева Кошелкин галстук выбирал

Химеры захлопали крыльями и выдрали Собор Парижской Богоматери из земли. Медленно, превозмогая непосильную ношу, подняли его в небо.

— Вознесся, вознесся! — кричали люди на площади, уворачиваясь от помета, напоминающего птичий.

Другие же стояли окаменев, лишённые воли уворачиваться.

Оказавшиеся внутри снимали с себя одежды и устремлялись друг к другу в естестве. И видения райских врат с раскрытыми створами являлись им в той божественной красоте, как видит ее Создатель.

Другие же смотрели на это и в ужасе бросались с высоты на землю, в полете осеняя себя крестными знаменами. И мать-земля ловила тела вернувшихся детей своих.

Колокола звенели в разнойбой. И одни в том слышали благовест.

У других же от звуков набата кровь шла ушами, и кричали они скверные слова.

Сева Кошелкин собирался на службу. И никак не мог решить — какой же галстук повязать. Зеленый, с попугаем и голой женщиной, ему нравился больше — из-за попугая. В детстве он хотел стать летчиком. И попугай оживлял фантазию, уносил в небо, возвышал его. Но жирное пятно на груди женщины убивало мечту о полете и порождало скорбные мысли о новом дне бытия. И чем дольше тер он грудь женщины, тем более сальной делалась она. Попугай же на глазах хирел. Мерк в тени сияющей груди. И, бросая взгляд на галстук, Сева уже не всякий раз видел крылатый образ. Пятно случилось в

пельменной. Пельмень соскользнул с вилки и упал на грудь одетого в галстук Сева Кошелкина. А пятно сделалось на груди голой женщины. И эта странная ирония уводила Севу в долгие размышления о неочевидности и запутанности мироздания. Второй галстук был чистый и черный. Без попугаев и запятнанных женщин. Только мелкий белый горох редко посыпанный по куску жаккарда. Он был Севе противен.

Пионер вышел на Красную площадь и протрубил в горн:

— Подъем, подъем! Вставай — не то уьем! А не встанешь — то зारेжем! Подъем, подъем...

Люди на площади улыбались, фотографировали, салютовали.

Но не все. Только некоторые. Остальные спешили.

Да и те, которые улыбались и салютовали, тоже спешили.

Пионер протрубил тот же сигнал еще раз... Потом еще... И еще...

И тут небо засвистело, земля захрохотала...

И на Красную площадь, на неприметную постройку, в которой хранился труп Ленина, упал Собор Парижской Богоматери. Не абы куда, а прямо на Ленина.

Сева Кошелкин все-таки сделал выбор. Он бросил женщину... И попугай улетел с нею. А Сева решил повязать черный с белым горохом. Но оказалось, что он забыл как завязывать галстук. И что он ни делал — всякий раз жаккард сворачивался петлей вокруг его шеи.

Пионер протрубил в седьмой раз. И из Собора Парижской Богоматери вышел труп Ленина. И люди на площади улыбались, фотографировали и салютовали. Но не все. Только некоторые. Остальные спешили.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)
Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И.А. Савкин
Дизайн обложки *И.Н. Граве*
Оригинал-макет *Б.Н. Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 23.11.2014. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 22,8. Печать офсетная. Заказ 531.
Тираж 500 экз.